

*Нина ВОРОНЕЛЬ*

***БЫЛОЕ И ДАМЫ***

(роман)

Издательство  
Москва - Иерусалим  
2016

Нина Воронель  
Былое и дамы. – Москва-Иерусалим: Тель-Авив, 2016. –  
314 с.  
ISBN 978-965-91986-3-4

## ДРУГИЕ КНИГИ НИНЫ ВОРОНЕЛЬ

### РОМАНЫ

Ведьма и парашютист  
Полёт бабочки  
Дорога на Сириус  
Готический роман  
Глазами Лолиты  
Тель-Авивские тайны  
Чёрный маг  
В тисках между Юнгом и Фрейдом

### МЕМУАРЫ

Без прикрас  
Содом тех лет  
Кто, если не я

### СТИХИ

Папоротник  
Ворон – Воронель

### ПЬЕСЫ

Прах и пепел  
Кассир вечности  
Шестью восемь  
Майн либер кац

## БЛАГОДАРНОСТЬ

Я безмерно благодарна дорогим друзьям, поддержавшим меня в осуществлении этот трудного проекта.

В первую очередь я высоко ценю безотказную помощь моего мужа Александра Воронеля, в любую минуту готового обсудить мою самую безумную авантюрную идею и дать мне ценный совет. Не говоря уже о его ангельском терпении и невероятной эрудиции, из которой я постоянно черпаю недостающие сведения.

Я бесконечно благодарна писателю Михаилу Юдсону, у которого я всегда нахожу дружескую профессиональную поддержку.

Я вечный должник поэта Анатолия Добровича, подарившего мне блистательный заголовок «Былое и ДАМЫ», изменивший весь настрой моего романа, который я поначалу хотела добродетельно назвать скучным именем «Европейские кружева».



## ЛУ

Кошка Мурка умерла среди ночи. Лёля не слышала от кошки ни жалоб, ни стонов, но когда она проснулась, ее удивило, что Мурка не вспрыгнула к ней на постель, чтобы поздороваться. Лёля вылезла из-под одеяла и наклонилась над муркиным ящиком – та лежала, странно запрокинув голову назад и наощупь была холодная, как лед. Лёля затопала ногами и заорала диким голосом. На ее крик сбежалась вся семья. Мама только глянула на запрокинутую голову Мурки и всё поняла. Она велела Лёле немедленно вымыть руки мылом и строго-настрого запретила прикасаться к мертвой кошке.

Рыдающая Лёля объявила, что в гимназию не пойдет, а останется дома хоронить Мурку. Понимая, что спорить бесполезно, мама велела горничной Вере надеть перчатки и помочь Лёле организовать похороны. Никто из братьев не захотел пропускать занятия из-за лёлиной кошки, и одна только Лёля в сопровождении горничной Веры спустилась в сад, неся труп кошки в коробке от папиных сапог. Лёля с железным упорством безрезультатно долбила лопатой твердую землю, пока мама не сжалилась и не прислала на подмогу дворника Никиту. Никита быстро вырыл яму и ушел подметать тротуар перед домом, а Лёля с Верой опустили коробку с кошкой в темную дыру и стали засыпать ее землей. Вера предложила прочитать над Муркой поминальную молитву, но Лёля наотрез отказалась – никаких молитв: прощать Богу

такую обиду она не собиралась. Она ушла в свою комнату, легла на кровать, укрылась с головой одеялом и принялась обдумывать, как поступить дальше.

Первым делом нужно было незаметно пробраться в папин кабинет и снять со стены центральный объект, вокруг которого Лёля запланировала совершить церемонию отречения от Бога. Она осторожно вышла в коридор и прислушалась. Из кухни доносились громкие голоса мамы и кухарки – им было не до неё, они увлеченно обсуждали секреты приготовления рыбы в белом соусе. Лёля бесшумно проскользнула в кабинет, плотно закрыла за собой дверь и ловко взобралась на папин письменный стол, что было строжайше запрещено. Стоя на столе, уже не трудно было снять со стены главную семейную реликвию – керамическую копию западной двери Исаакиевского Собора, изображающую апостола Павла с мечом в руке. Папа получил ее в подарок от кого-то очень важного, чуть ли не от самого государя императора, и очень ею дорожил. Лёля запеленала апостола Павла в заранее припасенное полотенце и, прижимая его к сердцу, вернулась в себе.

Теперь все было готово к спектаклю, не хватало только зрителей.

## **МАРТИНА**

Я перечитала первые страницы своей будущей книги о неотразимой Лу Саломе и в который раз ужаснулась – за что я взялась? Смогу ли справиться?

К идее этой книги меня привёл извилистый путь, начавшийся ещё до моего рождения.

Моя мама была миловидная московская девочка, которая жила обычной скудной жизнью девочки из бедной семьи, пока в нее не влюбился мой папа – младший секретарь ГДР-овского посольства в России. И тут закрутилась такая канитель, что вся наша жизнь превратилась в сущий ад – и папина, и мамина, и моя. Папина потому, что его очень быстро выслали из России назад в ГДР, а он ужасно страдал,

так как жить не мог без моей мамы. Мамина потому, что когда папу выслали, она уже была сильно беременна, и соседи, а под горячую руку и бабушка – мамина мама, обзывали ее шлюхой и немецкой подстилкой. А моя - потому, что когда маме и папе советские власти наконец разрешили пожениться, мне уже исполнилось три года – на их свадьбе, которую праздновали одновременно с моим днём рождения, в торт пришлось воткнуть целых три свечи.

После свадьбы папа сразу увёз маму в Берлин, потому что, во-первых, его впустили в Москву всего на неделю, а во-вторых, он очень спешил оказаться, наконец, с мамой наедине, то-есть, без меня. Поэтому меня оставили в Москве у бабушки, которая под горячую руку продолжала обзывать нас с мамой шлюхами и немецкими подстилками. Особенно доставалось мне, - ведь мама жила в далеком городе Берлине, откуда время от времени посылала бабушке посылки и денежные переводы, а я торчала у бабушки под горячей рукой, щедрой на оплеухи и подзатыльники.

От этих подзатыльников я еще с ранних лет начала потихоньку терять веру в торжество добра. Не то, чтобы я знала эти слова, но их истинный смысл всё ярче светился в моей детской душе. Мой переезд к родителям в Берлин уже мало что мог исправить, потому что я не знала ни слова по-немецки и никак не могла этот ужасный язык выучить. Ко времени, когда я все-таки освоилась среди бесконечных артиклей и приставок, мои родители уже успели рассориться и разойтись. Так что меня опять отправили к бабушке в Москву, где никто не знал немецкого языка, и все говорили на русском, который я за три берлинских года изрядно подзабыла.

В школе, куда меня послали по возвращении, все смеялись над моим акцентом и над тем, как нелепо я составляю фразы. И дразнили меня немецкой подстилкой, - особенно изощрялись девчонки, которые ужас как завидовали моим хорошеньким немецким платьяцам и туфелькам. Один раз меня даже схватили в уборной, затолкали в кабинку, сорвали с меня пушистый голубой свитер и обмакнули его в унитаз. Мне пришлось пропустить следующие уроки – ведь не могла

же я надеть мокрый свитер или выйти в коридор нагишом. Когда все разошлись по домам, уборщица тетя Надя вытащила меня из кабинки, где я пряталась, и пожалела – она прополоскала мой свитер под краном, завернула его в старую газету и принесла мне из раздевалки пальто, чтобы я могла уйти домой.

Увидев испорченный свитер, которому по московским меркам цены не было, бабушка с размаху закатила мне такую оплеуху, что я отлетела в угол и ударилась затылком о край столика для телевизора. Потом, когда меня привезли из больницы, бабушка долго плакала и проклинала себя за излишнюю горячность, но было уже поздно – я окончательно уверилась, что человек по природе зол.

Не помог и срочный приезд мамы, забравшей меня обратно в Берлин, где я опять вынуждена была преодолевать непреодолимый огневой заслон немецкой грамматики. К двенадцати годам я постигла сущность немецких спряжений и лишилась всяческих иллюзий – я научилась видеть окружающих насквозь: бабушку с ее жадностью и страхом перед тем, что скажут соседи, маму с ее эгоизмом и метаниями между грехом и добродетелью, и папу с его ожесточенной любовью к порядку, превозмогающей все другие чувства.

Внешне моя жизнь выглядела совершенно нормальной и даже успешной – я закончила немецкую школу и поступила в университет Гумбольдта, намереваясь заняться историей. Я научилась жить не только без бабушки, но даже без мамы с ее переменными мужьями и без папы с его постоянными подругами, тем более, что за это время во внешнем мире произошли большие перемены.

Где-то в самом начале университетского курса современной истории подлинная современная история перевернула вверх дном берлинскую стену и вместе с нею весь уклад моей жизни. Получив степень магистра университета Гумбольдта, я стала искать подходящее место для работы над докторатом. Это было непросто - накатанные академические темы докторских диссертаций казались мне смертельно скучными.



И я выбрала для себя нечто оригинальное - историю террористической группы, оперировавшей в Германии в семидесятых годах и официально известной под именем «Фракция Красной Армии», а неофициально прозванной «Бандой Баадер-Майнгоф». Ни один немецкий университет не принял меня с моим проектом, но кто-то надоумил меня, что американские университеты более либеральны, чем наши. И я подала свой проект на получение международной стипендии на тему входящего в моду террора.

Мне повезло - я получила грант на год работы в университете штата Вашингтон в городе Сиэтл, где, оказывается, недавно был создан специализированный институт Че Гевары, задача которого - создание летописи освободительных движений. Только американцы способны объективно изучать своих противников, хитроумно называя их освободительными движениями! У нас в Германии никогда бы не допустили подобного самоедства.

Университет штата Вашингтон оказался поразительно похожим на старые английские университеты – те же невысокие элегантные здания из серо-розового кирпича, утопающие в густой зелени, те же ухоженные лужайки, гладко расстеленные между корпусами многообразных факультетов

Сначала мне трудно было привыкнуть к ватному американскому хлебу и к бездарному американскому кофе, отдающему нефтью даже после индивидуальной обработки. Однако богатство архивов института Че Гевары быстро примирило меня и с хлебом, и с кофе, и даже с чудовищным акцентом жителей тихоокеанского побережья, грубо оскорбляющим мой первоклассный английский, выученный в специальной лондонской школе, куда отправлял меня в ранней юности мой дипломатический папа.

Со временем я освоилась в хранилищах документов и завела дружбу с директором института Синтией Корти, полной немолодой дамой, страстной энтузиасткой изучения повадок врага. Она пять раз была замужем, но ни с одним мужем не задержалась, со всеми пятью развелась - это у них здесь считается хорошим тоном. Сейчас она живет одна, то есть без мужа, но вовсе не одиноко, а с четырьмя детьми, причем

все они приемные и все разных рас, хотя почти одного возраста, и с любовником-метисом лет на пятнадцать ее моложе, который работает у нее нянькой. Я как безродная иностранка была приглашена к ним на Рождество есть традиционную индейку. Вся счастливая семейка сидела за праздничным столом - это было зрелище! Ни дать, ни взять - картинка из учебника этнографии!

С Синтии все и началось. В одно прекрасное утро она позвонила мне ни свет, ни заря и потребовала, чтобы я немедленно приехала в институт. Сходу отменяю мои слабые ссылки на ранний час и невымытую голову, она объявила, что дело чрезвычайно важное, и в моих интересах приехать как можно скорей. Оказалось, что она случайно наткнулась в интернете на интересное объявление, обещающее мне в случае удачи ещё пару лет вашингтонского благополучия. Какая-то богатая феминистская организация обещала щедрый грант докторантке американского университета, готовой написать книгу о самой блистательной женщине Европы девятнадцатого века. Срочность была вызвана тем, что до дедлайна оставалось всего две недели.

«При чём тут я? Я не интересуюсь ни девятнадцатым веком, ни блистательными женщинами!»

«Но грантом на два года ты интересуешься?»

Пришлось признать, что интересуюсь. А кроме того меня растрогала забота Синтии о моём благополучии – таким вниманием не следовало пренебрегать. Но всё же я усомнилась: «А какой шанс, что я выиграю конкурс?»

«Обязательно выиграешь! - горячо вскинулась Синтия. – С твоими языками и с твоим европейским опытом!»

«Что ж, предположим, - согласилась я. - Но ведь задача не простая: угадать, кого эти феминистки считают самой блистательной женщиной Европы девятнадцатого века».

«Я уверена, что ты угадаешь!»

По дороге в свою квартиру-студию я ломала голову над вопросом, куда бежать, в кого стрелять. И даже не заметила, как по приходе домой моя правая рука начала вытаскивать из шкафа дорожную сумку.

«Куда же мы едем?» - спросила я сама себя, пока вторая рука деловито снимала с полок нижние и верхние одежды, необходимые для далекого путешествия.

Ответ пришел сам собой, пока я укладывала сумку с привычной тщательностью, привитой мне папиным немецким воспитанием, - в противовес русскому бабушкиному, пренебрегавшему всеми разумными правилами экономной упаковки. Именно этот ответ я искала всю дорогу домой. Он был так очевиден, что я и не подумала сопротивляться – ведь это был единственно возможный вариант.

В Берлине я первым делом отправилась к маме, которая страстно коллекционировала сплетни из светской хроники. Но, к сожалению, она никак не могла врубиться в суть моих вопросов. Я была к этому готова – обычно требовалось немалое искусство, чтобы заставить маму заинтересоваться моими проблемами.

«Мама, если ты немедленно не прекратишь это идиотское занятие, я уеду ночевать к папе», - в конце концов пригрозила я по-русски, чтобы её задобрить. Но это не помогло, потому что она с головой погрузилась в подготовку предстоящего спиритического сеанса. Это было ее последнее увлечение, а своим увлечениям она отдавалась всей душой. Мама обожала вѐе потустороннее и верила в переселение душ. Этой верой она объясняла свою склонность к неустанной смене мужей – она, дескать, все время ищет того, с кем в прошлой жизни ее связывала истинная любовь. Ищет и не находит.

«Ты же не предупредила меня, что приедешь, - пожаловалась она, раскрывая складной стол, предназначенный для столоверчения. – Свалилась, как снег на голову, - о, эти русские поговорки! - и тут же начала требовать, чтобы я отменила сеанс, назначенный две недели назад».

Я, собственно, ничего такого не требовала, я только хотела на короткое время отвлечь ее от вертящегося стола, чтобы спросить, какую красотку из девятнадцатого века принято у них считать самой блистательной. Но я никак не могла прорваться в ее замкнутый внутренний мир, - это всегда

было нелегко, а в день спиритического сеанса практически невозможно.

Значит, нужно поскорей уносить отсюда ноги, пока не начали собираться ее гости, которые хором будут восхищаться моей красотой, раздражая этим маму, как мачеху в Белоснежке. Могут даже раздражить ее настолько, что она вообще не захочет мне помогать – чтобы знала свое место и не выставлялась. Так что пора – тем более, что высидеть целый вечер в обществе ее мистических недоумков было выше моих сил.

Я еще раньше решила ночевать у папы, чтобы не сталкиваться по дороге в ванную с маминым очередным другом. Ведь именно ради разговора с папой я примчалась в Берлин. И лучше всего провести этот деликатный разговор перед сном, когда он выставит на стол бутылку коньяка и будет наслаждаться тем, что переманил меня у мамы. А завтра утром придется вернуться к маме.

Я уже было двинулось к выходу, как вдруг меня осенило – а почему бы не принять мамино приглашение и не остаться на её спиритический сеанс?

«Знаешь, я, пожалуй, останусь с вами на часок», - сообщила я маме, которая уже закончила готовить внешнюю обстановку для сеанса и приступила к подготовке внутренней, то есть к погружению в астральный мир и к отключению от мира реального.

Подготавливая своё будущее бегство, я осторожно вынесла сумку в коридор и терпеливо пересидела в маминой спальне всю нудную процедуру прихода участников сеанса. Когда смолкли частые звонки в дверь и приглушенные приветствия гостей, я исподтишка прокралась в гостиную и села на свободный стул у магического стола.

«С кем бы мы хотели сегодня поговорить?» - спросила мама, оглядывая собравшихся плохо сфокусированным взглядом, устремленным в астральный мир.

«Я бы хотела попросить вас вызвать на разговор самую блистательную женщину Европы девятнадцатого века», - неожиданно для самой себя выпалила я.

"Никто не возражает?" - спросила мама.

Никто не возразил, только красивый седой господин с военной выправкой спросил, как мы узнаем эту, самую блистательную. Мама, не задумываясь ответила, что мы спросим об этом самых блистательных мужчин того времени. Участники действия одобрительно закивали и простерли руки над магическим столом.

"Фридрих Ницше, кого вы считаете самой блистательной женщиной вашего времени?" – неземным шепотом, который был пронзительней любого крика, произнесла мама.

Стало очень тихо. Стол дрогнул и медленно закружился, останавливаясь у каких-то букв.

«Лу Андреас фон Саломе! – прочёл господин с военной выправкой. – Кто такая? Никогда о ней не слышал».

"Ницше всегда всех удивлял", - вздохнула мама и повторила свой призыв, обращаясь по очереди к Рихарду Вагнеру и Зигмунду Фрейдю.

Ко всеобщему изумлению оба они назвали ту же таинственную Лу Андреас фон Саломе! В ответ сидящие за столом оторвались от созерцания астрального мира и вопросительно уставились на меня. Я пожала плечами:

"Я тоже никогда о ней не слышала".

«Лу Андреас фон Саломе – какое красивое имя!» - воскликнула моя русская мама, с юности питающая слабость к немецкому дворянству. Потом отвернулась к своему вертящемуся столу и совсем земным голосом отчеканила:

«С кем еще мы бы хотели сегодня поговорить?»

\* \* \*

Папа был не лучше мамы – с ним тоже было нелегко.

«Папа, если ты немедленно не прекратишь это идиотское занятие, я встану и уйду», - пригрозила я по-немецки, наслаждаясь вкусом вновь обретенных хорошо обкатанных языком слов.

Папа на мою угрозу и ухом не повел – он, не отрывая глаз от экрана, вот уже час торчал перед компьютером, погруженный в решение неразрешимого, на мой взгляд, пасьянса. Мне ужасно хотелось спать – как никак я всю ночь летела в сторону противоположную вращению земного шара. Тем более хотелось, что мы давно уже поужинали, и за приятным

разговором осушили полбутылки коньяка. Пока папа углублялся в пасьянс, я успела перемыть гору грязной посуды и теперь сидела, поджав ноги, на диване в ожидании его ответа на свой вопрос о самой блистательной женщине.

Выслушав меня папа молча встал и включил компьютер. Все-таки мои родители – настоящие музейные экспонаты: папа прикипел к компьютеру точно так же, как мама к вращающимся столам.

У него это увлечение началось после того, как силы добра разрушили берлинскую стену, и многие его сослуживцы сперва оказались под следствием, а потом предстали перед судом и угодили в тюрьму. Папе повезло – не знаю, был ли он под следствием, этим он со мной не делился, но под суд его не отдали. Его только «ушли», как он говорил, на преждевременную пенсию, выплатив при этом изрядную компенсацию. «За особые заслуги» - бросил он как-то хмуро в ответ на мой нескромный вопрос, с чего бы это такая щедрость.

Мне показалось, что папа ужасно обижен таким оборотом дел, и даже изрядная компенсация не может смягчить горечь этой обиды. Вначале он растерянно топтался на месте, как человек, грубо остановленный посреди быстрого бега, потом начал порхать, как бабочка, от одного легкомысленного занятия к другому, рассорившись по пути со всеми своими подругами, пока не замкнулся, наконец, наедине со своим возлюбленным компьютером в своей новой двухкомнатной квартире неподалеку от метро Рюдесгаймер плац.

До падения стены у папы была однокомнатная квартирка в восточном Берлине в доме, принадлежавшем его народно-демократическому министерству, откуда их всех быстро разогнали, как только упала стена.

А новую он получил от нового демократического, но, к счастью, уже не народного государства. Квартирку ему выдали как почетному пенсионеру, одновременно с компенсацией, тогда как многие его бывшие соседи переехали из министерского дома прямо в камеры тюрьмы Моабит, где не было ни кухни с микроволновкой, ни балкона с цветочками в керамических горшках.

Нескромных вопросов я больше не задавала, понимая, что и квартира получена за особые заслуги, характера которых я никогда не узнаю. Однако некоторые догадки роились в моей легкомысленной головке прелестной пастушки из антикварного магазина.

...Нет, нет, я собой вовсе не восхищаюсь, просто меня саму порой смущает вопиющее несоответствие между моим невинным златокудрым обликом и тяжелыми жерновами мыслительной мельницы, скрытыми под золотом кудрей. Еще больше пугает меня собственная склонность к нелицеприятным и зачастую неблагоприятным заключениям о самых милых мне людях. Например, о моем любимом папе.

Кое-какие разрозненные сведения о прежних его проделках я подобрала еще в нежном детстве, когда мы жили по другую сторону берлинской стены. Занимая не слишком высокую, но вполне почетную должность в дипломатическом корпусе народно-демократической Германии, папа часто посещал другие страны, и иногда брал с собой меня. Не знаю, хотел ли он всего-навсего выиграть у мамы лишнее очко в их постоянной борьбе за мою душу, или я была ему нужна для прикрытия какой-то незаконной деятельности, но я с младых ногтей приучилась жить в дорогих отелях и завтракать в нарядных ресторанах, воспринимая как должное учтивые полупоклоны вышколенных официантов.

Я обожала эти поездки, во время которых папа страшно меня баловал – он покупал мне хорошенькие одежды и водил на прогулки по тенистым аллеям городских парков. Там, пока я качалась на качелях или гарцевала на спинках маленьких покладистых пони, к папе подсаживались иногда незнакомые люди, чаще всего дамы – он всегда пользовался успехом у дам разных возрастов, от юных розовых девиц до элегантных старух с голубыми волосами. Я относилась к ним снисходительно, уверенная в том, что он меня ни на одну на них не променяет. Так оно и было – посидев рядом с папой несколько минут, разочарованная дама удалялась и оставляла его мне.

После ее ухода папа обычно казался слегка рассеянным – он то и дело озирался по сторонам, словно не мог сразу

вспомнить, где находится. Но очень быстро приходил в себя, и мы весело возвращались в отель, где нас уже поджидал вкусный обед и по рюмочке оздоровительного. Это было славное время, и мне даже немножко жаль, что оно закончилось и для папы, и для меня. И папе, мне кажется, тоже немножко жаль, несмотря на уютную квартиру возле метро Рюдесгаймер плац и открывшиеся всей стране новые горизонты.

А может быть, все это – мои досужие домыслы и желание романтизировать прошлое папы, который последнее время изрядно сдал и полысел. Однако, домыслы или нет, именно из-за них я бросила всё и примчалась к нему в Берлин в надежде на практическое применение его романтического прошлого.

Компьютер неожиданно разорвал тишину оглушительным победным аккордом и окропил опустевший экран искрами многоцветных фейерверков.

«Сошлось, наконец, - сказал папа, откидываясь на спинку кресла. - Кажется, я смогу тебе помочь».

«Но при чем тут пасьянс?» - не выдержала я, хотя дала себе зарок не раздражать папу бестактными вопросами.

Но папа воспринял мой вопрос не как бестактность, а как проявление интереса, и обрадовался.

«Пасьянс – игра философская, он схематически представляет картину житейской борьбы», - начал он. И я, хоть умирала спать, подперла слипающиеся веки пальцами и приготовилась покорно слушать, только бы он не передумал взяться за мое дело.

«Для начала, требуется везенье – если карты не лягут благоприятно, ничего не поможет, ни мудрость, ни ловкость пальцев. Однако, когда карты лягут благоприятно, одного везения мало, нужно быстро и умело шевелить мозгами. И вот, казалось бы, все улажено, черное и красное воинство выстроено в боевые колонны, и для победы недостает только нескольких мелких штрихов. Выпускаем следующую порцию карт, они, пощелкивая, ложатся поверх готовых к бою войск, – и, о ужас! Судьба перехитрила нас, наше прекрасное боевое построение рушится. Мы беспомощно топчемся на



месте, стараясь изменить положение. И вдруг нас озаряет – вот оно, решение! Все как в жизни – так легко просчитаться и оступиться, а ошибки неустранимы. Но я победил и у меня есть ответ на твой вопрос».

Папа с торжеством посмотрел на меня, как Колумб, только что открывший Америку и еще не потерявший надежды, что ее назовут Колумбией. Я страстно желала его похвалить, но сон налетел на меня так стремительно, что я не смогла произнести ни слова. И всё-таки услышала:

"Ты должна писать книгу о Лу Андреас фон Саломе".

Уже проваливаясь в бездну сна, я поняла, что другого выхода нет: я обречена подать заявку на написание книги о Лу Андреас фон Саломе, кто бы она ни была. Первым делом нужно было срочно выяснить, кто же такая эта неотразимая Лу Саломе, единогласно названная самой блистательной женщиной Европы девятнадцатого века.

Я стала искать информацию о ней в интернете и с удивлением узнала, что девушка Лу, очаровавшая всю Европу, родилась в Санкт-Петербурге. Дальше пошло хуже, и я поплыла по интернету, жадно цепляясь за каждое упоминание о Лу Саломе, которых, честно говоря, было немного. Одни имена наводили меня на другие, другие на третьи, третьи на четвертые и так далее. Они выстраивались в цепочку с частыми прорехами, но постепенно я вошла во вкус – заполнять прорехи было даже интересней, чем просто тянуть цепочку от одного имени к другому. Мой список её романов все рос и рос – эта женщина действительно очаровала всю Европу! Кто-то даже сказал, что по списку ее поклонников можно изучать культурную историю Европы периода belle-epoque.

Рассказать что-то смешное? Я и впрямь получила этот заманчивый грант! Никто кроме меня не догадался назвать Лу Саломе самой блистательной женщиной Европы, все сходилось на более привычных именах - Жорж Занд, Сарра Бернар и Софья Ковалевская. Убедившись, что моя победа на конкурсе не первоапрельская шутка, я принялась собирать и просеивать детали жизни Лу Саломе. В результате начала

складываться занятная картина, больше похожая на ковер, где судьбы известных людей сплетались в непредсказуемые узоры. На этом ковре, заслоня мужские лица, всё яснее проступали лица женские, значительные и притягательные. И сплетая нити судеб вокруг этих лиц, история Европы стала выстраиваться по-новому, хочется сказать – по женски. Потрясённая этим открытием, я стала записывать свои впечатления, но получалось как-то сухо. Тогда я решила вместо добросовестной научной регистрации фактов сочинить роман о странных узорах европейского исторического ковра девятнадцатого века.

Преодолевая страх провала, я пустилась в плавание по бурному морю не слишком продуманного романа.

## ЛУ

Лёля вздохнула – со спектаклем придётся подождать, зрители пока не собрались. Папа еще не вернулся с очередного парада в императорском дворце, а у братьев еще не закончились уроки в их училищах. Дома была только мама, но ради нее одной не стоило уничтожить фамильные ценности. И вообще, грандиозное представление перед единственным зрителем не могло бы достигнуть нужного эффекта.

Поэтому Лёля с огорчением решила отложить задуманное до обеда, на который по давней традиции должны были собраться все члены семьи. Зато оставшееся время можно было с пользой потратить на подготовку – зачесав наверх непослушные кудри, заплести их в косу и аккуратно перебросить ее через плечо. Лёля хотела было осмотреть себя в зеркале, но передумала: она не доверяла зеркалам, обнаруживающим ее отделенность от остального мира, тогда как она чувствовала себя неотделимой его частью.

Где-то в глубине квартиры хлопали двери и звенело столовое серебро – время обеда приближалось. Первым пришел папа и протопал в спальню переодеваться к обеду. Мама что-то весело защебетала ему вслед, он засмеялся и осторожно прикрыл за собой дверь. Потом начали возвращаться братья, не все сразу, – сначала младший Женя с веселым ги-

каньем и свистом, потом старший Александр, студент, вошел жизнерадостной, но размеренной походкой взрослого человека – он был старше Лёли на двенадцать лет. Последним, запыхавшись, прибежал сэндвич Роберт, с опозданием, когда все, кроме Лёли, уже собрались вокруг обеденного стола. Мама не успела позвать Лёлю, потому что сразу обрушилась на Роберта, чтобы он не смел садиться за стол, не помывши рук. Потом заскрипели стулья об пол, зазвякали вилки и мама крикнула: «Лёля, где ты?». Наступило время выхода на сцену.

Лёля вошла в столовую, прижимая к груди папиного драгоценного апостола Павла с мечом в руке. Сначала никто не обратил на нее внимания, мама что-то рассказывала папе, а братья увлеченно намазывали на хлеб паштет из гусиной печени. Лёля не села к столу, а остановилась у окна, за которым уже начали сгущаться сумерки, и простояла там довольно долго, пока все головы не повернулись к ней.

«Ну, что там еще?» – нетерпеливо спросила мама.

Это был третий театральный звонок. Занавес поднялся, и главная героиня с размаху швырнула на пол керамического апостола. Громко ахнули все, даже самый младший, а Лёля в ответ произнесла заранее заготовленную речь:

«Я объявляю, что никакого Бога нет! Потому что я не могу верить в Бога, который позволил моей любимой кошке умереть таким страшным образом! И без всякой причины!» И зарыдала.

Первым опомнился папа – он опустился на колени и стал подбирать рассыпавшиеся по паркету осколки драгоценной керамики. Вслед за ним опомнилась мама – она вскочила с места и вlepила рыдающей Лёле звонкую оплеуху. Братья продолжали ошеломленно молчать, не зная, кого жалеть, – папу, Лёлю или кошку. Они привыкли любить и оберегать Лёлю, которая была самой младшей и к тому же единственной девочкой в семье.

Дверь кухни отворилась и в нее вплыла толстая кухарка Клава с половником в руке. Вплыла и застыла в изумлении, увидев ползющего на коленях папу и рыдающую Лёлю. Камердинер, Гирей-татарин, везущий из кухни столик с фар-

форовой супницей, едва не налетел на Клаву и тоже застыл в дверях с разинутым ртом. Папа вскочил с колен и схватил маму за руку: “Не надо, Луиза! Ты же видишь, девочка огорчена!” И тут Лёлю осенило вдохновение – она поняла, что нужно сделать. Она упала папе на грудь, зарылась носом в его махровую, пропахшую табаком куртку и прорыдала: “Бога нет! Бога нет! Как же мне жить дальше?”

Папа уронил собранные было осколки и прижал Лёлю к себе: “Не плачь, детка. Мы купим тебе другую кошку”. “Зачем мне кошка, если Бога нет?” – не унималась Лёля.

“Не поощряй ее, – прошипела мама. – Это всего лишь ее очередная дурь”.

И подала Клаве знак разливать суп. Лёля отказалась садиться за стол, убежала к себе в комнату, упала на кровать вниз лицом и прислушалась. В столовой ложки звякали о тарелки – там ели суп. При мысли о супе, наваристом и горячем, у Лёли засосало под ложечкой, но она не сдалась и продолжала всхлипывать в подушку. Очень скоро надежды ее оправдались – кто-то громко бросил ложку на стол и затопал к дверям.

“Ты куда?” – сердито крикнула мама.

“Пойду посмотрю, что там с Лелькой”, – ответил голос младшего брата Жени.

“Вернись немедленно! Незачем к ней ходить, она должна быть наказана за свои фокусы!”

“Пусть пойдет, – сказал папа, – у девочки такое горе”.

За то время, что Женя шел к ней по коридору, Лёлю озарило: ее союзниками и защитниками всегда будут мужчины!

\*\*\*

Она с улыбкой вспомнила этот день спустя много лет, когда давно уже была не Лёля, а Лу. Она стала Лу ради мужчины, который сумел заменить ей Бога.

Тогда Лёлю, как и всех других девочек ее возраста, готовили к конфирмации. Ее родители, принадлежавшие к петербургской протестантской общине, отправили ее в класс семейного пастора Далтона. Лёля возненавидела его, не досидев до конца первого урока – он был скучный и плоский. То

есть, плоский он был мозгами, а животом – очень даже круглый, отчего плоскость его мозгов особенно бросалась в глаза. Лёля сразу поняла, что не сможет ничему у него научиться. Да и чему вообще могла научиться у пастора она, давно открывшая для себя, что никакого Бога нет.

Поэтому она пропускала уроки Далтона, как только находила для этого мало-мальски правдоподобный предлог. Сбежавши с урока, она часами бродила по Невской набережной, разглядывая прохожих и сочиняя сказки об их жизни. Эти сказки заменяли ей реальность, она погружалась в них до самозабвения, до полной потери подруг, до полного отказа от веселой молодой суеты, заполнявшей их щедрую квартиру. Когда гости танцевали в парадной зале, она стояла у окна своей спальни и сочиняла чужую жизнь. Кто знает, как долго бы это продлилось, если бы она случайно не услышала о красноречивых проповедях некоего обрусевшего голландца, пастора Гийо.

В первый раз Лёля отправилась послушать проповедь пастора Гийо тайком от мамы. Для этого она без объяснений удрала с последнего урока и бегом припустила по Невскому проспекту, боясь опоздать. Запыхавшись, она вскочила в проезжавшую мимо конку и стала вглядываться в мелькающие за окном улицы, чтобы не пропустить нужную. И все-таки опоздала. Когда она вбежала в часовню, проповедь уже началась. Но это было неважно. Еще не услышав ни слова, Лёля с первого взгляда поняла, что пастор Гийо именно тот человек, появления которого она, сама того не зная, ждала всю жизнь. При первом звуке его голоса ее охватил такой восторг, какой она испытывала в детстве при общении с Богом. Но ее Бог давно умер, и теперь она встретила человека, который мог бы его заменить.

## МАРТИНА

Что же Лёля увидела при первом взгляде на пастора Гийо, появления которого она ждала всю жизнь? Правда не всю ее долгую жизнь, а только те первые семнадцать лет, что протекли до ее встречи с ним. Но в семнадцать лет всякое со-

бытие кажется роковым. Интересно, как она описала его в своих воспоминаниях? Я взяла со стола книгу, с трудом добытую у букиниста, и на двенадцатой странице обнаружила главу “Переживание любви”. Чудно, сейчас мне откроется тайна этой внезапной любви. Я несколько раз прочла эпиграф “Человеческая жизнь – всякая жизнь – это поэзия. Нам кажется, что мы живем ее, но это она, она живет нас”. И подумала: какая возвышенная чушь! Но кто я, чтобы судить о стиле женщины, покорившей сердца лучших поэтов и философов Европы?

Увы, о внешнем облике пастора не было ни слова, и даже имени его я нигде не нашла. Он так и остался в истории безымянным, безликим пастором Гийо. И не только он – на скупых страницах, посвященных воспоминаниям детства Лели, не было ни слова о том, как выглядели ее мама, папа и братья. У меня мелькнула странная догадка, что когда Лу писала о детстве Лели, она уже забыла милые лица, окружавшие ее с колыбели. Что ж, придется заняться сочинительством.

## ЛУ

Леля заметила, что идет не по тротуару, а по торцам проезжей части улицы, только когда на нее чуть не налетела лихая извозчицья пролетка. Отшатнувшись в последний момент, она огляделась вокруг – как она успела бессознательно прошагать полдороги от часовни до дома? Где блуждали ее мысли? Голова сладко кружилась, сердце билось неровно, в душе звучала музыка. Мимо проехала конка, остановилась, из нее вышла дама со шляпной картонкой в руке, оставив дверь заманчиво открытой. Но нет, Леля, никакой конки! Душа требовала пройти оставшийся путь пешком, несмотря на то, что из-за этого Леля опоздает на ужин и получит суровый выговор от мамы. Но ей было все равно, она была счастлива. Вся прошедшая жизнь представилась ей тоскливым темным коридором, который наконец привел ее в залу, до краев залитую солнечным светом.

Она поняла: хватит мечтать, пришло время действовать! Она не намерена и дальше слушать проповеди пастора

Гийо, стоя в толпе, благоговейно внимавшей его речам. Она должна добиться, чтобы он читал ей проповеди наедине, чтобы обращался лично к ней, к ней одной. Недаром она всю жизнь управляла небольшим мужским отрядом, состоявшим из папы и братьев – в голове ее складывался хитрый план. Дома она вполуха выслушала упреки встревоженной ее опозданием мамы, сжевала что-то холодное из оставленной на кухонном столе тарелки и, сославшись на головную боль, заперлась в своей комнате.

Замысел был ясен: нужно написать ему такое письмо, чтобы самое черствое сердце дрогнуло участием. И чтобы он согласился с ней встретиться. А дальше все пойдет как надо – в этом Леля не сомневалась. Она придвинула чернильницу и застрочила пером по бумаге – она отроду была красноречива.

“Вам пишет одинокая девушка, одинокая до отчаяния, одинокая от того, что никто вокруг не понимает ее душевных стремлений, ее поисков истины, ее желания учиться. Нет ничего ужасней для девушки моего возраста, чем быть отторгнутой своими сверстниками и своими близкими. И все оттого, что она потеряла веру в Бога и ищет новых путей “.

Письмо заканчивалось мольбой не отвергать одинокую девушку, а протянуть ей руку помощи. Пастор Гийо откликнулся на мольбу и назначил Леле свидание, не подозревая, что мышеловка захлопнется с первого взгляда. Как только он ее увидел, он потерял голову. Он был готов бесконечно тратить на нее время, учить ее, наставлять, воспитывать и говорить– говорить– говорить, только бы она была рядом, только бы почувствовать тепло ее дыхания, только бы гладить ее руки, обнимать ее при встрече, касаться губами русых завитков на ее затылке. Порой он настолько забывался, что сажал ее к себе на колени, но она, словно не замечая его учащенного дыхания, продолжала следовать за сложными извилинами его философских мыслей. А если он иногда сбивался, не в силах справиться со своим чувством, ей это было невдомек – ведь ее интересовали только его мысли, только мысли и ничего больше.

Наконец он не выдержал. Изнемогая от неудовлетворенной любви, он отправился к Лелиной матери и упал перед ней на колени, умоляя отдать ему в жены ее дочь. У него, правда, пока есть жена и двое детей, но он готов немедленно развестись, чтобы жениться на Лу – он никак не мог произнести сложное русское Льяля. Леля пришла в ужас и отшатнулась от человека, в высокие устремления которого она наивно поверила. Она содрогалась, представляя себе плотское вожделение, которое он испытывал, сжимая ее руки, протянутые к нему в духовном экстазе. От всей этой истории у нее осталось только отвращение к мужской похоти, горькое разочарование и сладкое имя Лу.

## **МАРТИНА**

Я перечитала написанное и мне стало не по себе – что-то здесь было не так. Сначала пастор Гийо заменил ей Бога, и она не пожалела сил, чтобы его захоронить. А когда он попросил ее руки, она возмущенно его разжаловала из должности Бога и отвергла, как отвергла когда-то самого Бога за смерть кошки. Про Бога я могла понять: моя мама в детстве тоже его отвергла за то, что он не помог ей решить задачку об одном бассейне и двух кранах. Но за что Леля отвергла бедного пастора, влюбленного в нее по уши?

Я опять перелистала ее автобиографию в надежде найти разумное объяснение, но не нашла никакого ответа. И тогда я решила представить себя на ее месте.

## **ЛУ**

В тот ужасный день Леля, придя, как всегда по вторникам, в часовню Гийо, случайно заметила, что старик-сторож не сидит на стуле у входа. Не придав этому значения, она поспешно прошла в заднюю комнату, где пастор давал ей уроки. Окно было зашторено и полумрак освещали лишь три свечи, горящие в узорном подсвечнике. Пастор стоял у зашторенного окна и, услышав ее шаги, шагнул ей навстречу. Она подставила ему щеку для обычного поцелуя, но он нео-



жиданно обхватил ее и впился губами в ее губы, пытаясь языком разомкнуть ей зубы. Она попробовала высвободиться, но он был гораздо сильнее и прижимал ее к себе все крепче. Руки его бродили по ее спине, спускаясь все ниже, а согнутое колено его втискивалось ей между ног, причиняя боль чем-то твердым и настойчивым. Но даже это не ужаснуло ее так, как ужаснуло его лицо, внезапно потерявшее все те вдохновенные черты, которые она так любила. Это было грубое и бессмысленное лицо, скорее похожее на звериную морду, а не на человеческий облик.

Леля испугалась. На секунду ей показалось, что она не устоит на ногах под его напором и упадет на твердые доски паркета. Не зная, как вырваться из тисков его рук, она сама разомкнула зубы, впуская внутрь его язык, и тут же их захлопнула. Пастор вскрикнул и на секунду ослабил хватку. Леля воспользовалась этим, с силой рванулась, оттолкнула его двумя руками и выскочила в часовню, совершенно пустую и гулкую. Выбежав из часовни, она почувствовала, что вся дрожит, как в лихорадке, и рухнула на стул сторожа, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой.

Неизвестно, как долго она просидела в полной прострации, пока дверь часовни не открылась, выпуская наружу пастора. Увидев ее, он слегка покачнулся и оперся ладонью о стену. Лицо его странно дергалось, рот кривился мучительной гримасой.

“Прости меня, Лу, умоляю, прости. Это был приступ безумия. Ты простишь меня?”

Леля подняла на него глаза, но не увидела ничего, кроме страшной звериной морды, искаженной похотью. Она поняла, что никогда не увидит его таким, каким видела раньше. Не сказав ни слова, она вскочила со стула и убежала.

На следующий урок она не пришла. И на последующий тоже.

## МАРТИНА

Ну вот, теперь я могу с чистой совестью повторить тот абзац, который раньше меня озадачил:

“Наконец он не выдержал. Изнемогая от неудовлетворенной любви, он отправился к Лелиной матери и упал перед ней на колени, умоляя отдать ему в жены ее дочь. У него, правда, пока есть жена и двое детей, но он готов немедленно развестись, чтобы жениться на Лу – он никак не мог произвести сложное русское Льелья. Леля пришла в ужас и отшатнулась от человека, в высокие устремления которого она наивно поверила. Она содрогалась, представляя себе плотское вожделение, которое он испытывал, сжимая ее руки, протянутые к нему в духовном экстазе. От всей этой истории у нее осталось только отвращение к мужской похоти, горькое разочарование и сладкое имя Лу”.

## ЛУ

Отвергнутый пастор Гийо в отчаянии покинул Россию, не подозревая, что стал первым в длинном списке разбитых сердец и неразделенных очарований.

Леля тоже впала бы в отчаяние, если бы она оставалась Лелей, но она уже была Лу, и не просто Лу, а Лу Саломе. А Лу Саломе была защищена от отчаяния непробиваемой броней ледяного сердца. Ее сердце оледенело не в момент разрыва с влюбленным пастором, а чуть позже, когда скоропостижно умер ее отец, любимец императора Александра Второго, генерал Густав фон Саломе. Он был не отец, а папа, главный друг и верный попутчик. Он всегда был снисходителен к капризной необузданной дочке, не то что мама Луиза. Луиза фон Саломе была не мама, а мать – она была сурова и справедлива, что было крайне несправедливо: справедливыми могут быть чужие, а родные должны прощать и миловать. Еще будучи Лелей, Лу мечтала, что они с папой удерут из дому и будут бродить по дорогом вдвоем, ведя на цепи дрессированного медведя. А от мамы лучше всего было бы избавиться. И когда однажды мать, купаясь в озере, заплывала слишком далеко, маленькая Леля крикнула ей: “Хорошо бы ты утонула, мамочка!” – “Но я тогда умру”, – возразила мать. “Ну и ладно!” – беспечно откликнулась Леля.

Умерла однако не мама, умер папа. Умер неожиданно, скоропостижно, возмутительно, ни с того ни с сего исчез из жизни и оставил Лу наедине со слишком справедливой мамой. Мир померк и покрылся ледяной корой. А вслед за ним ледяной корой покрылось сердце Лу. Ледяное сердце Лу заморозило ее легкие до такой степени, что она начала харкать кровью. Тут уж испугалась даже суровая мать и по требованию врачей увезла больную дочь из болотного Петербурга в солнечную Европу. Первой остановкой в их европейском путешествии был Цюрих, где Лу поступила в университет.

Ледяное сердце Лу требовало солнечного тепла и восхищенных мужских взглядов. Солнечного тепла в Цюрихе было недостаточно. Правда, восхищенных мужских взглядов там было хоть отбавляй, однако цюрихские мужчины, все, как на подбор, не стоили внимания Лу. Сначала она испытывала на них силу своего очарования, но результат оказался слишком однообразным – все они, словно сговорясь, в один голос признавали ее гениальной. Не прелестной, не грациозной, не восхитительной, а именно гениальной.

Это было просто смешно. Лу очень быстро поняла, что учиться философии в университете весьма скучно – ей ни к чему были чужие философские системы, у нее была своя, которая ее вполне устраивала. Главное – нужно было знать имена и основные слова и употреблять их кстати, загадочно улыбаясь и вовремя кивая. Мужчины обалдевали от ее улыбки, им начинало казаться, что она впитывает их слова, как губка, и разделяет их взгляды, несомненно для каждого из них гениальные.

Когда Лу стало совсем скучно в Цюрихе, она задумала уехать в Рим. Для этого нужно было уговорить маму. Это было непросто – мама была в восторге от благовоспитанного немецкого Цюриха, от его уютных кафе, от его прелестных парков, от его причесанных газонов, от его чистых тротуаров, от его фешенебельных витрин. Ей ни к чему был грязный, неприбранный, беспорядочный Рим. Маму нельзя было переубедить, ее можно было только вынудить.

Для этого у Лу был уже опробованный раньше прием. Она начала издали – все чаще кашляла и, закашлявшись, хваталась за носовой платок. Когда мама поднимала на нее вопросительный взгляд, она отвечала слабым голосом:

“Ничего серьезного. Это от сквозняка”.

Или “Это от сырости”.

Наконец наступил день атаки. Лу тщательно подготовилась – запаслась снежно-белым носовым платком и маленьким перочинным ножиком с протертым спиртом лезвием. Убедившись, что мама уютно устроилась в кресле с модным журналом в руке, Лу больно проткнула ножиком мизинец и выдавила на платок несколько капель крови. Боль ей была нипочем, боли она не боялась. Убедившись, что красные пятна хорошо оттеняются белизной платка, она надсадно закашлялась, прижала платок к губам и громко ахнула.

“Что случилось?” – всполошилась мама, оторвавшись от журнала.

“Опять кровь! Совсем как тогда в Петербурге!” – прошептала Лу и показала маме платок.

“Какой ужас!” – простонала бедная мама.

Кровавый кашель дочери был маминым петербургским кошмаром. В Цюрихе он сработал снова. Из-за него они недавно покинули родной Петербург, который мама любила так же сильно, как Лу ненавидела. И снова как тогда, увидев окровавленный платок, мама согласилась увезти Лу прочь – на этот раз в нелюбезный ее сердцу Рим.

В Риме мама пыталась таскать Лу по достопримечательным развалинам, которых там было без числа. Но Лу не интересовали руины, ее интересовали люди, достойные ее внимания – философы, мыслители, поэты. О том, как до них добраться, она позаботилась еще в Цюрихе. И осуществила задуманное – сразу после лекции профессора философии Кроненберга подошла к нему со скромной улыбкой. Профессор Кроненберг был одним из тех идиотов, которые с первого взгляда на Лу понимали, что она гениальна. Интересно, что им для этого не нужно было выслушивать ее со-

ображения и проверять ее познания, им достаточно было посмотреть ей в глаза и обомлеть.

Заметив приближающуюся Лу, профессор Кроненберг в очередной раз обомлел и спросил, чем он может ей быть полезен. Сам он точно знал, чем бы он хотел быть ей полезен, но она давно дала ему понять, что об этом и речи быть не может. Профессор был молод и хорош собой, но стоило Лу представить, как его интеллигентное лицо преобразится в бессмысленную звериную морду, тошнота подкатывала к ее горлу. Не в силах ее понять, он с сожалением смирился и согласился на любезно предложенные ему дружеские отношения.

“Дорогой профессор, я пришла попрощаться, завтра я уезжаю в Рим”.

“Надолго?”

“Надеюсь, навсегда. Здешний климат вреден для моих слабых легких, и врачи настоятельно советуют мне переехать поближе к южному солнцу”.

“Ах, какая жалость потерять такую гениальную ученицу!”

Неужели он все еще на что-то надеялся?

“Но вы могли бы мне помочь продолжить свое интеллектуальное развитие, если бы порекомендовали мне какое-нибудь философское сообщество в Риме.”

Профессор на миг задумался и вдруг просиял: “В прошлом году меня приглашали в Рим прочесть серию лекций о греческих философах на курсах для эмансипированных девиц. Эти курсы организовала замечательная женщина, феминистка Мальвида фон Мейзенбург. Вам стоит с ней познакомиться. Она – тот столп, вокруг которого вьются самые разные ветви европейской культуры. Я дам вам рекомендательное письмо к ней, и таким образом обеспечу себе шанс еще раз предложить вам свою любовь”.

Значит, он все еще на что-то надеялся, раз дал Лу рекомендательное письмо к Мальвиде фон Мейзенбург, благодаря которому она была принята в узкий круг мыслителей и поэтов. С успеха в салоне Мальвиды начался ее триумфальный марш по вершинам европейской культуры. Первой ее победой и первой жертвой стал Фридрих Ницше.

## МАРТИНА

Что еще за Мальвида фон Мейзенбург? Никогда о ней не слыхала! Вокруг нее вились самые разные ветви европейской культуры, а я никогда о ней не слыхала. Может быть, кто-то ее намеренно скрывал? Пришлось на время оставить Лу и заняться таинственной Мальвидой. Факты пришлось собирать по крупицам – письмо там, ссылка здесь, строчка в неожиданной книге. Неполный сухой остаток умещался в двух абзацах:

Переводчица “Былого и дум” А.Герцена на немецкий язык (знала, что ли, русский?), многолетняя корреспондентка Герцена и Огарева, воспитательница дочери Герцена Ольги, многолетний друг дома Вагнеров, одна из первых признавшая музыкальный гений Рихарда Вагнера, первая читательница и судья первых непризнанных трудов Фридриха Ницше, его многолетняя добрая фея, вдохновительница раннего Ромен Роллана, которую он называет “великой женщиной Европы, чистой идеалисткой, чья светлая старость была подругой моей юности. Она прожила всю жизнь рядом с героями и чудовищами духа, с их тревогами и падениями; все они открывались ей, почти все любили ее, – и ничто не затемнило ясности ее мыслей”.

Какая же она была, эта великая женщина Европы?

## МАЛЬВИДА

Дочь знатных немецких дворян, Мальвида была очень некрасивой девочкой. Она поняла это довольно рано, видя, как изменяются лица встречных, когда они сталкиваются с ней взглядом. В их глазах вспыхивало отвращение и даже страх. Мальвида часто разглядывала себя в зеркале и сама пугалась своего отражения. Но с годами она привыкла к своему облику и смирилась с ним. Она перестала стесняться себя и научилась одеваться и причесываться так, чтобы хоть немного скрасить свои неудачные черты. Но хотя Господь обделил ее красотой, он наградил ее острым умом и отважной душой, а это было немало.

Отважная душа швырнула ее, благополучную дочь министра карликового немецкого государства Гессен, на баррикады революции 1848 года. Она тогда тенью прошла мимо захваченного революционным порывом Рихарда Вагнера, но на этом отрезке времени их пути не пересеклись. Угроза ареста унесла Вагнера в Швейцарию, а Мальvidу в Англию. В Швейцарии Вагнера прибило к щедрому поместью Матильды Весендонк, а Мальvidу в Лондоне к рушащемуся дому Александра Герцена.

Она застала Герцена скорбящим на руинах своей совсем недавно счастливой семейной жизни. Его любимая жена Наташа только-только скончалась от сердечной болезни, оставив его с тремя маленькими детьми. Он горько плакал по ней, не забывая при этом, что перед смертью она безумно влюбилась в близкого друга семьи, знаменитого немецкого поэта-революционера, красавца Георга Гервега. Она металась между мужем и возлюбленным, что было географически весьма просто – Гервег, хоть знаменитый, но нищий, нашел приют в хлебосольном барском доме Герцена. Когда преследования полиции заставили Герцена переселиться из Парижа в Ниццу, Гервег переселился вместе с ним. Это была настоящая драма в русском стиле: узнав о романе жены с немецким поэтом, Герцен порывался уйти из дому, но Наташа его не отпустила, предлагая жизнь втроем, вернее вчетвером, потому что жена Гервега Эмма готова была на все из любви к красавцу-мужу. Гервег же порывался покончить жизнь самоубийством, но Герцен умолил его не совершать такого безумства, хоть сам в отличие от Эммы на все готов не был. В результате Герцен остался с Наташей, Гервег с ней расстался, и тогда Наташа умерла от разбитого сердца.

За недолгое время супружества Наташа родила Герцену девятерых детей, из которых шестеро умерли в нежном возрасте, а трое, тоже в нежном возрасте, остались сиротами. Герцен в отчаянии уехал в Лондон и погрузился в депрессию – он неспособен был ни устроить свой быт, ни наладить жизнь несчастных осиротевших детей. Неизвестно, что бы с ними стало, если бы их судьбой не занялась отважная Мальvida. Она смело бросилась с одинокой, но уютной скалы ста-

родевичества в бурный водоворот герценовской трагедии. Тем более, что сам Герцен тоже нуждался в утешителе, или точнее – в утешительнице. Он писал Мальвиге: “Да, временами буря, бушующая в груди, доводит меня до удушья; о, как хотелось бы тогда иметь друга, руку, слезу – так много хотелось бы сказать!”

## **МАРТИНА**

Мальвида стала ему другом, рукой и слезой, и все бескорыстно – она не рассчитывала не только на любовь, но даже и на мелкую романтическую интрижку. Это была глубокая жертвенная дружба и никаких романтических отношений. Начинаясь следующий акт очередной драмы в русском стиле – безобразии Мальвиги надежно охраняло ее от мужских посягательств. Это было очень горько и обидно, но Мальвида подавила подступающую к горлу горечь и превратила ее в сладкий леденец, которым угостила Герцена.

## **МАЛЬВИДА**

В Лондоне, как всегда, моросил мелкий дождик, и сумерки наступили непростительно рано. Погруженная в мысли Мальвида не заметила, как прошагала под зонтиком от Рассел Сквер до Гайд Парка, и очнулась только тогда, когда во мгле среди ветвей обнаженных деревьев зажглись бледные фонари. Она хотела бы передохнуть и отдышаться, но все скамейки в парке были мокрые, и пришлось идти дальше. Воздух в парке был влажный, но свежий, не то что в ее затхлой съемной комнатухе на Перси стрит. Дойдя до Найтсбриджа Мальвида невольно замедлила шаг, удивляясь тому, что ноги сами привели ее к нарядному дому ее нового друга Искандера – так она называла печального изгнанника из далекой России. Если бы не дружба с ним, ее одинокая жизнь в холодной неприветливой английской столице была бы просто невыносима.

Их объединяло и роднило одиночество изгнанников в чужом краю и разочарование в недавно угасшей европейской



революции, в которую оба они когда-то страстно верили. Мальвида так восхищалась книгой Искандера “С того берега”, что только страшным усилием воли она не позволила себе в него влюбиться – она понимала, что с ее внешностью у нее нет никакой надежды на взаимность. Тогда как Искандер был идеальным объектом для любви – недавно овдовевший, красивый, благородный единомышленник, всегда печальный и нуждающийся в утешении

Мальвида минутку потопталась на тротуаре перед домом, еще раз удивляясь странному несоответствию между революционными взглядами Искандера и роскошью его дома. Но она не могла осуждать его – не должен же он был приносить своих маленьких сироток-детей в жертву своим убеждениям и обрекать их на тяготы нищенской жизни! Они ведь не были виноваты ни в том, что так рано осиротели, ни в том, что их отец был богат, но осуждал неравенство.

Разум говорил Мальвине, что она приходит в этот дом слишком часто, а сердце рвалось к детям, несчастным, одиноким, заброшенным. Наконец, сердце победило и она решилась – робко, но твердо нажала на звонок дверного колокольчика. Слуга-итальянец отворил дверь, взял у нее зонт и сказал, грустно поджимая губы:

“Синьор с детками в столовой”.

Это и так было слышно – из-за закрытой двери в коридор врывался громкий визг и грохот. Войдя в столовую Мальвида охватила взглядом царящий там кавардак и поняла, что пришла не напрасно. Искандер, сгорбившись в кресле у камина, безучастно смотрел как старшие дети, Саша и Тата, с воплями кружатся по комнате, швыряя друг в друга сброшенные башмаки и диванные подушки. В углу за роялем тихо плакала трехлетняя Оленька, по ее красным глазам и распухшим губам было видно, что плачет она давно.

Мальвида не задумываясь шагнула к рыдающей крошке и подхватила ее на руки. Маленькое тельце прижалось к ее груди, маленькие ручки обхватили ее шею и девочка прошептала по-русски незнакомое, но понятное слово “Мама!” Не спуская Оленьку на пол Мальвида упала в кресло напротив Искандера и крикнула: “В чем дело? Почему вы их не остановите?”

Искандер поднял на нее пустой взгляд и вяло прошептал: “Я пробовал. Но они не слушаются”.

И вдруг заплакал: “Наша жизнь не налаживается, я не способен заниматься детьми, мой дом – развалина”.

Не утирая слез, он повторил несколько раз: “Я этого не заслужил, я этого не заслужил!”

Мальвида усадила Оленьку Искандеру на колени, резко поднялась с кресла, с размаху швырнула на паркет неубранную после обеда тарелку, за ней вторую и заорала: “Хенде хох!”

Саша и Тата на миг застыли в изумлении. Мальвида со звоном разбила третью тарелку и повторила еще громче: “Хенде хох!” Саша и Тата неуверенно подняли руки вверх, а Искандер неожиданно захохотал, утирая слезы: “Ай да Мальвида! Бой-баба!”

Слов его Мальвида не поняла, но поняла, что он ее похвалил. Утихшие Саша и Тата дружно повалились на диван и разом заснули. Во внезапно наступившей тишине слышны были только судорожные всхлипы Оленьки.

“У вас что, нет ни сестры, ни матери, которые могли бы вам помочь?” – нарушила тишину Мальвида.

“Моя жена была моей сестрой... нет, не сестрой, а кухонной... двоюродной... двоюродной. Но она умерла. А мама, мама... – Тут Искандер опять захлебнулся рыданиями. – Мама умерла еще раньше... пароход, на котором она плыла ко мне в Ниццу, затонул посреди моря... и мамы не стало”.

“Мамы не стало! – крикнула Оленька. – Мама уехала далеко-далеко...”

“Я так ей объяснил... чтоб не огорчать. Да она и не поймет, что значит – умерла”.

Сглотнув подступивший под горло ком жалости, Мальвида опять села в кресло и спросила: “А почему бы вам не нанять гувернантку или хотя бы горничную? Ведь деньги у вас есть”.

“Да я нанимал, нанимал! Двадцать раз нанимал! Но ни одна здесь не удержалась! Эти чертенята даже святую Марфу из дома выживут. Тем более, что манерам не обучены и английского не понимают”.

“Что ж вы манерам их не обучили?”

“Наташе было не до манер. Она рожала без перерыва, а дети умирали один за другим. А тут еще этот роман с Георгом. Ума не приложу, откуда у нее силы взялись на роман? Сами понимаете, что на манеры сил уже не осталось”.

Оленька перестала плакать, сползла с колен отца и взобралась на руки к Мальвиде. Вытирая мокрый нос Мальвидиным рукавом, она опять повторила: “Мама! Мама!” Мальвида расправила пальцами ее спутанные, влажные от слез кудряшки и спросила по-немецки: “Тебе очень нужна мама, Оленька?”

“Очень нужна”, – ответила Оленька по-немецки. Немецкому ее обучали с колыбели.

Герцен протянул к дочери руки и позвал по-русски: “Иди к папе, Оленька”.

“Нет, я хочу быть с мамой”, – отказала ему Оленька по-немецки.

“Зачем вам понадобилась моя дочь?” – сердито спросил Искандер.

“Вам не кажется, что это я ей понадобилась?”

Искандер смущенно забормотал: “Конечно, конечно... Я благодарен, вы их так усмирили. И Оленьку утешили, а то она все время плачет. Что бы я делал без вас?”

Мальвида обдало жаром, и она неожиданно для себя предложила: “Хотите, я перееду к вам и буду ухаживать за детьми?”

Сказала и тут же испугалась – в какое ярмо она себя запрягает? А Искандер испугался еще больше, он сжал руки Мальвиды: “Вы переедете к нам? Нет, нет! Нельзя, чтобы вы пожертвовали свою жизнь нам!”

“Да, да, нельзя, – согласилась Мальвида, поставила Оленьку рядом с креслом отца и встала. – Я, пожалуй, пойду, уже поздно. Завтра я приду опять. А вы подумайте”. – И направилась к выходу.

“Но вы не передумаете до завтра? – побежал за ней Искандер. Преградил ей путь рукой поперек двери. – В моей душе такое недоверие, что я опасюсь всего... И всего более боюсь вашего отдаления”.

Между ними протиснулась Оленька, обхватила колени Мальвиды и попросила: “Не уходи далеко или возьми меня с собой!”

Искандер подхватил дочь на руки: “Оленька, куда ты хочешь уйти? Ты же дома с папой!”

“Не хочу с папой. Хочу с мамой!” – зарыдала девочка.

“Вы видите, что вы наделали?” – сердито упрекнул Искандер. Мальвида оттолкнула его руку от дверного косяка, схватила зонт и выскочила на улицу. Он выбежал за ней с плачущей Оленькой на руках и крикнул вслед: “Обязательно приходите завтра!”

Мальвида поспешно завернула за угол, чтобы не слышать рыданий Оленьки, и огляделась. Уже совсем стемнело, но дождь прекратился. Придется взять омнибус, – это, конечно, большой расход при ее скудных сбережениях, но сердце колотилось безумно и не было сил идти пешком домой через два парка и Найтсбридж.

В нескоро подошедшем омнибусе свободных мест внизу не было, пришлось взобраться на империал. Хоть сиденья там были мокрые, но зато, когда омнибус свернул к набережной Темзы, сверху открылся восхитительный вид на очерченный туманными фонарями Вестминстерский собор.

“Как мне быть, как быть?” – воскликнула Мальвида вслух. К счастью, народу на империале было мало, и ее никто не слышал. В ее смятенной памяти замелькали образы прошедшего вечера – потухший взгляд Искандера, ожесточенные лица разбушевавшихся детей, вкус мокрой от слез щечки Ольги на ее щеке. Она вспомнила, как маленькие ручки Ольги обхватили ее шею, и душа ее всколыхнулась острым предчувствием любви.

## **МАРТИНА**

Так завершился второй акт драмы в русском стиле – Оленька отвергла отца и на всю жизнь осталась с Мальвидой.

Сначала это было незаметно: в конце концов, сердобольная Мальвида переехала в дом Герцена и занялась воспи-

танием всех его детей, – не только обожавшей ее Оленьки, но и настороженно неприязненных Саши и Таты.

## **МАЛЬВИДА**

Случилось это через неделю после того вечернего разговора, когда она опять дошагала до Риджент Парка. Стоял удивительный для осеннего Лондона день – хоть и не солнечный, солнечные дни случались там нечасто даже летом. Но и не вполне хмурый, а с веселыми солнечными прорехами в быстро бегущих облаках, отчего на душе становилось легче и теплей.

В одну из таких прорех неожиданно ворвался топот детских ножек по усыпанной гравием аллее, и прямо на Мальвиду из-за поворота выбежали Саша и Тата. Они на секунду застыли перед ней в изумлении и вдруг хором догадались: “Вы к нам?” Мальвида не успела ответить, как вслед за ними в поле зрения вступил явно измученный Искандер, тянущий за руку упирающуюся Оленьку. Оленька вырвала ладошку из ладони отца, устремилась к Мальвиде и прижалась мордашкой к ее колену. Саша и Тата, как зачарованные, последовали за сестренкой и тоже вцепились в юбку Мальвиды с криком: “Пойдем к нам!” Потрясенная этой атакой Мальвида сказала подошедшему Искандеру: “Если хотите, я перееду к вам прямо завтра”. И переехала.

## **МАРТИНА**

Герцен вздохнул с облегчением и занялся любимым делом – начал писать мемуары и обдумывать издание эмигрантского журнала. Жизнь в доме стала налаживаться, мудрая Мальвида наняла горничную, которую постаралась оградить от жестоких детских проказ. Да и саму энергию этих проказ постаралась понизить и сгладить, за что дерзкие старшие дети не особенно ее жаловали. Но терпели и даже слушались.

Постепенно возникало ощущение, что дом Герцена уже не разоренное гнездо с готовыми выпасть и разбиться птен-

цами, а нормальный дом, в котором живет нормальная семья. Картина и впрямь получалась трогательная: дружная семья сидит вокруг стола в уютной, со вкусом обставленной столовой, за окном на фоне туманного лондонского неба качаются деревья любовно ухоженного сада. Семья небольшая, почти образцовая – мужчина лет сорока, женщина слегка за тридцать и трое красивых, отлично воспитанных маленьких детей. В камине горит огонь, из кухни доносится вкусный аромат хорошо прожаренного мяса, горничная, полька Ганна, меняет тарелки, повар, итальянец Франсуа вносит очередное блюдо. Мир и благодать!

И все-таки чего-то недостает. Почему я не верю этой семейной идиллии? Уж не потому ли, что мне неясны отношения между мужчиной и женщиной? Он ей не муж, она ему не жена, но и не любовница, однако он проводит в ее обществе долгие лондонские вечера и ведет с ней за завтраком сокровенные разговоры о самых интимных вещах. Детям она не мать и не гувернантка, она не получает никаких денег за свое участие в семейной жизни, ей даже приходится подрабатывать на стороне уроками музыки, однако дети ее слушаются и делятся с ней своими детскими проблемами. Она упорно изучает русский язык и даже пытается переводить на немецкий язык прямо с пылу с жару – тоже бесплатно! – мемуары отца детей, которые будут впоследствии прославлены в России под титулом “Былое и думы”. Но сначала – в Германии – благодаря ее переводу.

С чего бы такое усердие? Неужто из благотворительности? Как-то смешно – бедная бездомная изгнанница благотворительствует хозяину богатого дома со множеством прислуги, а сама подрабатывает на стороне уроками музыки. Почему-то хочется предположить, что она в него без памяти влюблена, и это вполне естественно – он такой красивый и вальяжный, их души так созвучны, и при этом он вдов, печален и одинок.

Ну а он, такой возвышенный и благородный? Так вот за просто принимает жертвы одинокой, влюбленной в него женщины, ничего не предлагая ей взамен? И позволяет ей без всякой надежды на взаимность годами жить в его доме и бес-

корыстно воспитывать его детей, только потому, что она собой нехороша? И хоть никакой другой женщины в поле его зрения нет, она даже не пытается его соблазнить? Ни за что не поверю!

В мои сомнения ужом вползает коварный вопрос: зачем Герцен написал своей приятельнице М. Рейхель: “Мадемуазель Мейзенбург очень умная, я ее коротко знаю, собой безобразна, но совершенно свободное и развитое существо”? Зачем он, благородный и возвышенный, так грубо заклеил молодую женщину, которая принесла свою свободную жизнь в жертву его семье, сказав о ней “собой безобразна”? Не для того ли, чтобы отвести подозрения об их тайных отношениях, естественно возникающие у каждого взрослого человека?

Но поскольку нигде ни слова нет ни о тайных отношениях, ни о явных, да и вообще о Мальвиде, прожившей в доме Герцена почти три года и навсегда заменившей мать его младшей дочери Ольге, вскользь упомянуто где-то только как о “воспитательнице его дочери”, я позволяю себе пофантазировать.

## МАЛЬВИДА

Над Лондоном бушует гроза. Все как положено – ветер воеет, молнии сверкают, гром грохочет. В доме Герцена во всех окнах темно, и дети, и взрослые мирно спят. Гроза все ближе и ближе полыхает над домом, и вот она уже здесь: мощный разряд молнии почти совпадает с мощным раскатом грома, и шестилетняя Тата в ужасе выскакивает из кровати. Яркая вспышка света сменяется непроглядной тьмой, и Тата отчаянно кричит: “Папа! Папа!”, не зная, куда бежать и как спастись.

Ее крик будит спящую в соседней комнате Мальвиду. Та, как была, босиком и в ночной сорочке, спешит в детскую, но не может в темноте найти испуганную девочку, нетвердо зная, кто именно плачет, Тата или Оленька. Бормоча утешительно: “Тише, тише, деточка, не плачь, я здесь!”, Мальвида безуспешно пытается дрожащей рукой зажечь рожок газовой горелки, но натывается во тьме на другую руку, тоже шаря-

щую по стене. Очередная вспышка молнии на миг освещает Искандера в наспех наброшенном халате и Тату, бьющуюся в истерике на ковре в дальнем углу детской.

Искандер впервые видит озаренную вспышкой молнии Мальвиду в тонкой, почти прозрачной на свету ночной сорочке – ее фигура не испорчена непрерывными беременностями и родами, она сложена, как молодая девушка, сорочка не скрывает ни ее округлые груди, ни ее стройные арийские ноги. Как давно он не обнимал молодую женщину, готовую припасть к его груди? Но сейчас ему не до нежностей, сейчас нужно успокоить рыдающую Тату и поскорей унести ее из детской, чтобы она, не дай Бог, не разбудила Оленьку.

Искандер поднимает Тату с ковра и несет ее в комнату Мальвиды. “Пускай она спит у меня, – говорит та, – со мной ей будет спокойней”. Прижавшись к Мальвиде, девочка затихает, пару раз шмыгает носом и засыпает. Искандер наклоняется поцеловать ее и его обдает жаром разогретого тела Мальвиды. Он направляется к двери, готовый уйти к себе, но оборачивается против воли и вдруг замечает, что кровать у Мальвиды узкая, очень неудобная для двоих. Еще не вполне сознавая значение своих слов, говорит: “Мальвида, вам не поместиться вдвоем на этой узкой кровати. Идемте ко мне, там вам будет удобней”.

Мальвида и не думает отказываться – она так давно ждала этих слов! Искандер протягивает ей руку, она припадает к его плечу, и он целует ее в шею уже в коридоре. Шея у нее стройная и упругая, лица ее, весьма безобразного, не видно в темноте. А главное – она вся дрожит от давно скрываемой страсти, не то что покойная Наташа, – той было не до любовных игр, она всегда или была беременна, или оплакивала очередного умершего младенца. А под конец влюбилась в его друга Георга и вообще потеряла к нему интерес. Мальвида же, к счастью, не девственница и кое-что понимает в любовных утехах – когда-то в ранней юности она согрешила с молодым публицистом, сыном пастора Теодором Альтгаузом, и тот кое-чему ее научил.

Ночь проходит как один миг. На рассвете Мальвида на цыпочках уходит к себе, осторожно берет на руки спящую Тату



и переносит в детскую. Никто ничего не узнал и не узнает, жизнь в доме Искандера будет по-прежнему уютной и семейной.

## **МАРТИНА**

Ах, как складно все получилось – никто ничего не знает, жизнь в доме течет уютно и семейно. Может, злые языки и перешептываются за спиной, но в лицо никто-ничего: все друзья, все приятели. Очень часто в хлебосольном доме Искандера собираются эмигранты всех мастей – немцы, французы, русские, поляки – осколки разбитой вдребезги европейской революции. Засиживаются за полночь, беседуют, поют. Мальвида среди них своя в доску. Так бы все и продолжалось, счастливо и мирно, если бы через два года не разразился третий акт драмы в русском стиле.

## **МАЛЬВИДА**

Мальвида навсегда запомнила этот на редкость ясный апрельский день. Задав Оленьке разучивать гамму си-минор, она отворила окно и прислушалась к веселым крикам Саши и Таты, гонявшим мяч во дворе. Она любила спокойные фортепианные занятия с Оленькой – девочка оказалась необычайно музыкальной и охотно выполняла все более сложные задания. Особенно приятно было ставить пальчики Ольги на клавиши, когда в комнате не было Таты, ревниво следившей за каждым успехом младшей сестры. Тата недолго любила Мальvidу и порой смотрела на нее таким пронзительным взглядом серых глаз в темных ресницах, что в душу Мальвиды заползал страх – а вдруг она что-нибудь знает, а вдруг она просыпается среди ночи и прислушивается к звукам, доносящимся из спальни отца? Опасаться, собственно, было нечего – оба они свободные взрослые люди, никому не обязанные отчитываться, но Искандер боялся, что их тайная связь может глубоко задеть ранимое сердце рано осиротевшей девочки.

Где-то близко зацокали по булыжнику конские копыта и из за поворота выехал кеб, тяжело нагруженный сундуками и чемоданами.

“Уж не к нам ли?” – екнуло предчувствием сердце Мальвиды, хоть они никого не ждали. И впрямь, оказалось к ним. Кеб остановился у входа в дом, из него, неуклюже оступаясь на крутых ступеньках, вышел полный мужчина средних лет в светлом пальто с пелериной и неуверенно дернул дверной колокольчик. “Похоже, кто-то из эмигрантов Искандера, но почему с багажом? Неужто собирается у нас поселиться?” – промелькнуло в голове Мальвиды, пока повар Франсуа неспешно шел отворять дверь.

“Господина нет дома”, – услышала она привычный ответ Франсуа. Тот обычно намеренно оставлял дверь полуоткрытой, чтобы Искандер мог решить, хочет он принять посетителя или нет.

“Его нет дома”, – по-русски крикнул мужчина кому-то, следящему за ним из окна кеба.

“Все равно, вели сгружать чемоданы!” – ответил ему женский голос и на ступеньках появилась стройная молодая дама в короткой меховой шубке. Мужчина подал ей руку, помогая спуститься вниз, а потом оттеснил Франсуа плечом и велел извозчику заносить чемоданы в дом. Франсуа онемел от такой наглости, не зная, как на нее реагировать, но в это время Искандер бегом слетел по лестнице и бросился обнимать гостя.

“Коля, неужто это ты? Как я рад, как я рад!” – бормотал он. Мальвиде показалось, что глаза его полны слез.

“А где же дети?” – спросил незванный Коля. Искандер оторвался от него и крикнул по-немецки: “Мадемуазель Мейзенбург, приведите, пожалуйста детей!”

“Вот как, теперь я буду мадемуазель Мейзенбург!” – с горечью подумала Мальвида, наблюдая, как приезжая дама враспашку целует Искандера.

Она протянула руку Оленьке: “Пойдем к папе”. И крикнула вниз, во двор: “Саша! Тата! Идите в дом, у нас гости!”

Убедившись, что старшие дети ее послушались, Мальвида начала спускаться вниз по ступенькам, ведя Оленьку

за руку. Дама в шубке подняла на нее колючий взгляд, и ей почудилось, что ее коснулась ледяная рука судьбы.

“Кто эта отвратная особа? Неужели ваша гувернантка? – воскликнула дама, не подозревая, что Мальвида понимает русскую речь. – Какая зловещая, какие бесцветные глаза и рыбий рот, ужас!”

“Натали!” – предостерегающе прошептал Искандер, страдая за Мальвида, но дама его не услышала: “Ты понимаешь, что мы приехали составить семью и нам здесь не нужен чуждый элемент?”

Сердце у Мальвиды замерло, она покачнулась и судорожно схватилась за перила, чтобы не упасть. Ее дрожь передалась чуткой Оленьке, и та громко заплакала. В этот миг со двора через черный ход вбежали Саша и Тата и замерли в недоумении при виде гостей.

“Знакомьтесь, – с преувеличенной радостью представил их Искандер. – Это мои старшие. Поздоровайтесь, дети, с моим дорогим другом Колей Огаревым. Он мне больше, чем друг, он мне брат! И с его женой, Натальей Алексеевной. – Саша шаркнул ногой, Тата сделала реверанс. – А это Оленька, моя бедная крошка”.

“Перестань плакать, крошка, теперь я стану тебе мамой, – простерла к ней руки Наталья Алексеевна. – Иди ко мне, я тебя поцелую”. И сделала шаг к Оленьке. Та отшатнулась, прижалась к ноге Мальвиды и вцепилась в ее юбку. И даже изогнула спинку, как сердитая кошка – вот-вот зашипит!

“Надеюсь, ваша гувернантка не станет настраивать детей против меня?” – угрожающе спросила Натали.

“Пойдемте перекусим, а потом слуги внесут наверх ваши чемоданы! – заторопился Искандер – Вам надо освежиться с дороги”. Все трое отправились в столовую, Саша и Тата за ними, а Оленька уперлась – ухватила пальчиками за балюстраду лестничных перил и ни с места. Мальвиде и самой не хотелось идти за этой враждебной Натали, но Искандер через минуту выглянул в коридор: “Почему вы застряли? Мы вас ждем”.

Мальвида с трудом разомкнула оленькины нежные пальчики и покрыла их поцелуями: “Не бойся, девочка, я буду

рядом с тобой. Пойдем к папе”. Оленька неохотно повиновалась, повторяя по дороге: “Не хочу, что она будет мамой!” Их обогнал Франсуа с подносом, на котором громоздились тарелки с бутербродами, какие только он умел создавать: слои холодного мяса перемежались слоями сыра и ломтиками огурцов, промазанных майонезом. Франсуа снял с подноса особенно аппетитный бутерброд на булочке и протянул Оленьке: “Возьми, твой любимый”. Но Оленька в ответ отшвырнула бутерброд: “Ничего не стану есть, пока она не уедет!” Франсуа не рассердился, он погладил Оленьку по голове и проговорил по-французски: “Беда! Беда!”

Вслед за Франсуа они вошли в столовую – все уже сидели вокруг стола, горничная Ганна разливала чай. Мальвида направилась к своему привычному месту у окна, рядом с Искандером.

“Как? – закричала Наталья Алексеевна. – Гувернантка будет сидеть с нами за одним столом? Ведь мы хотели говорить о нашем, интимном!”

Мальвида вскочила со стула, будто ее ошпарили кипятком, и шарахнулась прочь из комнаты. Оленька, рыдая, припустила за ней, повторяя по-русски: “Подожди! И я с тобой!”

Последнее, что услышала Мальвида, выбегая, был удивленный вопрос Натали: “Она что, понимает по-русски?”

## МАРТИНА

В предисловии к воспоминаниям Натальи Алексеевны Тучковой-Огаревой я прочла, что сильное чувство к Герцену возникло у нее при первой встрече с ним в Париже, еще до ее брака с Огаревым. А за три страницы до этого откровения тот же автор написал, что она, будучи на восемнадцать лет моложе Огарева, страстно в него влюбилась и храбро стала жить с ним невенчанная, потому что первая жена не давала ему развод.

Не слишком ли много страстных влюбленностей за столь короткий срок? Может, стоит поискать причины более реалистические, чем влюбленность – ей 18 лет, она небогата, но хороша собой, эксцентрична и неглупа, Огареву вдвое

больше, он грузен, богат, болен эпилепсией и склонен выпить лишнее.

По приезде Огаревых в Лондон расклад уже другой – Николай уже не богат, а скорее беден, еще более грузен, еще более болен, еще более склонен выпить. А вдовый Герцен собой хорош, окружен восторженными последователями и сказочно богат. Никакой достойной внимания женщины в его окружении нет, если не считать эту немецкую уродину фон Мейзенбург – справиться с этой кикиморой будет нетрудно, нужно только почаще склоняться к уху хозяина дома и дышать ему в ямочку на шее – это Натали умеет, проверено не раз.

## МАЛЬВИДА

Огаревы по приезде прожили в доме Герцена целую неделю, пока не сняли квартиру на соседней улице. Но это почти ничего не изменило – они с утра являлись в герценовский дом и начинали наводить в нем свой порядок. Они подолгу запирались с Герценом в его кабинете и возбужденно разговаривали по-русски, часто перебивая друг друга, иногда плача, иногда смеясь. Огарев быстро уставал от этих страстных разговоров, он со скрипом отодвигал свой стул, выходил из кабинета, грузно спускался по лестнице и ложился на диван в гостевой комнате на первом этаже. Обычно, как только Тучкова оставалась с Искандером наедине, их диалог превращался в напряженный монолог.

Подслушивала ли их разговоры Мальвида? И да, и нет. Когда она давала уроки музыки Тате и Ольге, она ничего не могла услышать. Зато когда она задавала всем троим перевести какую-нибудь страничку с русского на немецкий или с немецкого на русский – каждому свою, разумеется, Саше статью из газеты, а Оленьке сказку, – она выходила в коридор и прислушивалась к торопливому потоку взволнованного женского голоса, рвущемуся из кабинета.

Хоть она неплохо освоила русский язык, ей редко удавалось полностью понять декламацию Тучковой. Но главное она ухватила – напористая подруга хвасталась перед Искан-

дером своей революционной смелостью. До Мальвиды доносились обрывки фраз: "...в Париже... пыталась дойти до баррикад в предместье св. Антония... одна-одинешенька... свистели пули... я трепетала от страха и восторга".

А однажды, уходя, Огарев оставил дверь полуоткрытой, и Мальвида услышала целую поэму: "Когда в Италии образовалась демонстрация волонтеров, чтобы идти на Колизей, один из них, приняв меня за итальянку, вручил мне тяжелое знамя. Я понесла его впереди длинной колонны с такой гордостью, с таким восторгом!" И подумала: "А может, Огарев вовсе не устаёт – просто ему тяжело видеть, как его жена пытается вскружить голову его другу?"

Конечно, и Мальвиде это было тяжело, просто непереносимо. Но еще хуже, еще непереносимей было видеть, что Тучкова вытворяет с детьми Искандера. Женское чутье – а может быть, ревность? – подсказывало Мальвиде, что Тучкова не успела полюбить этих детей, она просто пытается использовать их как орудие для захвата сердца их отца. Тем более, что у нее на руках был главный козырь: их несчастная покойная мать когда-то именно ей завещала присмотр за детьми в случае своей смерти. Первым делом Тучкова объявила, что сама лично будет обучать их русскому языку. Саша и Тата восприняли этот проект равнодушно – а почему бы не изучать язык, который они и без того неплохо знали? Но маленькая Оленька неожиданно взбунтовалась – она ни за что не желала учиться у Натальи Алексеевны, которая пыталась протиснуться на роль ее покойной мамы.

Как-то Мальвида вернулась с урока музыки, который давала соседской девочке для заработка. Она отперла входную дверь своим ключом и прислушалась – в доме было тихо, только веселый смех старших детей доносился из сада. Герцен и Огарев скорей всего уехали в город, а где же Оленька, если Натали уехала с ними?

Вдруг тишину рассек короткий пронзительный взвизг – конечно, Оленька! Ее голос Мальвида узнала бы даже во сне. Она вихрем взлетела по лестнице и рывком отворила дверь классной комнаты. Картина ей представилась страшная: Тучкова одной рукой выворачивала назад оленькину руку, а ла-

донью другой зажимала ей рот. При виде Мальвиды Тучкова замерла, и Оленька, вероятно, куснула ее ладонь, потому что она отдернула руку и крикнула “Маленькая дрянь!”

Мальвида одним прыжком оказалась рядом с ними и вырвала Оленьку из ослабевшей хватки Натали. “Как ты смеешь?” – не помня себя, завопила она по-немецки.

“Вот оно, ваше воспитание! – завопила в ответ Натали. – Эта девчонка даже здороваться со мной не хочет, не то что заниматься! Но я ее заставлю! Я обещала ее покойной матери!”

Но Мальвида ее не слушала, она уже уводила Оленьку прочь от ненавистной самозванки. А может быть, она не такая уж и самозванка? Вполне возможно, что она влюбилась в Искандера еще при первой их встрече в Париже – Мальвида нечаянно услышала сквозь небрежно прикрытую дверь, как она признавалась Искандеру в чем-то подобном. И постаралась втереться в доверие его умирающей жены – о, это она умела! Втереться в доверие, пустить пыль в глаза, разыграть спектакль! А по приезде в убогое родное гнездо обольстить лучшего друга Искандера, рыхлого романтического владельца роскошного соседнего имения и смело переехать к нему, хоть невенчанной, но любимой. А после смерти жены своего героя уговорить мужа перебраться в Лондон для создания новой семьи.

Оленька громко рыдала, повторяя: “Не отдавай меня ей! Не отдавай!”

“Не отдам!” – пообещала Мальвида, ясно сознавая свое бессилие. И все-таки она решила не рассказывать об этом столкновении Искандеру, опасаясь, что навлечет его гнев не на Натали, а на себя. И точно: поздно вечером она услышала, – она, конечно, не подслушивала, а просто, проверив, спокойно ли спят дети, проходила мимо кабинета Искандера и услышала, как Огарев жаловался на нее.

“Оленька уже доведена до того, что избегает здороваться и прощаться с Натали. Разве ты не видишь удвоенных стараний Мальвиды привязать к себе детей и таким образом поставить преграду сближению с нами?”

Ответа Искандера она не стала слушать – какая разница, что он скажет? Он уже не хозяин в своем доме. Ей было непереносимо больно. “Так я и знала! – горько подумала она. – Этой стерве ничего не стоило настроить против меня своего безвольного мужа! Просто чудо – она об него ноги вытирает, а он ничего не замечает!”

Как она ошибалась! Как ошибалась!

Через пару дней они втроем отправились в театр. Втроем – Искандер и Огаревы. Мальвиду никто и не вздумал пригласить, а ведь все эти годы она ходила в театр с Искандером. Они сидели в ложе, соприкасаясь плечами и дыханием, они вместе плакали и смеялись, а после спектакля обсуждали пьесу и игру актеров, живо и заинтересованно, как обсуждают только близкие люди. Тогда они были семьей, а теперь она стала гувернанткой – просто смех, гувернантка без жалованья, подрабатывающая на стороне уроками музыки! Кто же приглашает гувернантку в театр?

Когда дети уснули, Мальвида вышла из дома на безлюдную улицу, ей хотелось пройтись быстрым шагом, как она ходила раньше, когда была одинока. Она даже улыбнулась этой мысли сквозь слезы – теперь она опять одинока, пора возвращаться к старым привычкам. Пахло молодыми листьями, которые готовились вот-вот вылупиться из почек, – кончался май, и деревья начали просыпаться после долгой английской зимы.

Мальвида завернула за угол и почти столкнулась с отъезжающим с остановки omnibusом. Навстречу ей нетвердым шагом брел от остановки смутно очерченный в полутьме мужской силуэт. Когда он приблизился, она неожиданно разглядела знакомое долгополое пальто с пелериной – Огарев!

“Почему вы здесь, Николай Платонович? А не в театре?”

Огарева качнуло к ней, и на нее пахнуло острым запахом спиртного перегара: “А я ушел! Встал и ушел! И оставил их одних! Что мне с ними делать, если я третий лишний? Я ее повадки хорошо изучил – она руку ему в карман сунула и стала его сквозь карман лапать. Знаю я, как она лапает, она в этом деле мастерица. Она и меня когда-то так залапала. И при этом поет про революцию. Я когда-то ей поверил и даже



написал: “Я счастлив, что есть женщина, которая с наслаждением умрет со мной на баррикаде!” А теперь она опять готова умереть с наслаждением, но не со мной, а с ним!”

И тут к ужасу Мальвиды он заплакал. Она тоже готова была заплакать: хоть она поняла не все сказанные Огаревым слова, общий смысл их был ей ясен, – хищница победила ее и пора покидать этот милый ей дом, этих дорогих ее сердцу детей. Боже, куда ей теперь податься? У нее нет ни пристанища, ни денег – ее скудных музыкальных заработков не хватит даже на оплату крохотной комнатухи.

“Пойдемте, Николай Платонович, я отведу вас домой”.

“Куда – домой? Нет у меня никакого дома!”

“Все-таки пойдем. Вам надо прилечь”.

Она повела его за руку, как ребенка, и он пошел за ней послушно, как ребенок. Хотя дорога была недлинная, пройти ее было нелегко – Огарев то и дело спотыкался и наваливался на ее плечо, чтобы не упасть. Все-таки она не выдержала и полюбопытствовала:

“Что же вы намерены делать? Вызвать Герцена на дуэль?” – Пришлось по-французски, по-русски было для нее слишком сложно, да и в голове мутилось от услышанного.

“Что эта немецкая фройляйн придумала! Чтобы я, я! вызвал Герцена на дуэль! – он тоже перешел на французский. – Да мы с ним в юности клятву на крови дали быть братьями до гробовой доски. Какая же тут может быть дуэль?”

“Но ведь он на ваших глазах... с вашей женой... как можно?”

“Да ведь я давно знаю, что она меня не любит. Она и не скрывает этого, считает меня размазней. За то, что я все свое огромное состояние разбазарил на добрые дела, крепостных без выкупа отпустил на свободу, а сам остался гол как сокол. За что ж ей меня любить, скажи, фройляйн? Ведь она молодая, ей жить хочется, а какая со мной жизнь?”

Тут он опять заплакал, но они, к счастью, уже дошли. Мальвида попросила отворившую им дверь хозяйку проводить Огарева в его комнаты, сославшись на то, что тот плохо себя чувствует. Хозяйка поморщилась от его жгучего спиртного дыхания, но ничего не сказав, повела его наверх, а

Мальвида нетвердым шагом поплелась обратно – куда? Не домой ведь! У нее уже не было дома, не было гнезда, не было семьи, не было детей. И никогда больше не будет.

Дойдя до своих ворот, она, как слепая, долго тыкала ключом в замок, никак не попадая. А когда, наконец, попала, отворила дверь и замерла на пороге. Было просто невозможно подняться в свою спальню и лечь в постель, все это стало совсем чужим. Как будто не было этих счастливых мирных лет, уроков, совместных завтраков и обедов, тихих вечерних бесед и Оленькиных теплых ручек вокруг ее шеи. При мысли об Оленьке стало так тошно, что Мальвиду вырвало прямо у входа – слава Богу, она умудрилась отвернуться от двери и не обрызгать коврик для ног.

Она прошла в сад и села на скамейку под деревом. Сидеть было холодно, но не было никаких сил подняться и войти в свой бывший дом. Так бы она и сидела до рассвета, но ее согнал с места приближающийся цокот лошадиных копыт. “Они возвращаются”, – пронеслось молнией в мозгу, и она в ужасе вскочила со скамейки. Недоставало только столкнуться с ними нос к носу!

Бегом поднявшись к себе, она, не снимая пальто, упала на кровать. Оглушительно прогремел стук дверцы подъехавшего кеба, его заглушил воркующий смех Натали.

“Т-с-с! – прошипел Герцен. – Детей разбудишь!”

“Да их и из пушек не разбудить. В детстве спят так крепко. Или ты не о детях волнуешься?”

Она внезапно замолчала и Мальвида ясно представила себе, как Искандер заткнул ей рот поцелуем. Она натянула на голову одеяло, чтобы не слушать, как они поднимаются по лестнице в спальню Искандера и ложатся на ту самую кровать, на ту самую кровать. Она заткнула уши, чтобы ничего не слышать, но что надо было заткнуть, чтобы не представлять, не видеть мысленным взором?

Но как ни удивительно, она вдруг отключилась, провалилась в небытие, упала в черную пропасть беспомысленности. И очнулась только тогда, когда ступеньки лестницы заскрипели под каблуками Натали. “Ты уходишь?” – спросил ей вслед сонный голос Искандера.

“Приличия требуют, чтобы я встретила утро в доме своего мужа. Но от тебя зависит сделать свой дом нашим. Для того мы и приехали в такую даль”.

“Я провожу тебя”, – отозвался Искандер и зашаркал по лестнице вниз. Когда за ними закрылась входная дверь, Мальвида, как была, в пальто, вышла из своей спальни и села на ступеньки дожидаться Искандера. Чтобы не умереть, она должна была поговорить с ним безотлагательно, прямо сейчас, с пылу с жару.

Он вернулся быстро, до дома Огаревых было рукой подать, и резко побледнел, увидев Мальvidу, сидящую на верхней ступеньке лестницы. “Что ты здесь делаешь? – спросил он. – Кого ты караулишь? Меня?”

Мальвида спросила прямо: “Скажи мне правду – ты хочешь, чтобы я устранилась, ушла из твоей жизни?”

И Искандер струсил, как каждый мужчина перед решительным шагом: “Поступи так, как тебе подскажет твое сердце”.

Сердце подсказывало ей упасть на колени, прижаться лицом к любимым рукам, которые совсем недавно ласкали ее, и взмолиться: “Пожалей меня! Не прогоняй, позволь остаться тут, в родном доме. И детей пожалей! Пожалей детей!”

Но она даже и виду не показала, она встала со ступеньки, оказавшись таким образом на голову выше его, и, еле шевеля губами, сказала ему в макушку: “Так я и сделаю”. И прошла к себе в спальню твердым для видимости шагом, удивляясь, как она не падает на отполированные доски пола, который вздымался ей навстречу, как палуба корабля в бурю.

К рассвету она уже упаковала в дорожный кофр свои вещи – их, по счастью, было немного – несколько платьев, три пары башмаков и нижнее белье, все остальное принадлежало не ей, а дому, который она покидала. Все, кроме книг, их было много, их она унести не могла и оставила записку с просьбой переслать ей книги в дом ее давней приятельницы мадам Швабе.

Чтобы не вызвать подозрений, она, как обычно, умыла утром детей и привела их на завтрак. Дети чинно сидели за

столом и Искандер, не поднимая на нее глаз, рассказывал им о вчерашнем театральном спектакле. Наивная Оленька спросила Мальвиду: "Ты тоже была вчера в театре?", на что Мальвида деланно засмеялась:

"Как я могла пойти в театр? Разве ты не помнишь, как я вчера вечером поцеловала тебя перед сном?" И с ужасом подумав, что сегодня она уже не сможет поцеловать Оленьку перед сном, до боли прикусила губу, чтобы не расплакаться.

После завтрака она пожаловалась на головную боль и попросила Искандера пойти вместо нее с детьми в Британский музей, она еще на прошлой неделе им обещала. Он, несмотря на страшную занятость, немедленно согласился, явно готовый угодить ей хоть чем-нибудь. Пока дети шумно собирались, примчалась Тучкова, одна, без Огарева – тот обычно поздно спал из-за ночной бессонницы – и охотно приняла приглашение Искандера пойти в музей вместе со всеми.

"А вы разве не пойдете с нами?" – спросила она, почти кротко, глядя на Мальвиду наглыми глазами победительницы. Мальвида задохнулась от этой наглости, пробормотала что-то бессвязное и, невежливо развернувшись, ушла к себе. Ей почудилось, что торжествующая Тучкова хохотнула ей вслед. Как трудно, как больно сносить это в доме, который еще вчера она считала своим родным гнездом!

Дождавшись, пока смолкнет шум веселой толпы, отъезжающей в кебе, она окинула прощальным взглядом родную спальню, в одночасье ставшую чужой, и вдруг осела прямо на пол, словно ее парализовало. Ей скоро сорок, она и в молодости была собой нехороша, а сейчас и того хуже. Куда она пойдет? Кому она нужна? Кто ее ждет? Стоит ли жить дальше?

Соблазнительная мыслишка выскользнула откуда-то сбоку и начала разрастаться, принимая четкую форму реальности. Первым ее элементом стал прочно вмонтированный в стену крюк, – один из двух, на которых была прочно подвешена штора. Другим – хорошая бельевая веревка, за которой нужно было просто сходить вниз, в кладовку. А дальше оставалось только сделать из веревки петлю, про-

пустить веревку через крюк, влезть на стул, надеть петлю на шею и с силой вытолкнуть стул из-под ног. Как заманчиво – несколько мучительных мгновений и всем мукам конец!

Она представила себе их лица, когда они войдут в ее спальню, и вдруг увидела испуганные глаза Оленьки – она, небось, первая вбежит к ней, чтобы поделиться своими впечатлениями о музее. Она представила себе, как любимые золотистые глаза расширяются от ужаса, как в вопле распаивается любимый маленький ротик. И тут же отказалась от своей заманчивой идеи – не могла она причинить Оленьке такую боль! Значит, пора уходить.

Она надела на плечи лямки котомки и попросила Франсуа снести вниз ее кофр. Франсуа сразу сообразил, что она их покидает, и не очень удивился – слуги обычно отлично знают тайные подробности жизни своих господ. Не удивился, но огорчился. Он схватил Мальвиду за рукав и взмолился: “Не уходите! Это принесет беду нашему дому!”

Мальвида ответила, глотая слезы: “Я бы рада остаться, но не могу. Вы же знаете, что не могу”. Франсуа помог ей донести кофр до остановки омнибуса, всю дорогу повторяя: “Зачем вы уходите? Это принесет беду нашему дому!” Когда омнибус подъехал, Мальвида поцеловала морщинистую щеку Франсуа и утешила его на прощанье: “Не огорчайтесь! Я надеюсь, все обойдется!” Но он крикнул ей вслед: “Нет, не надейтесь! Ни за что не обойдется!”

## МАРТИНА

На этом повествование о Мальвиде, и до того невразумительное, обрывается начисто. Куда ушла Мальвида? На какие деньги жила? Как перенесла разлуку со всем, что было ей дорого?

Выйти на ее след можно было только имея навык кропотливой научной работы. Я перечитала наново “Былое и думы”, в оригинале, по-русски, а не по-немецки в переводе Мальвиды, познакомившем Германию с Александром Герценом. Честь ей и хвала – не так уж он был знаменит, чтоб его стали переводить на немецкий, если бы не ее добро-

вольный вклад в это дело. Хотя о самой Мальвиге в мемуарах нет ни слова, перевод сделан надежно и любовно. Трудно представить, сколько лет было потрачено на такой тщательный перевод – Герцен писал свои мемуары много лет, с 1854 года почти до самой смерти в 1870, а Мальвиге все переводила и переводила. Значит, они встречались. Ну, конечно, встречались – ведь Мальвиге каким-то чудесным образом навсегда завладела младшей дочерью Герцена, Ольгой, которую любила беззаветной материнской любовью.

Нигде нет упоминаний о том, как это произошло.

Пришлось обратиться к воспоминаниям Тучковой, которая выдала свою версию происшедшего, но только про бегство Мальвиге из дома Герцена:

“В то время мы уже жили в доме Герцена; вот как это случилось. Огарев и Герцен пошли однажды вместе в город, я была одна на своей квартире. Вдруг является старая горничная Герцена, с его детьми. Старшая из них, Наташа, с веселым лицом бросилась ко мне на шею и говорит: “Она уехала и все вещи взяла”. Я ничего не понимала и пошла с ними к ним домой, нам встретился их брат Александр. Он шел взволнованный, поднял маленькую Ольгу и поцеловал ее, глаза его были полны слез.

– Зачем это? Зачем это? – говорил он.

Герцен был очень рассержен этой чисто немецкой выходкой.

— Можно было объясниться, обдумать,— говорил он.

Идти к ней и просить ее возвратиться он ни за что не хотел”.

Возможно, Тучкова не знала, что он уже все обдумал и они объяснились, и что на прямой вопрос Мальвиге он ответил уклончиво: “Поступи так, как тебе подскажет твое сердце”. Но Тучкова наверняка знала, как они с Огаревым наступали на него и требовали избавиться от Мальвиге. Я разыскала письмо Огарева: “Мы хотим составить семью, но тут является чуждый элемент. ... Да разве мы ее составим в присутствии разъединяющего начала?”

Как Герцен мог просить Мальвиге возвратиться после своего хитрого совета поступить так, как ей подскажет

сердце? Конечно, он стыдился посмотреть ей в глаза – ведь он ее просто-напросто выгнал. Но как он, такой щедрый и благородный, благодетель всей лондонской эмигрантской общины, мог бесцеремонно выставить из дому женщину, которая спасла его семью от полного крушения? Как он мог выставить ее из дому после почти трехлетнего бескорыстного служения ему и его детям? Зная, что у нее нет ни кола ни двора, ни гроша за душой?

На этот вопрос я не нашла ответа в литературе, но нашла в своем жизненном опыте. Ведь это современная выдумка, будто секса раньше не было и появился он только после сексуальной революции. А на самом деле, все было как сейчас, только говорить об этом было не принято. Не то, чтобы кто-нибудь верил, будто детей приносит аист, но полагалось притворяться, что взрослые люди в эту сказку верят. И тогда загадка решается просто – бедный Герцен, уже четыре года как овдовевший и тоскующий по любви, банально потерял голову от неприкрытой эротической атаки наглой молодой бабенки, которая не стеснялась шла к своей цели. Как сказал Огарев, она его залапала, и он забыл о благородстве и благодарности. Кто из нас грешных сегодня бросит в него камень?

Даже сама Мальвида камень в него не бросила. Через пару месяцев он написал одной своей приятельнице: “История нашей разлуки с Мейзенбуг окончилась хорошо – ее благородный характер взял верх”. Причем, даже не близкой приятельнице, а одной из многочисленных корреспонденток, из писем к которым многое можно узнать.

Жизнь грамотных людей 19 века действительно можно изучать по их переписке. Кому и о чем тогда ни писали? Все всем – детям и родителям, сестрам и братьям, приятелям и приятельницам, друзьям и коллегам, зачастую живущим в том же городе и даже в том же доме. А ведь никаких пишущих машинок еще не было, писали от руки, покрывали бесконечные страницы бесконечными рядами бесконечных строк. Откуда у них бралось время? Вагнер написал несколько томов длинейших писем, ежедневная переписка Фрейда и Юнга за шесть лет их дружбы заняла два толстых

тома, причем это были не короткие записки, а подробные изложения дневных переживаний и ночных снов, и толкование этих переживаний и снов.

Когда семидесятилетняя Мальвида взяла под свое крыло юного Ромена Роллана, он приходил к ней почти каждый день и они говорили часами, а когда он уходил, она догоняла ему в письмах все то, чего не успела сказать. Ритм жизни, что ли, был другой – ведь и тогда в сутках было всего двадцать четыре часа?

Но я так и не нашла писем о том, как случилось, что через два с лишним года после разрыва с домом Герцена Мальвида увезла восьмилетнюю Ольгу Герцен в Париж и уже никогда не вернула ее отцу. Есть только обрывки напряженной переписки:

Герцен: “Вы никогда не собирались – я уверен в этом – взять на себя роль Немезиды по отношению ко мне”.

Мальвида: “Спасибо, если вы не верите в то, что я хочу явиться орудием Немезиды; было даже время, когда вы предполагали во мне намерение быть орудием примирения, это было ближе к истине. Но, любезный друг, вы сами являетесь своей Немезидой”.

Кое-какой свет на подтекст этой переписки проливают события в доме Герцена: за эти два года Тучкова родила от Герцена дочь Лизу, но его отцовство приходилось скрывать от всех, особенно от детей. Общеизвестным отцом Лизы и мужем Тучковой по-прежнему считался Огарев. Итальянец Франсуа оказался прав: такие отношения не способствовали миру в семье, в дом пришла беда. Он превратился в дом разбитых сердец с подзаголовком “драма в русском стиле”. И по всей вероятности Герцен вынужден был обратиться к Мальвиде с просьбой взять к себе безысходно тоскующую по ней маленькую Ольгу, которую Тучкова ненавидела слепой ненавистью ревнивой мачехи.

К тому времени Мальвида переехала в небольшой городок Истбурн – морской курорт на южном побережье Англии. Нигде не сказано, зачем и почему она туда уехала, но можно предположить, что она нашла там какую-то работу. И, конечно, убежала от невыносимых воспоминаний об утерянном рае.



## МАЛЬВИДА

Жить в Истбурне было намного приятней, чем в сумрачном туманном Лондоне. Если бы Мальвида вообще хотела жить, она нашла бы там много прелестей и преимуществ. Нежное серо-голубое море прямо под окном, снежно-белые меловые скалы, вздымающиеся ввысь над крышами домов, не такие уж редкие неяркие солнечные дни.

Но жить не хотелось, то и дело возникал вопрос – зачем? Краткие письма приятелей сообщали ей отрывочные сведения о житье-бытье в доме Герцена. Огаревы переехали туда сразу же после ее ухода, но, соблюдая общепринятый декорум, не афишировали семейную рокировку – замену одного короля при королеве другим. Знал об этом только повар Франсуа: слуги всегда первые замечают секретные перестановки в семье господ.

Мальвида не спешила домой, если можно назвать домом убогую комнатку под лестницей, которую отвели ей хозяева курортного отеля, где она служила регистраторшей и переводчицей. К счастью для нее, маленький Истбурн охотно посещали немцы, французы и бельгийцы, а высокомерные англичане не хотели марать свои благородные рты чужими наречиями.

Она медленно шла по набережной, пытаясь опять научиться радоваться простым мелочам – шелесту деревьев, свежему морскому бризу, кудрявым седым барашкам волн на прибрежном песке. Но радость не приходила, на душе было пусто, весь горизонт был плотно заполнен черным облаком печали. Вдруг сердце ее дрогнуло и закатилось куда-то вбок, то ли от страха, то ли от восторга. Ей показалось, что навстречу ей по ведущей к отелю аллее движется знакомый, абсолютно неуместный здесь, в Истбурне, силуэт – неужто Искандер? Не может быть!

Она невольно ускорила шаг, но силой воли сдержала себя и остановилась. Не надо обманывать себя в который раз. Ведь ее уже не однажды подводило желание его увидеть. Она бросалась навстречу знакомому образу, чтобы тут же понять свою ошибку. Это было слишком больно, разочаро-

вание наполняло ее душу таким отчаянием, которое не стоило переживать снова.

Однако на этот раз приближающийся силуэт все больше и больше походил на Искандера. Все больше и больше, все ближе и ближе...

“Мали, наконец-то! Я уже потерял надежду тебя дождаться!”

Он назвал ее Мали, или ей показалось? Этим именем он называл ее только в ночной тишине их тайных объятий. Она не удержалась на ногах и безвольно опустилась на одну из скамеек, щедро рассыпанных по прибрежному бульвару. Он сел рядом с ней и положил руку ей на колено. Ей почудилось, что она сейчас потеряет сознание. Закроет глаза и покатится в бездну. Но – нет, она опять пересилила себя, отшатнулась от края бездны и спросила:

“Чего тебе надо, Искандер? Зачем ты приехал?”

“Ты мне не рада?”

И это после всего, что случилось?

“Я спрашиваю, зачем ты приехал?”

Лицо его исказилось, и он заговорил бессвязно, захлебываясь словами:

“Я больше не могу выносить этот бред, этот ужас, этот содом в моем доме. Нам с Натали приходится скрывать свои отношения от всех, особенно от детей. Дети и так ненавидят Натали. Но хуже всего Огарев. Он-то в курсе. И очень тяжело это переживает, тем более, что понимает, что она не может с ним больше жить. Он каждый вечер запирается у себя в комнате и спускается вниз только к обеду. На него смотреть страшно – глаза запухшие, лицо отечное. Мы подозреваем, что он каждый вечер напивается до беспамятства. А вчера с ним случился приступ, ты же знаешь, у него падучая, поэтому она с ним жить не может. Он упал, спускаясь с лестницы, ударился головой о ступеньку, глаза закатились, язык вывалился. Мне пришлось на него навалиться и держать его челюсть, чтобы он не прикусил язык. Бедная Оленька так испугалась, так испугалась – она первая выбежала из столовой, когда он упал. Она и так сама не своя, ведь Натали ее терпеть не может. И ничего сделать нельзя, потому что На-

тали беременна, уже пятый месяц. И никто не знает, что от меня, представляешь? Надо все время притворяться, делать вид, что я ни при чем. Беременность тяжелая, ее все время рвет, она бьет посуду и кричит на детей, особенно на Оленьку”.

Тут он заплакал, совсем как в светлые, давно ушедшие дни, когда они разговаривали часами о самом заповедном. Неужели можно вернуть эту нежность, эту задушевность?

“Мне так не хватает тебя, Мали, так не хватает, – повторил он, не утирая слез. – И Оленьке тоже, она все ночи зовет тебя во сне”.

## **МАРТИНА**

Насчет поплакать, Искандер всегда был мастак. Он с младых ногтей понял, что плачущий мужчина может получить от женщины все, что хочет.

## **МАЛЬВИДА**

Прохожие уже начали на них оборачиваться – чопорные жители туманного Альбиона не способны были понять, как взрослый мужчина в котелке может плакать у всех на виду.

“Пойдем отсюда, Искандер. На нас уже оборачиваются”.

По дороге он спросил, не может ли она угостить его чаем. Она неловко поежилась – никакого устройства для приготовления чая в ее комнатухе не было, а просить хоть о чем-нибудь хозяев отеля она бы не осмелилась. Но пока они дошли, он уже забыл про чай и снова окунулся в перечисление своих домашних бед.

“Самое страшное, что Натали не ладит с детьми. И ни за что не хочет это признать, все повторяет, что обещала покойной Наташе заменить им мать. Но мать из нее никакая, а дети, не сговариваясь, ее травят – ты же знаешь, на какие проказы они способны. Так что в доме у нас теперь кавардак похуже того, который был там, когда ты к нам переехала”.

“Ну так отсели своих Огаревых на отдельную квартиру, как было при мне. Почему они должны жить у тебя?”

“Ну как ты не понимаешь? При моих отношениях с Натали мы должны жить в одном доме, чтобы сохранить их в тайне”.

“А тебе так важны эти отношения?” – невольно вырвалось у Мальвиды. И она тут же об этом пожалела.

“Я обязан, просто обязан их продолжать. Положение Натали трагично, она так ошиблась в Коле. Он не смог ей дать ничего – ни любви, ни ласки, ни семейного уюта. Она приехала сюда в таком отчаянии, она была близка к самоубийству. И я должен был ее спасти, – ведь Коля мне больше, чем брат”.

Интересный поворот – он, оказывается, спасает Тучкову исключительно ради дружбы с Колей! Интересно, что думает об этом Коля? Слушать этот бред было мучительно. И Мальвида опять спросила, с трудом скрывая раздражение: “А от меня чего ты хочешь?”

Искандер не решился посмотреть ей в глаза: “Я хочу, чтобы ты взяла к себе Оленьку”.

“Куда? Сюда?”

Искандер обвел глазами ее жалкую полутемную комнатку, словно впервые ее увидел.

“А ничего лучше ты найти не можешь?”

“На мое ничтожное жалование?”

Услышав про жалование, он уставился на нее будто громом пораженный. Он, баловень судьбы, никогда не получал жалования и никогда не работал для заработка. Конечно он теоретически знал, что на свете есть люди, едва сводящие концы с концами, но не мог даже представить, что к ним относится его верная соратница Мали.

“Если все дело в деньгах...” – начал он.

“Оставь! – резко перебила она. – Ты прекрасно знаешь мои принципы. Я никогда не возьму у тебя деньги!”

“Идеалистка, как всегда! Готова погубить ребенка во имя своих принципов!”

“Почему погубить? Что Оленьке угрожает? Она живет в родном доме!”

“Ах, Мали, Мали! У меня язык не поворачивается рассказать тебе обо всем, что там происходит! Я ведь уже говорил, что Натали беременна и очень раздражена. Позавчера она

влепила Оленьке оплеуху и Оленька перестала есть. Вот уже двое суток как при виде пищи у нее начинается рвота”.

У Мальвиды свет померк и поплыл перед глазами. Это она, она во всем виновата, она покинула Оленьку, отдала ее на расправу этой стерве, которая жаждет ее погубить!

“Что же делать? Как я могу помочь? – беспомощно прошептала она. – Ведь я целый день сижу за конторкой и учу тупых иностранцев, как выполнять жесткие британские правила”.

“Но ты хочешь взять Оленьку к себе?”

Хочет ли она взять Оленьку к себе? Да она об этом и мечтать не смела. Больше всего на свете!

“Ты можешь не брать денег у меня. Я назначу Оленьке стипендию и вы будете на эту стипендию жить вдвоем. Согласна?”

Мальвида молчала, страдая за себя и за Оленьку и не зная, соглашаться или нет.

“Что ты молчишь? Ведь ты всегда жаждала забрать ее у меня. И она все время зовет тебя, даже во сне”.

Мальвида мысленным взором увидела Оленьку – глазки распухли от слез, рот и щека измазаны рвотной слизью. Выбора не было.

“Ладно, я согласна на стипендию. Но при условии, что об этом никто никогда не узнает”.

Искандер не мог скрыть свою радость: “Спасибо! Я знал, что только ты можешь меня спасти! – Он вскочил и начал торопливо натягивать пальто. – Оленьку нужно срочно увезти из нашего дома. Побегали!”

“Куда?”

Он на минуту задумался.

“Значит так. Сейчас мы пойдем в самый дорогой отель и снимем там семейный номер. А завтра утром горничная привезет туда Оленьку и поможет тебе на первых порах, пока ты уладишь отношения со своими хозяевами”.

И ринулся к двери.

“Ты уже уходишь?”

“Мали, я должен поскорей вернуться домой. Не дай Бог Натали узнает о моем визите к тебе. Ведь она во всех раздорах с детьми винит тебя. Ты ее главный враг”.

“А она мой”, – стыдясь самой себя, подумала Мальвида. Она не привыкла называть человека своим врагом, это было против ее принципов. Но в этой истории все было против ее принципов. Зато в ее пользу. Она никогда никому не признается, что пожертвовала принципами ради пользы. Никому и никогда!

Ее слегка покачивало – трудно было понять и поверить, что ее печальная судьба переменялась в один миг. Могла ли она, некрасивая и неудачливая, надеяться, что с этого дня у нее будет родная дочь? Ее любимая, ненаглядная Оленька!

Они шли очень быстро, почти бежали. Искандер шагал размашисто, она едва за ним поспевала и едва ухватывала его бессвязную торопливую речь:

“Ты не бойся. Я не закабалу тебя надолго. Как только Натали родит и придет в себя, ты отдашь мне Оленьку и будешь свободна”.

Она не ответила, она знала, что не отдаст ему Оленьку никогда.

## МАРТИНА

Господи, куда меня занесло? Ведь я собиралась писать о Лу Саломе, а забрела в 1858 год, откуда даже дня рождения Лу надо ждать еще целых три года! Спрашивается, на кой сдалась мне эта Мальвида с ее Герценом и Огаревым? Всего-то занимательного в ней на первый взгляд это год ее рождения версус года рождения Лу – 1816 версус 1861.

И все-таки я недаром углубилась в ее душевную драму – присмотревшись, я увидела, что она версус Лу не только по году рождения. Если по списку романов Лу можно изучать культурную историю Европы, то по списку гениев, открытых Мальвидой за ее долгую жизнь, можно изучать культурную историю Европы под другим углом. Если неведомая покоряющая сила была дарована Лу Богом, в которого она не верила, то дар провидения, похоже, дан был Мальвиде тем же Богом, в которого она тоже не верила.

Начала я с того, что Мальвида свела Лу с Фридрихом Ницше, превратив его жизнь в бесконечную драму великой

неразделенной любви. Но от 1858 года до этой роковой встречи тянется щедрая полоса истории девятнадцатого века, на которой возникали и рушились государства, совершались научные открытия, строились философские системы и создавались великие художественные произведения. И вокруг этих двух женщин, столь непохожих, столь полярно противоположных, сплетались, пересекались и разбегались судьбы зодчих этой истории.

Я особенно укрепилась в правильности своей идеи параллельного описания Мальвиды и Лу, когда неожиданно для себя обнаружила, что в 1901 году Мальвида фон Мейзенбург была номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Я не сумела выяснить, кто ее представил, но подозреваю, что это был Ромен Роллан, который написал: “Я смог сохранить непоколебимую веру в любовь и презрение к ненависти благодаря влиянию моей мамы и великой женщины Европы, чистой идеалистки Мальвиды фон Мейзенбург, чья светлая старость была подругой моей юности. Она прожила всю жизнь рядом с героями и чудовищами духа, с их тревогами и падениями; все они открывались ей, все любили ее, – и ничто не затемнило ясности ее мыслей”.

Фу-ф, я надеюсь, что на этой точке я покончила с патетическими речами! Хотя мне хочется по секрету признаться, что у меня на примете есть еще одна навечно связанная с Лу женщина, которая, оставаясь в тени великого имени, сыграла роковую роль в мировой истории. Имя этой женщины – Элизабет Ницше.

## **МАЛЬВИДА**

Мальвида внезапно поняла, что теперь, когда Ольга с нею, она должна срочно бежать из Англии, пока Натали не затребовала девочку обратно в Лондон. Что Натали затребуется Ольгу обратно, она не сомневалась – не из любви к Ольге, и даже не из любви к Искандеру, а просто из ревности к ней, Мальвиде. Поразительно – никто не знал о ее интимных отношениях с Искандером, но женское чутье Натали мгновенно прозрело правду. Недаром с первого взгляда в

глаза Натали Мальвида почувствовала, что ее коснулась ледяная рука судьбы.

Но как получить разрешение Искандера на отъезд Ольги? И куда бежать? Германия для Мальвиды закрыта – над ней все еще висит приказ об аресте, отданный в годы революции. Пожалуй, лучше всего начать с Парижа, тем более, что французы еще не отменили приказ об аресте Герцена, – значит там она будет недоступна для Натали. А дальше будет видно.

## МАРТИНА

Мальвида написала Искандеру, что срочно должна покинуть Англию: здоровье не позволяет ей пережить еще одну английскую зиму. Как же быть с Ольгой, можно взять ее с собой? Искандер откликнулся быстро и охотно – можно, можно, и чем скорее, тем лучше. Похоже, он тоже опасался вторжения Натали в его хитрую сделку с Мальвидой. Мальвида поспешно собрала вещи и через две недели прибыла с Ольгой в Париж.

Жизнь в Париже давалась Мальвиде нелегко. В маленькой квартирке под крышей летом было нестерпимо жарко, а зимой и осенью пронзительно сыро. Хоть и не так пронзительно, как в немилой ее сердцу Англии, но все же достаточно сыро, чтобы истязать маленькую Ольгу мучительными приступами кашля. Оказалось, что кашель у Ольги начался вскоре после ухода Мальвиды из герценовского дома, но там никому не было до нее дела, все были слишком поглощены собственными драмами.

Однако даже не кашель Ольги стал главным бичом их парижского житья-бытья, а ее неотступный страх, что Мальвида может опять неожиданно исчезнуть из ее жизни. В Истбурне у них была одна большая комната в отеле, и Ольга спала в кроватке, пристроенной рядом с кроватью Мальвиды. Перед сном она вцеплялась ручкой за палец Мальвиды, опасаясь, что та может от нее убежать. А в Париже у Ольги была собственная спальня, и это создало новые проблемы.



Каждый вечер Мальвида читала Ольге перед сном, а когда девочка засыпала, осторожно высвобождала палец из ее хватки и тихонько выскальзывала из комнаты. Но это не помогало – каждую ночь Ольга просыпалась в страхе, что Мальвида ее покинула, и прибежала к ней в спальню в слезах, умоляя позволить ей спать в кровати Мальвиды. Но та не могла позволить такое безобразие – ей с детства внушили, что каждый независимый человек должен спать в своей постели. А она во что бы то ни стало хотела воспитать Ольгу независимым человеком и потому упорно уводила рыдающую девочку обратно в ее спальню.

## МАЛЬВИДА

Тоненький луч света проник сквозь плохо подогнанные жалюзи и разбудил Мальvidу раньше, чем было нужно. Еще не открыв глаза, она прислушалась к утренней тишине – так и есть, из под кровати доносилось равномерное дыхание спящего ребенка. Опять Ольга проползла среди ночи по коридору и заснула под мальвидиной кроватью. Убеждать ее и умолять не делать этого было бесполезно: она каждый раз рассказывала, какой страшный сон ей приснился. Всегда один и тот же: будто она вошла в спальню Мальвиды и обнаружила, что та исчезла, забрав с собой все свои вещи. Проснувшись в слезах, она каждый раз отправлялась проверить, приснился ли ей этот кошмар или Мальвида и вправду опять ее покинула.

Мальвида ясно осознавала свою вину. Ведь так однажды уже случилось, – раненая почти насмерть предательством Искандера, она забыла об Ольге и покинула ее безо всякого объяснения. И отдала ее беззащитную во власть Натальи Алексеевны. Терзаясь раскаянием, она снова поступила против собственных принципов – перенесла Ольгину кроватку в свою спальню. Но и этот беспринципный шаг не принес желаемого покоя – хоть Ольга и перестала полночи спать под кроватью, ее по-прежнему изводил надрывный кашель. Не помогало ничего – ни горячее молоко с медом, ни горькие капли от кашля.

К счастью, лондонская приятельница Мальвиды, вдова богатого коммерсанта, Ирен Швабе, приехала на зиму в Париж, где у нее был комфортабельный дом. Как-то, зайдя проведать Мальvidу, она услышала, как Ольга задыхается в очередном приступе кашля, и предложила Мальвиде переехать с девочкой в ее дом, словно созданный для счастливого детства. У богатой вдовы детей не было, и она рада была слышать в своем доме детский голос. Кроме того у нее были сердечные тайны и она обожала Мальvidу, с которой этими тайнами делилась.

Мальвида с Ольгой переехали в благополучный теплый дом, где всего было в достатке, где слуги готовили обед, мыли посуду и топили печи. Мальвида слегка страдала, что ей опять пришлось поступиться своими принципами – она всегда считала, что негоже жить приживалкой в чужом доме. Но что стоили принципы в сравнении со здоровьем Ольги? Ради Ольги Мальвида была готова на все, она никогда не расставалась с девочкой, она ее купала, лечила, учила, а главное – любила. И в ответ получала такую любовь, такой счастливый смех, такое сияние глаз, что любые принципы можно было забыть.

Как-то весной они с Ольгой пошли на прогулку в Люксембургский сад. По дороге они разговаривали только по-французски – Мальвида говорила по-французски с детства, а у девочки был отличный музыкальный слух, и она легко подхватила чужую речь. Ольга что-то весело щебетала, не замечая, что Мальвида вдруг остановилась, как вкопанная: она читала небольшое объявление, небрежно приколотое к забору. Оно сообщало, что через два дня в парижском оперном театре состоится первое представление оперы Рихарда Вагнера “Тангейзер”.

## **МАРТИНА**

Мальвида познакомилась с Вагнером в Лондоне, где несколько лет назад он исполнял свои фортепианные произведения. Выступление Вагнера было катастрофически провальным – как писали критики, “публика бежала из зала толпой”.

## МАЛЬВИДА

Мальвида хорошо запомнила свое первое впечатление от новоявленного молодого композитора. Она не надеялась услышать что-то особенное, она пришла на его концерт не ради музыки, а скорее из революционной солидарности – по слухам, Вагнер был одним из руководителей дрезденского восстания и был за это приговорен к долгому тюремному заключению, но умудрился бежать в Швейцарию и стал таким же изгнанником, как она.

Зал был наполовину пуст. Оркестранты настраивали инструменты, когда из-за кулис быстрым шагом вышел крошечный человечек, почти карлик, с огромной не по росту головой. Высоко взбитая рыжая челка надо лбом и горбатый клюв носа придавали ему вид опасной хищной птицы. Он поклонился залу и взял в руки дирижерскую палочку. Зрители, зажатые в клетках жестких кресел, вяло зааплодировали. Мальвида была знакома со многими из них – это были члены общины немецких эмигрантов. Они, по всей вероятности, тоже пришли на концерт из революционной солидарности. Дирижер объявил: “Увертюра к опере “Летучий Голландец”, рывком поднял палочку и грянула музыка. Именно грянула, а не полилась, не поплыла, не зажурчала. Мальвида, половину жизни посвятившая музыке, никогда не слышала ничего подобного этим раскатам грома, этим сверканиям молний, этим завываниям ветра. Казалось, буря заполняет все пространство, и вдруг над бурей взмыли два человеческих голоса – мужской и женский – они вознеслись ввысь и слились в страстной молитве.

Музыка Вагнера ничем не была похожа ни на нежные переливы Моцарта, ни на сладостные хитросплетения Баха. “Какофония!” – сердито буркнул сосед Мальвиды, с трудом высвободился из объятий кресла и, демонстративно громко топая, выскочил из зала. За ним последовали другие, не все, но многие – простить такое нарушение священной немецкой музыкальной традиции не могла позволить им даже революционная солидарность. Но Мальвида не заметила ни щелканья кресел, ни наглого топота, ни хлопанья дверей. С

первого же аккорда ее охватил какой-то неземной восторг – она услышала музыку сфер. За увертюрой к опере “Летучий Голландец” последовала увертюра к опере “Тангейзер”, тоже прекрасная и впечатляющая. Мальвида очнулась только когда оркестр смолк, и маленький человечек вышел к рампе кланяться почти пустому залу. При каждом поклоне его огромная хищная голова склонялась так низко, что казалось, будто она вот-вот перевесит щуплое тело и оно в отчаянии рухнет вниз, на мраморные плиты пола.

После нескольких жидких хлопков дожившая до конца концерта публика потянулась к выходу, Вагнер повернулся было уйти со сцены, как вдруг заметил очарованный взгляд Мальвиды, все еще стоящей в оцепенении, не в силах прийти в себя после пережитого взрыва эмоций. Их глаза встретились на миг, его глаза были полны слез, ее тоже. Неожиданно для себя она сказала: “Не огорчайтесь, Рихард Вагнер. Вы – гений, а простым людям непросто сразу распознать гения!” И поспешно вышла из зала, даже не услышав брошенного ей вслед вопроса: “Кто вы?”

На следующий вечер она опять попросила Искандера уложить детей, поцеловала Оленьку, которая ни за что не хотела ее отпускать, и поехала к своим друзьям Альтхаузам, устроившим прием в честь немецкого собрата по оружию. Вагнер узнал ее сразу, как только она вошла. Он подошел к ней и поцеловал ее руку: “Спасибо, незнакомка. Вы спасли меня от самоубийства”. Все было бы прекрасно, если бы после ужина не разгорелся спор о смысле жизни и пружинах человеческой деятельности. Мальвида убежденно доказывала, что человечество можно исправить с помощью образования и разъяснения. Вагнер же, покоренный учением Шопенгауэра, настаивал, что жизнь человека трагична, бессмысленна и неисправима. Он пришел в сильное раздражение и говорил резко и обидно. Он выкрикнул: “Вы утверждаете, фрейлин, что жизнь – это торжество духа, я же, напротив, считаю, что жизнь – это торжество брюха”. И тут же пожалел, что обидел женщину, только что спасшую его от самоубийства. Он опять поцеловал ей руку и прошептал: “Простите”.

Конечно, она его тут же простила – разве можно обижаться на гения? Это было пять лет назад и вот послезавтра будет премьера его оперы в Париже. Она непременно должна услышать эту оперу, но как быть с Ольгой? Она ни разу за все это время не оставляла ее вечером одну.

“Ты отпустишь меня послезавтра вечером в оперу?” – кротко попросила она.

“А тебе обязательно нужно туда идти?”

“Обязательно!”

“Тогда и я пойду с тобой”.

“Но это невозможно! Я боюсь, детей по вечерам в оперу не пускают”.

“Ты боишься, но ведь не уверена? Так давай попробуем!”

И они отправились в оперу вдвоем. Ольга принарядилась так, чтобы выглядеть хоть немножко старше своих десяти лет – она была девочка хорошенькая, высоконогая, смуглая, темноглазая, и в специально приобретенном для этого вечера лиловом платье вполне могла сойти за двенадцатилетнюю. Мальвида купила в кассе два билета и храбро повела Ольгу на контроль.

“Детям на вечерние спектакли вход запрещен”, – объявил хмурый капельдинер.

“Мосье, эта девочка лучшая ученица моей музыкальной школы, – зачистила Мальвида. – Сейчас мы с ней разучиваем фортепианную сонату Рихарда Вагнера и ей очень важно услышать его оперу”.

Ольга сделала книксен. “Пропустите меня, пожалуйста, мосье, – жалобно пропела она. – Я обожаю музыку господина Вагнера”.

Капельдинер перевел взгляд на тонкую шейку Ольги и смягчился: “Ты не будешь вскакивать, шуметь и мешать другим?”

“Что вы, мосье! Я ведь пришла слушать музыку!” Капельдинер поверил хорошенькой девочке и впустил ее в зал.

Но напрасно он опасался, что Ольга будет мешать другим слушать музыку. Оказалось, что другие решили помешать ей – десятки парижских молодых людей встретили революционную музыку Вагнера в штывы. Вскоре после начала оперы они

стали вскакивать с мест, орать, свистеть и громко хлопать сиденьями кресел. Шум поднялся такой, что не было слышно ни оркестра, ни певцов. И тогда Ольга нарушила свое обещание капельдинеру. Она вскочила на сиденье и закричала пронзительным детским голосом: “Вон отсюда, идиоты! Вы ничего не понимаете в музыке! Убирайтесь вон! Вон!”

В перерыве бледный Вагнер подошел к Мальвиде.

“Вы здесь? Видели мой очередной провал? И все еще верите в меня?”

“Верим!” – выкрикнула Ольга.

“Это ваша дочь?”

Мальвида не успела ответить, как Ольга пискнула: “Да!” и вцепилась в ее локоть. “Ты храбро меня защищала, девочка. Спасибо. – Он обернулся к Мальвиде. – Вы видите там, возле дверей, бледного мужчину в черном фраке, который неотрывно смотрит на меня? Видите, как надменно он улыбается? Это композитор Феликс Мендельсон. Он счастлив, что меня освистали”.

“Но Феликс Мендельсон умер пятнадцать лет назад”, – робко возразила Мальвида, не в силах разглядеть в беснующейся у дверей толпе бледного мужчину в черном фраке.

“Ну и что? Феликс Мендельсон способен встать из гроба, чтобы увидеть, как меня освистывают!” – сердито буркнул Вагнер.

Мальвида ахнула, Ольга завизжала от восторга. От ее визга Вагнер смягчился: “Не пугайтесь, милые дамы, я пошутил. И приходите завтра обе на обед, который дают в мою честь в парижской ратуше. Я приглашаю”.

## **МАРТИНА**

Так началась многолетняя дружба Мальвиды фон Мейзенбург с Рихардом Вагнером.

## **МАЛЬВИДА**

“Почему ты дрожишь, Мали?” – спросила Ольга, не отрывая глаз от книги.

“Я вовсе не дрожу. Просто из окна пахнуло ветром”.

“И листок у тебя в руке дрожит. Что там написано?”

Не успела Мальвида отстраниться, как Ольга ловким прыжком подскочила к ней и вырвала у нее листок. Она так вытянулась за этот год, так повзрослела!

“Папин почерк! Что такое он написал, что ты вся дрожишь?”

“Не смей читать чужие письма!”

“Я и не читаю! Я спрашиваю, что он написал”.

“Что император Наполеон Третий помиловал участников революции и позволил им вернуться во Францию”.

“Что в этом плохого, чтобы дрожать?”

“Ничего плохого. Просто ему теперь разрешено приехать в Париж”.

“Ага, значит, он приезжает в Париж. А зачем? За мной?”

“Ну почему за тобой? Просто с тобой повидаться”.

“Если бы просто повидаться, ты бы не дрожала”.

“Я и не дрожу!”

“Еще как дрожишь. И напрасно дрожишь, я туда не поеду. А если он захочет увезти меня силой, я по дороге утоплюсь в Ламанше!”

“К чему такие крайности?”

“Я к НЕЙ не поеду! Ясно?”

“Почему к ней? Она же не его жена. Ты поедешь к папе”.

“Ага, значит, я права – он хочет меня увезти! Так я и знала! Но я туда не поеду!”

“Почему? Это же твой родной дом!”

“Ты в этом доме не жила с тех пор, как оттуда сбежала. Вот и не знаешь – почему!”

Мальвида обняла узенькие ольгины плечики: “Ну вот, теперь ты тоже дрожишь. Стоит ли?”

“Не стоит! Но имей в виду – я туда, к ней, не поеду!”

## МАРТИНА

Интересно, откуда такая враждебность? Что эта Натали ей сделала? Ведь по утверждению Герцена, никто не подозревал, что Натали подживает с ним и от него рождает детей.

Я представляю, что характерец у нее был не сахар, особенно по отношению к Ольге, которая сразу встретила ее враждебно. Ведь Ольга была безумно привязана к Мальвиде, а дети очень чувствительны, им не нужны слова. Но что удивительно, это ее отчуждение от отца, который всю жизнь пытался завоевать ее любовь, но так и не сумел. У меня закрадывается вредная мыслишка – никем и ничем, кроме хронологии, не подтвержденная, – что отцом Ольги был Георг Гервег. По описанию Тучковой она была смуглая, кудрявая, темноглазая. В кого бы это в семейке Герцена? Я раскопала в интернете портрет красавчика Гервега: он и впрямь был смуглый, кудрявый, темноглазый. И роман Натальи Первой с ним протекал в 1849, а Ольга родилась в 1850. Может, это просто совпадение, а может и нет. Кто разберет, у кого от кого рождались дети в этом революционном гнезде. Возможно, они и сами не знали.

## МАЛЬВИДА

На вокзал они поехали вдвоем. Мальвида была не уверена, что стоит брать Ольгу с собой, она хотела поговорить с Искандером наедине, чтобы выяснить его планы до того, как он встретится с Ольгой. Но Ольга и слушать ее не стала: “Папа едет повидаться со мной, а не с тобой, ведь правда?” Это было обидно, но пришлось с ней согласиться.

Вообще в последнее время Ольга часто бывала права. Она стала очень самостоятельной, у нее прорезалось собственное мнение по разным вопросам и она страстно его защищала. В принципе Мальвида могла бы гордиться результатами своего воспитания – она получила трепещущий страхами комок нервов и превратила его в человека. Но именно сейчас это было некстати. Однако выбора не было и она взяла Ольгу на вокзал.

Выйдя из вагона, Искандер не сразу узнал дочь – перед ним стояла тоненькая высокая темноглазая девушка, ну, может, еще не совсем девушка, но уже не ребенок.

“Неужели это ты? – воскликнул он по-русски, пытаясь обнять дочь. – Я бы не узнал тебя на улице!”



“Что, не похожа на то несчастное забитое существо, которое ты привез Мали в Истбурн?” – дерзко ответила она по-французски, отстраняясь от его объятия. Мальвида вся сжалась, но промолчала.

Они наняли фиакр и покатали к дому Ирен Швабе. Самой Ирен в Париже не было, она уехала на несколько дней в одно из своих таинственных путешествий. То есть таинственных для всех, кроме Мальвиды, которая была душевной поверенной Ирен. И хранила вечное молчание.

“Она что, забыла русский язык, Мали?” – в ужасе спросил Искандер, когда они уселись на мягкие сидения фиакра.

“Мы редко говорим русски. Ты же знаешь, я не так очень... – смущенно начала Мальвида по-русски и сбилась на немецкий. – А Ольге нужно было срочно выучить французский, чтобы пойти в школу”.

“И все это для того, чтобы отдалить ее от меня?” – почти взвыл Искандер, но все-таки сдержался, взглянув на плотную спину извозчика.

“Я не виновата в ее отдалении”, – прошептала несчастная Мальвида.

“Ты прекрасно знаешь, кто виноват”, – отчеканила Ольга по-немецки.

“Да, она действительно повзрослела. Ну что ж, я рад, что привезу домой разумного человека, а не дикого зверька”.

“Я туда не вернусь”, – жалобно сказала Ольга по-русски и заплакала.

Мальвида сцепила зубы, чтобы скрыть слезы, а Герцен их даже не скрыл, они застлали ему глаза:

“Но девочка моя, Оленька моя, ведь я так хочу, чтобы ты вернулась под родительский кров...”

“При чем тут кровь? – не поняла Ольга и спросила Мальвиду по-французски – Что он сказал про кровь?”

Мальвида тоже не поняла слов Искандера – за эти годы она почти забыла русский. Искандер ужаснулся развершейся между ними пропасти и, наконец, позволил себе заплакать навзрыд.

## МАРТИНА

Удивительное совпадение – оба великих человека, ее главные друзья, Вагнер и Герцен, были большие любители поплакать навзрыд. Не совсем ясно, как это свойство связано с их общей способностью тайком неоднократно брюхатить жен своих лучших друзей, чтобы потом открыть изумленному миру, кто истинный отец детей. Впрочем, про шалости Вагнера выяснится позже, а сейчас не могу отказать себе в удовольствии процитировать письмо злополучного Огарева Ольге, написанное через несколько лет после поездки Герцена за нею в Париж.

ОГАРЕВ: 13 июня 1869 г., Я хочу сказать тебе, дорогая Ольга, что у меня на сердце. Я люблю и всегда любил твоего отца как родного брата, оттого и вас, его детей, всегда считал своими. Я любил твою мать как родную сестру, оттого и вас всегда любил как родных.

Я любил Лизу как собственного ребенка, так как она тоже дочь твоего отца и Natalie, которая мне как сестра. Вот о чем я хочу попросить тебя, моя добрая Ольга, — любить Лизу как родную сестру и стараться всегда оставаться единой семьей в память о твоём отце, обо мне, потому что не хотелось бы, чтобы нас когда-либо разделяли в вашей любви к нам...

Прощай, дитя мое, целую тебя, преданный тебе Ага (так Оленька произносила в детстве его имя – Агарев).

## МАЛЬВИДА

“Пора спать, Оленька. А не то опоздаешь завтра в школу”.

“Разве я пойду завтра в школу? Я думала, раз папа приехал, я могу в школу не идти”.

“Конечно, ты можешь вообще бросить школу, если ты собираешься с ним уехать”.

“Кто сказал, что я собираюсь уехать?”

“Что вы тут обсуждаете?” – спросил Герцен, входя в гостиную. Лицо у него было хмурое. Интересно, слышал он их разговор или нет? Как только Ольга вышла из комнаты, Мальвида поняла, что слышал.

“Почему ты настраиваешь ее против меня? – спросил он раздраженно. – Хочешь быть моей Немезидой?”

“Ты сам своя Немезида, Искандер. Зачем забирать девочку отсюда, где ей хорошо? И увозить туда, где она так страдала?”

“Потому что я хочу вернуть ее в семью. Это ненормально, что девочка, у которой есть семья, живет у тебя”.

Голос Мальвиды задрожал: “Ты считаешь свою семью с Натали и Агой нормальной? И полезной для воспитания хрупкой молодой души?”

“Ах, Мали, я просто с ума схожу, когда думаю, что собственными руками выпроводил свою дочь из родного дома! Я должен этот проступок исправить”.

“Ты берешь на себя слишком много долгов. А у тебя только один истинный долг – решить, кому ты должен больше, себе, Ольге или Натали? “

“Ты не представляешь, насколько Натали переменялась к лучшему с тех пор, как у нее родились дети! Она так погружена в них, что перестала переживать нашу нелепую ситуацию с Агой”.

“Не верю, люди не меняются. Да и обстоятельства не изменились – Ага по-прежнему живет с вами в одном доме. И все вы играете перед миром лживый спектакль, в котором дружная пара Огаревых заботится о печальном вдовце Герцене”.

“Ну конечно, как же иначе? Мы вынуждены играть этот спектакль, чтобы соблюсти внешний декорум”.

“А что думают дети?”

“Я надеюсь, дети ни о чем не подозревают”.

“Боюсь, что ты ошибаешься. У детей на такие дела нюх, как у собак”.

“Не пугай меня. От этой мысли у меня волосы встают дыбом на затылке”.

“Ладно, давай сейчас прекратим этот спор, утро вечера мудреннее. Лучше поговорим о твоих книгах. Я получила письмо от издателей”.

“От каких издателей?”

“Я вижу, семейные драмы заслонили от тебя всю остальную жизнь. От твоих гамбургских издателей “Гофман и Кампе”.

“А, да! Прости! Ты забываешь, что кроме семейных драм моя голова постоянно занята редактурой и публикацией “Колокола”! Почти все статьи в нем написаны мной. Однако я вспомнил: “Гофман и Кампе” издали твой перевод “Былого и дум” на немецкий, да? Чего же еще они хотят?”

“Они хотят получить продолжение твоих воспоминаний. Ты их пишешь?”

“Изредка, если вырвется время. Но оно вырывается редко. Ах, если бы ты знала, Мали, как я устал!”

“Я знаю, и думаю, что уже поздно и пора спать. Тебе нужно отдохнуть с дороги, а мне придется рано встать, чтобы отправить Ольгу в школу”.

“Ты не вставай. Я сам провожу Ольгу в школу”.

“Ты же все напутаешь!”

“Но ведь завтрак ей подаст горничная. Что же я могу напутать?”

Заснуть Мальвида не могла – сейчас решалась и ее судьба, не только Ольгина. Она знала, что жить без Ольги она не сможет. “Что делать? Как быть? Как остановить его?” – рыдала она в подушку. “Ведь заберет! Увезет в Лондон и погубит!”

Утром она затаилась в своей спальне и только чуть-чуть приоткрыла дверь, чтобы слышать о чем Искандер говорит с Ольгой. Как только он вошел, Ольга сразу испугалась:

“Папа, зачем ты здесь? А где Мальвида?”

“Почему по-французски?”

“Мне с утра перед школой можно говорить только по-французски. Я как поезд на рельсах. Как начну, так уже и буду продолжать весь день.”

“Это Мальвида тебе внушила?”

“Ну и что, что Мальвида? За это ты хочешь ее прогнать?”

“Просто я решил дать ей поспать попозже”.

“А когда я вернусь из школы, ее уже здесь не будет? Ты опять ее выгонишь?”

“Какую ерунду ты придумала! Когда я ее выгонял?”

“Тогда, когда она, не попрощавшись, ушла из дому и исчезла”.

“Она ушла, потому что устала от лондонского климата и ей предложили хорошую работу в Истбурне”.

“Зачем ты врешь? Ты же сам учил меня, что врать нехорошо. Мне буфетчик Франсуа рассказывал, как она плакала, когда он провожал ее к омнибусу”.

“Почему ты веришь слугам, а не мне?”

“Потому что я понимаю больше, чем ты думаешь! Я даже уже прочла “Мадам Бовари” Флобера”.

“Что-о? Ты прочла “Мадам Бовари”? И Мали тебе разрешила?”.

“А я ее не спрашивала – у нас в классе почти все девочки прочли!”

“Я заберу тебя из этой школы!”

“Напрасно. Мали говорит, что твоя главная задача в жизни – дать людям свободу”.

“Людям, но не детям”.

“Значит, дети не люди?”

“Слушай, хватит водить щеткой по волосам! Сколько можно причесываться?”

“Меня Мали приучила – пятьдесят раз правой рукой, пятьдесят раз левой”.

“Каким глупостям учит тебя Мали!”

“Она учит меня всему, что должна знать каждая женщина. И за это ты собираешься ее прогнать?”

“Кто сказал, что я собираюсь ее прогнать?”

“Раз не собираешься, позови ее с нами, если хочешь увезти меня в Лондон”.

“Но это невозможно!”

“Почему невозможно? Твоя Наталья Алексеевна выгонит нас всех троих? Ты так ее боишься?”

“Ну и язык у тебя!”

“Язык у меня в папу. И имей в виду, папа: без Мали я с тобой не поеду!”

“Да она сама ни за что туда не поедет!”

“Если хорошо попросишь, поедет!”

## МАРТИНА

Ольга была права – Мальвида была готова на все, только бы не потерять Ольгу. И ради Ольги она, стиснув зубы, согласилась покинуть уютный Париж и вернуться в немилый ее сердцу Лондон. В дом ненавистной Натали Тучковой-Огаревой, подпольно Натали Герцен, матери трехлетней Лизы Герцен-Огаревой и новорожденных двойняшек Герцен-Огаревых, Елены и Алексея.

## МАЛЬВИДА

Паром приближался к Дувру. По мере отдаления от французских берегов погода ухудшалась на глазах – словно нарочно, чтобы подтвердить опасения Мальвиды. Казалось, солнце покинуло их по дороге в Англию и неподвижно повисло за их спинами над песчаными дюнами Бретани. Мальвида и Ольга, обнявшись, стояли на палубе и молча смотрели, как море и небо постепенно сливаются в единую серо-свинцовую массу. Что ждет их в Лондоне? Как встретит их Натали? Вряд ли Искандер предупредил ее об их приезде. Да и как бы он мог это сделать? Ведь их отъезд был внезапным и стремительным – Искандер ни за что не соглашался отправиться в Лондон один, чтобы они последовали за ним через пару недель. Он боялся, что они передумают, и правильно боялся – Ольга и так несколько раз с рыданиями объявляла, что никуда не поедет.

“Ты не бросишь меня, Мали? Я без тебя там не останусь!”

Мальвида молча прижала девочку к себе.

“Почему ты молчишь, Мали? Пообещай, что ты меня не бросишь!”

“Как объяснить ребенку, что мне невозможно оставаться там надолго? Даже и две недели, на которые я согласилась, будут для меня пыткой, как бы ни отнеслась к нашему приезду Натали. Впрочем, не надо обольщаться – она наверняка встретит нас в штыки. Пожалуй, может даже просто не впустить в дом. Я же вижу, как нервничает Искандер. Он-то знает, чего от нее можно ждать”.

“Не молчи, скажи правду! Я боюсь!”

“Не бойся, я всегда буду рядом с тобой”, – храбро солгала Мальвида, зная, что ничего от нее не зависит. Из мглы начали выползать смутные очертания кораблей, пришвартованных в Дуврской гавани.

## МАРТИНА

Герцен писал российской приятельнице Марии Рейхель: “Ольга не хочет возвращаться и плачет, Мальвида любит ее и спазмует”.

## МАЛЬВИДА.

Кеб долго кружил по лондонским улицам, казалось бы, хорошо знакомым, однако Мальвида очень быстро перестала их узнавать. Спрашивать Искандера не хотелось, – он всю дорогу хмуро молчал, искоса поглядывая на Ольгу, которая затаилась в углу кареты, как затравленный зверек.

Наконец, Мальвида не выдержала: “Разве мы едем не к тебе домой?”

Искандер хлопнул себя по лбу: “Ах, за всеми этими заботами я совсем забыл рассказать – мы переехали. Я снял новый дом”.

“А чем был плох старый?”

“Там за стеной жили соседи-англичане. А ты помнишь, к нам всегда приходили толпы гостей? Кто-нибудь начинал играть на фортепиано, иногда пели хором, раздавался веселый гул, смех, и за стеной начиналось постукивание, – напоминание, что в Англии предосудительно шуметь в воскресные дни. И я решил, что нельзя жить в Англии иначе, как в доме, стоящем совсем отдельно. А вот и наш дом! Видите, вот он! “

Лошади остановились у ворот нарядного трехэтажного дома, украшенного греческой колоннадой. Колонны были увенчаны позолоченными виноградными гроздьями, вьющимися среди белоснежной мраморной листвы.

“Ничего себе домик! – нарушила молчание Ольга, – Настоящий дворец!”

“Семья так разрослась, нужно было найти дом побольше, – смущенно пробормотал Искандер, помогая Мальвине выйти из кеба. – Сперва родилась Лиза, а теперь еще близнецы. В прежнем доме стало нестерпимо тесно, ведь пришлось нанять еще одну няню”.

Ольга неловко выпрыгнула из экипажа, поскользнулась и упала. Мальвида ахнула, Искандер бросился поднимать, Ольгу, и никто не заметил, как распахнулась резная двустворчатая дверь. На высоком пороге стояла Натали, прижимая к груди младенца в розовом капоре. За ее спиной, прижимая к груди младенца в голубом капоре, маячил испуганный Огарев.

“Ах, какой пассаж!” – воскликнула Натали, пронзая Мальвину испепеляющим взглядом.

## МАРТИНА

Однако, как я понимаю, все утряслось. Как ни свирепствовала Натали, ей пришлось смириться – хотя ни для Ольги, ни для Мальвины не нашлось места в ее сердце, для них по настоянию Герцена нашлось место в его роскошном новом доме, Орсетт Хаусе.

Роскошным был не только Орсетт Хаус, но и все остальные дома Герцена, хоть в Лондоне, хоть в Париже, хоть в Ницце, хоть в Швейцарии. Так уж он с детства привык. Я хорошо это знаю, потому что в каждый свой приезд в Москву я посещала дом на Никитском бульваре, в котором он родился. И который теперь называется домом Герцена.

Дело в том, что друг моего детства, известный поэт, сперва учился, а потом преподавал в Литературном институте, расположенном в этом доме, и я бегала туда смотреть на будущих знаменитостей. Конечно, даже революционеру, прошедшему детство и юность в таком домище, трудно втиснуть свою любимую семью в тесные стены квартиры, пусть роскошной, но все же квартиры – пусть с ванной и гостиной, но без фонтана и сада.



В июле 1849 года царь Николай I рассердился на революционные призывы Герцена и арестовал все имущество не только его, но и его матери. Однако, как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Арестованное имущество было заложено другу Герцена банкиру Ротшильду, и тот, ведя переговоры о предоставлении займа России, добился снятия императорского ареста. И тем самым вернул Герцену его сто рублей, опять обеспечив ему возможность снимать все новые и новые роскошные дома.

## БАКУНИН

Они сидели на застекленной террасе, тремя ступенями спускающейся в узкий сад, огороженный стенами соседних домов. День выдался прелестный, солнечно-облачный, и на террасе царила атмосфера мира и взаимной любви. Ольга играла в шашки с Огаревым, Мальвида сверяла с Искандером свой перевод его новой статьи на немецкий. Все объяснялось очень просто – на террасе не было Натали, она укачивала близнецов где-то в глубине дома.

Ольга соскочила со стула и, пританцовывая, запела: “Ура! Я его обыграла! Я его обыграла!”

“У нас растёт новый стратегический талант”, – объявил Огарев, стряхивая шашки в коробку.

“Нет, нет, еще одну партию!” – взмолилась Ольга.

“Что, хочешь мне проиграть?” – начал было Огарев, но его прервали громкие крики и топот. Из-за угла дома на площадку перед террасой выбежал огромный волосатый человек, за которым гнался испуганный лакей Джерри.

“Я не хотел его впускать, но он меня оттолкнул и ворвался!” – вопил Джерри, пытаясь схватить волосатого за полу плаща. Тот отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и шагнул на террасу, одним шагом переступив все три ступеньки.

“Молодец ты, Герцен! Хорошо спрятался! Но я вдвое молодец, что тебя нашел!” – зычно сказал он. “

“Бакунин! Мишель! Ты ли это? – вскочил на ноги Искандер. – Глазам своим не верю!”

Великан облапил его, легко приподнял и переставил на другое место: “Я, конечно я! Кто еще смог бы оторвать тебя от земли?”

“Но откуда ты взялся? Тебя же сослали в Сибирь!”

“Они сослали, а я сбежал! И год добирался к тебе. И страшно издержался в дороге. Может, одолжишь мне немного денег, чтобы расплатиться с кебменом?”

“Вот теперь я верю, что это ты, – засмеялся Искандер и протянул лакею несколько купюр. – Идите, расплатитесь с кебменом, Джерри, и не беспокойтесь: Мишель – мой старый друг”.

Дверь отворилась и на террасу вышла Натали. За эти годы она налилась женской полнотелостью – не то, чтобы располнела, но как-то вся раздобрела и округлилась. Однако, хоть и раздобрела, да не подобрела, нрав у нее остался прежний, недоброжелательный и нелюбезный. И выйдя на террасу, она спросила недоброжелательно и нелюбезно: “Кто этот человек?”

В воздухе запахло грозой.

“Это наш старый друг Мишель Бакунин, разве ты не узнаешь, Натали?” – робко ответил Огарев.

Натали не успела открыть рот, как Бакунин бросился к Огареву с криком: “Огарев, дружище! А я тебя и не признал!”

“Мишель Бакунин! Не может быть! – ахнула Натали. – Я видела Мишеля Бакунина в сорок восьмом на баррикадах в Париже! Он был высокий, красивый и синеглазый”.

“Я и сейчас синеглазый, если убрать мешки из-под глаз, – Мишель обернулся к Огареву. – А чья она жена, твоя или Герцена?”

Пока Герцен и Огарев нерешительно медлили с ответом, Ольга пискнула: “Общая!”

С трудом сдерживая смех, Мальвида упрекнула её по-немецки: “Что за шутки, Ольга?”

Тут Огарев нашелся: “Жена она моя, но в доме Герцена хозяйка”.

“Раз вы хозяйка, Натали, может распорядитесь, чтобы мне дали поесть с дороги?”

“Конечно, конечно, Мишель, я сейчас распоряжусь! – хлопотала Натали. – А вы пока садитесь, в ногах правды нет”.

“Я лучше постою – хоть в ногах правды нет, но и в заднице тоже нет. Я семь лет просидел на заднице в этой проклятой Петропавловской крепости. Там потолок такой низкий, что стоять я мог только согнувшись в три погибели”.

Мальвида и Герцен уступили Бакунину место за столом, на который повар Франсуа поставил несколько тарелок с остатками обеда. Бакунин не стал утруждать себя изящными упражнениями с вилок и ножом, он со страшной скоростью управлялся столовой ложкой, иногда помогая себе пальцем. “Знатный у тебя повар, братец! Почти такой, как был у моего папеньки в Прямухино”.

Покончив с едой, он бросился в атаку на хозяина дома:

“А ты, я вижу, Герцен, совсем погряз в позорном благополучии – живешь во дворце, жирно жрешь, управляешь армией слуг. Где твои революционные идеалы?”

Мальвида попросила: “Можно по-немецки, чтобы я тоже поняла?”

Бакунин тут же перешел на немецкий: “Разве в этом ты клялся в молодости?”

“Заметь, я издаю еженедельную газету “Колокол”, которую читает вся мыслящая Россия”.

“И даже император!” – выкрикнул Огарев.

“Какое достижение – издавать газету для императора!”

Огарев обиделся: “Наша газета сыграла решающую роль в отмене крепостного права”.

“И что с того? Отмена крепостного права не сделала человека свободным!”

“Лучше было оставить его крепостным?”

“Он все равно остался крепостным. Когда-то на заре истории мы все были свободны. Человек был в согласии со своей природой и в гармонии с миром. Потом змей заполз в сад, и этот змей назывался – Порядок. Организация общества! Мир перестал быть единым. Материя и дух разделились. Золотому веку пришел конец. Теперь мы должны освободить человека и создать новый Золотой век! Для этого нужно разрушить общество и уничтожить порядок”.

Герцен поморщился: “Ты преувеличил, Мишель. Ведь при разрушении общества прольется много крови”.

“Что ж, ради свободы и кровь пролить не жалко!”

“Я бы предпочел поискать другие пути к свободе”.

“Ты напоминаешь мула, который ищет свой путь в тумане”.

“Перестаньте, Бакунин, – неожиданно вспыхнула Мальвида, – преподносить старые, обветшалые идеи и фразы! Видно, вас жизнь ничему не научила .”

“А эта ещё кто такая? – ощерился на нее Бакунин. – Она чья жена?”

“Ничья она не жена! – вступилась за Мальvidу Ольга. – Она моя мама!”

На миг все изумленно затихли. Тишину нарушил визг Натали: “Что ты несешь? Какая она тебе мама?”

“Настоящая! Не то, что вы, уши мне выкручивать!”

“Ведь это все она, она, твоя гувернантка, девочку подучила! Она с самого нашего приезда настроила её против меня, – зарыдала Натали. – А ты опять привез её в наш дом!”

“Ну полно, полно, хватит ссориться”, – забормотал Герцен и потянулся обнять Натали. Но вовремя спохватился и попросил Огарева: “Коля, успокой жену! Ей нельзя огорчаться, а то у нее молоко прогоркнет”.

Огарев послушно направился к Натали, но она оттолкнула его и убежала с террасы в дом.

“Куда же она? – огорчился Бакунин. – Я как раз собирался попросить добавку бараньего бока с капустой!”

## МАРТИНА

1861-й год – как я забыла? Действительно, ведь все это случилось в 1861 году, когда император Александр Второй не без влияния выступлений Александра Герцена отменил крепостное право в России. И в том же году, в том же феврале, в том же Санкт-Петербурге, родилась моя почти позабытая героиня Лу фон Саломе, ради которой я затеяла все эти исторические раскопки.

## БАКУНИН

Весь август погода в Лондоне стояла непривычно теплая, и потому почти все обитатели Орсетт Хауса после обеда собрались на террасе. Только Бакунин не поместился на террасе и улегся в саду на одеяле, расстеленном поверх ковра опавших листьев, да Огарев, тихо напевая, катал по дорожке коляску с близнецами. Герцен, склонившись над столом, вычитывал через плечо Мальвиды ее перевод очередной статьи из “Колокола”. В центре террасы стоял мольберт Таты, которая увлеченно водила кистью по холсту, пытаясь воссоздать картину уходящего лета.

Топчась вокруг мольберта, Тата то и дело спотыкалась об ноги Натали, задремавшей в шезлонге в углу террасы. И над всей этой мирной сценой звенел хвастливый голосок Ольги:

“... Мальвида упросила капельдинера впустить меня в зал, но услышать новую оперу Вагнера мне не удалось. Парижские студенты разозлились на Вагнера за то, что он поставил дирижера спиной к публике. Они начали свистеть, кричать и хлопать сиденьями кресел. Мне стало очень обидно, что ничего не слышно. Я вскочила ногами на кресло и заорала так громко, что перекрыла весь шум в зале: “Вон отсюда, идиоты! Вы ничего не понимаете в музыке! Убирайтесь вон! Вон!” В конце Вагнер подошел ко мне и поблагодарил за мое выступление. На глазах у него были слезы”.

“Узнаю моего друга Рихарда, – отозвался Бакунин. – Ему ничего не стоило заплакать”.

“Вы знакомы с Вагнером?” – воскликнула Мальвида.

“И ещё как знаком! Было время, когда мы с ним ночи напролет бродили по берегу Эльбы и говорили, говорили, говорили! Говорили обо всем на свете”.

“Мы тоже говорили с ним обо всем на свете, когда он пригласил нас на обед в Париже”, – похвасталась Ольга.

“Чего ради он пригласил вас на обед?” – ревниво вскинулась Тата, споткнулась и наступила Натали на ногу. Натали громко взвизгнула, Ольга засмеялась и закашлялась.

“Ты нарочно наступила мне на ногу, дрянь!” – крикнула Натали.

“Простите, Наталья Алексеевна, я нечаянно! Ей-богу, нечаянно!”

“Я давно заметила, что с тех пор, как родилась Лиза, ты то и дело намеренно пытаешься нам навредить – и мне, и Лизе!”

“Зачем, Наталья Алексеевна?”

“Ясно, зачем – из ревности!”

Тут Тата зарыдала и бросила кисть на пол, кисть упала и покатила по белым плиткам террасы, разбрызгивая фейерверк разноцветных пятен. Натали подняла кисть и швырнула ее в Герцена: “Полюбуйся на свою дочь! Она кисть бросила нарочно, чтобы испортить террасу!”

Тата зарыдала еще отчаянней: “Папа, ты видишь? Она все время ко мне придирается!”

Ольга опять засмеялась и зашлась в надрывном кашле. Мальвида скомкала листки, которые держала в руках, и запричитала: “Ребенка нужно срочно увезти из этого гнилого английского климата! Искандер, ты слышишь, как она кашляет? Позволь мне уехать с нею в Италию”.

“Я тоже хочу с ними в Италию! – взмолилась Тата. – Отпусти меня с ними, папа!”

Шум поднялся невообразимый. Никто никого не слушал – Ольга кашляла, Тата рыдала, Натали визжала, Мальвида причитала. Бакунин вскочил с одеяла и заорал зычным голосом, перекрывая все другие голоса: “Тихо! Всем замолчать!” Все испуганно затихли, даже Ольга перестала кашлять. Бакунин одним прыжком вспрыгнул на террасу:

“Распустил ты своих баб, Герцен! Развел тут курятник вместо того, чтобы поднимать народы на борьбу с тиранией!”

И ушел в дом, демонстративно хлопнув дверью. Взбешенный Герцен стукнул кулаком по столу:

“Никто никуда не поедет, ясно?”

## МАРТИНА

Но все обошлось – Тата поплакала, Натали поднажала, и Мальвида уехала в Италию с Ольгой и Татой, которую Герцен ей навязал за то, что позволил увезти Ольгу. Они поселились

во Флоренции, где провели несколько счастливых лет – Тата училась там живописи, а Ольга, у которой вдруг прорезался красивый голос, брала уроки пения. Тате пришлось смириться с опекой Мальвиды: все же жить у Мальвиды было куда лучше, чем возвращаться в дом, которым управляла Натали.

## МЭРИ

Оставив детей с няней, они собрались в гостиной троим, – Герцен, Огарев и Натали. В доме было непривычно тихо. В канделябре горели свечи, в камине потрескивали дрова, шторы на окнах были плотно задернуты, чтобы скрыть рано наступающую темноту. Лакей поставил на стол поднос с чаем, оладьями и мармеладом, и неслышно удалился, осторожно прикрыв за собой дверь.

“В детях главная казнь – и казнь, равно падающая на них, как и на меня”, – вздохнул Герцен, который только что вернулся с вокзала, проводив на поезд дочерей и Мальvidу. С ними уехал в Европу и Бакунин, заставивший Герцена купить ему билет и одолжить денег на “первопочаток”.

“Признайся, в глубине души ты рад, что они уехали, – непривычно мягко отозвалась Натали. И потянулась к чайнику, разлить по стаканам чай. – Теперь мы можем немного пожить в тишине и покое, никого не обманывая и не притворяясь”.

Неожиданно в гостиную с криком ворвался лакей, преследуемый высокой худой женщиной, одетой крикливо, но бедно.

“Эта дама требует, чтобы я ее впустил! Говорит, что ее пригласил мистер Николас”.

“Огарев, ты?” – удивленно поднял брови Герцен.

Огарев смущенно вскочил, схватил женщину за руку, потянул к столу и забормотал по-английски: “Друзья! Позвольте представить мою подругу, мисс Мэри Сазерленд”.

“Что еще за подруга? Откуда взялась?” – не поверила Натали.

Огарев перешел на русский: “Мы встречаемся уже два года”.

“Где ты ее взял?” – спросил Герцен.

“В одном закрытом клубе. Она работала там танцовщицей”.

“Что значит – танцовщицей?”

“Она танцевала с членами клуба по вечерам”.

“То есть, она не танцовщица, а просто потаскуха, – отрезала Натали. – Что она здесь делает?”

“Я пригласил ее жить со мной”.

“Жить с потаскухой? В нашем доме? “

“Я считал, что это и мой дом. Но если ты не хочешь, чтобы мы тут жили, мы можем съехать”.

“Ты не можешь съехать, ты мой муж!” – вспыхнула Натали.

“Значит, мы будем жить здесь”, – в голосе Огарева впер-вые зазвучала сталь.

“Зачем она тебе здесь?” – вяло спросил Герцен, сдаваясь.

“Затем, что я ее люблю!”

Мисс Мэри Сазерленд надоела эта перепалка на незнакомом языке:

“Николас, пожалуйста, пойдите расплатитесь с кебменом и велите прислуге отнести мои вещи в нашу комнату”.

## МАРТИНА

Мальвида хотела уехать с девочками в Италию сразу по приезде на континент, но кто-то из друзей рассказал ей, что в Вене готовится представление оперы Вагнера “Лознгрин”. И она, не задумываясь, сходу решила повезти Ольгу в Вену. Недаром Герцен часто упрекал ее в том, что она возит Ольгу на каждое новое представление опер Вагнера. Но воспитание в Ольге эстетического чувства стало для Мальвиды важнейшим делом жизни. Поэтому, прибыв в Вену, она первым делом поспешила повести свою любимую девочку к Вагнеру.

“Я сразу же отправилась к нему, он встретил меня самым сердечным образом и дал нам билеты на все репетиции этой недели. Поскольку я прежде всего хотела, чтобы Ольга от этого путешествия получила музыкальные импульсы, то ни-



чего лучшего нельзя было и пожелать. Мы обе пришли в восторг. Да, это мастерское произведение, высочайшее художественное создание нашего времени. Здесь Вагнер решил все задачи, – возвышенная серьезность, очаровательная поэзия, драматическое действие с симфонической музыкой, лирико-элегические мелодические роли – все в целом обладает таким единством, что ничего не вынешь, и при этом все захватывающе устремлено к концу и все живет в целом”.

## МАЛЬВИДА

Чтобы попасть за кулисы, они с Ольгой, держась за руки, долго шли по бесконечным скудно освещенным коридорам. После ослепительно сияющего огнями оперного зала темнота коридоров казалась почти полной. Каким облегчением было вступить наконец в световой круг артистических уборных и увидеть Рихарда, устало сидящего в кресле перед зеркалом.

“Это было потрясающе!” – воскликнула Мальвида, но Рихард небрежно отмахнулся от похвал и спросил Ольгу, вошла ли Мальвида ее в музей.

“У нас сейчас нет времени для искусства прошлого, – ответила за Ольгу Мальвида. – В искусстве меня интересует прежде всего великое и значительное нашего времени, и это – ваши оперы “.

“Вы так захвалите меня, что я зазнаюсь”, – польщенно засмеялся Вагнер.

“Я как раз познакомилась с человеком, который утверждал, что вы зазнались давным-давно”.

“Кто же, интересно, этот наглый клеветник?”

“Это русский хулиган по имени Мишель Бакунин. Он хвастается, что вы были его близким другом”.

“Боже, где вы видели Мишеля? Он все так же прекрасен и похож на Зигфрида?”

“Не сказала бы. Он довольно отвратителен, весь отекий и беззубый”.

“Какая жалость! Но как вы могли его встретить? Он же сослан куда-то в Сибирь!”

“Ах, вы не знаете? Он убежал из ссылки и через Японию и Америку пробрался в Европу”.

“Значит, Мишель вернулся в Европу?”

Вагнер вдруг побледнел, прижал руку ко лбу и стал то-ропливо прощаться, ссылаясь на усталость.

## МАРТИНА

Значит, русский медведь Мишель Бакунин не врал, хватаясь, что великий немецкий композитор Рихард Вагнер был другом этого фантастического фанатика свободы. В 1849 году Бакунин был приговорен в Германии к смертной казни за революционную деятельность, однако его не казнили, а выдали русскому царю Николаю I. Это было хуже всякой казни, потому что царь его люто ненавидел.

Семь лет Мишеля держали в подземной одиночке ужасной Петропавловской крепости, и это, пожалуй, было страшней смерти. Единственное окошко его камеры было забито досками, а потолок был так низок, что двухметровый гигант Бакунин мог стоять только склонив голову и согнувшись в коленях. После смерти царя Николая I его сослали в Сибирь, но он умудрился бежать из ссылки и из России. Он поселился в Швейцарии и, хоть после тюрьмы и ссылки был страшно болен, опять взялся за старое, а именно за разрушение европейской цивилизации.

Когда же он успел подружиться с Вагнером? Оказалось, что во время дрезденской революции 1849 года Рихард Вагнер вел народ на баррикады рука об руку с Бакуниным, с которым был тогда неразлучен. Только счастливое бегство сохранило для Германии её великого Вагнера, потому что он был приговорен к пожизненному заключению и шестнадцать лет провел в изгнании.

Никто из позднейших биографов Вагнера не мог понять, зачем ему понадобилось бежать на баррикады, если он был главным дирижером королевской оперы.

Впрочем, кто-то лукаво отметил, что на баррикадах Вагнера никогда не видели, он только прятался на пожарной башне, не в силах оторвать взгляд от синеглазого русского красавца, в которого был влюблен.

Почему же он испугался, узнавши от Мальвиды, что его возлюбленный Зигфрид вернулся в Европу? Почему не бросился его искать и не поспешил с ним встретиться ни тогда, ни после, когда уже жил в своей роскошной вилле Трибсхен на берегу Люцернского озера? Ведь Мишель много лет жил в Лугано, на берегу того же озера, в часе езды от виллы Трибсхен. Да и Мишель тоже не стремился встретиться со своим бывшим другом!

Какая кошка между ними пробежала?

## ВАГНЕР

Рихард замечал, что на него все чаще находит угрюмость. Обычно это случалось в дождливую осеннюю пору, когда тягуче ныла все та же точка слева под ложечкой и в голову лезли мысли о смерти. Но иногда тоска наваливалась на него и в светлые дни, полные солнечных зайчиков, зеленого шелеста деревьев и лукавого переплеска струй в фонтане за окном. А когда уж на него находило, все вокруг затягивалось глухой черной пеленой – и свет, и зелень, и плеск фонтана.

В такие дни все становилось ему противно, даже собственная музыка, равной которой, – он знал, был уверен, – не мог создать никто из живущих. И надеялся, верил всей душой, что никто из грядущих вслед тоже не сможет. То, что сделал он, было подобно созданию новой религии: в его музыке пространство превращалось во время.

Он садился за рояль, но пальцы теряли беглость и черная пелена угрюмости искажала любимые прозрачные звуки, делала их вялыми и пустыми. Тогда он звал Козиму. Если она не являлась немедленно, он начинал сердито стучать по столу костяшками пальцев и раздраженно кричать: «Козима! Козима!»

Потом замечал, как хрипло звучит его голос, пугался и умолкал.

Запыхавшись прибежала Козима, взъерошенная и несчастная, – она, как всегда, была занята с детьми или по хозяйству. У нее вечно что-нибудь выкипало или кто-нибудь

плакал и не хотел принимать лекарство. Но Рихард был неумолим, он говорил: “пусть себе плачет и выкипает”, и просил ее сыграть ему что-нибудь самое дорогое его сердцу, вроде хора пилигримов из “Тангейзера”.

Она со вздохом садилась к роялю и начинала играть. Всегда, когда на него находило, она играла из рук вон плохо, или, может, она играла хорошо, а музыка его никуда не годилась – откуда он взял, что в мире нет ему равных?

Впрочем, так оно и было – они не были ему равны, все эти еврейско-итальянские скорописцы, они не были ему равны, они были гораздо лучше!

И тогда вспоминалось все обидное, что с ним случилось за его долгую, полную горечи жизнь – как неотступные венские кредиторы гонялись за ним по всей Европе и как надменно улыбнулся ему Мендельсон, когда “Тангейзера” освистали в Париже. Вспоминать это было нелепо – к тому времени, как его освистали в Париже, Мендельсон давно уже отдал еврейскому Богу свою еврейскую душу. Но все равно было обидно. А чаще всего из глубин памяти выплывали строки из недавно пересланного ему каким-то доброжелателем письма директора Берлинской оперы:

“Вы, я надеюсь, не ослепли настолько, чтобы не заметить провала в Байройте и провала в Лондоне, где публика толпой бежала вон из зала во время исполнения отрывков из “Кольца Нибелунгов”?”

Нужно поскорее вычеркнуть эту жидо-журналистскую ложь из своего сознания. Рихард точно знал, что это ложь, потому что его Байройтский фестиваль будет жить в веках.

## **МАРТИНА**

И был прав! Сегодня, чтобы попасть на его фестиваль в Байройте, любители со всего света записываются за семь лет вперед!

## **ВАГНЕР**

Когда нарочный привез посылку от парикмахера Шнаупфа, Рихард велел принести коробку к нему в кабинет на

третий этаж и оставить на угловом столике под стоячей лампой. Горничная зажгла лампу и принялась суетиться вокруг коробки, нацеливаясь ножницами разрезать веревки.

Но он цыкнул на нее, чтоб скорей убралась прочь и закрыла за собой дверь. Скользя взглядом вслед ее обиженно уплывающей спине, он заметил затаившееся в полутьме галереи бледное лицо Козимы, молящее впустить ее и приобщить к церемонии вскрытия коробки. Но он не снизошел, дверь захлопнулась и лицо исчезло. Ему даже привиделось, что, когда дверь почти коснулась косяка, лицо Козимы дрогнуло, как от пощечины, но это дела не меняло – Рихард хотел открыть посылку в одиночестве, чтобы никто не помешал ему насладиться вволю.

Он подхватил коробку и спустился по винтовой лесенке на второй этаж, в свою гардеробную комнату, обе двери которой можно было запереть изнутри. Винтовые лесенки, соединяющие спальни третьего этажа с умывальными и гардеробными второго, были его личным изобретением, которым он гордился. Лесенки были встроены во внутренние углы комнат и напоминали ему хитроумное строение человеческого тела, в котором все грязное и низменное спрятано глубоко под кожей, так что для обозрения остается лишь красивое и возвышенное. В его доме гости видели только высокий, уходящий под крышу, сводчатый зал и грациозные галереи, окаймляющие второй и третий этаж, тогда как интимная жизнь обитателей дома была скрыта от чужих глаз.

Рихард запер обе двери и, быстро разрезав веревки, жадно запустил руки в прохладную глубину коробки. Пробежав кончиками пальцев по ласковым складкам шелка, он собрал их в тугий жгут и быстрым коварным движением выплеснул на пол полдюжины отороченных кружевами сорочек и три атласных халата – розовый, лиловый и абрикосовый, – украшенных ажурной вышивкой по вороту и у запястий.

Потом поспешно сорвал с себя стеганую домашнюю куртку и, секунду поколебавшись, с какого халата начать, набросил на плечи лиловый, сунул руки в рукава и, чуть покачивая бедрами, пошел к высокому стенному зеркалу.

Подобрав фалды подола округлым движением согнутой в локте руки, он привстал перед зеркалом на цыпочки и залюбовался трепетными бликами света на фиалковой глади атласа. Хоть до вечера было далеко, за окном стоял белесый зимний сумрак, и свет лампы у него за спиной скрывал его черты в дымчато-сиреневой тени. Небольшая фигурка перед зеркалом просеменила балетным шагом вправо, потом, высоко взметнув расклешенный подол, сделала мелкий пируэт влево и засмеялась, откинув назад большую кудрявую голову на тонкой шее. Рихарду определенно нравился этот, отраженный в зеркале полутеньями, хрупкий силуэт неопределенного пола. Именно этого Козима и боялась.

Козима вообще имела склонность к самым разным страхам и тревогам. Она боялась детских болезней, неуклонно растущих долгов и причуд короля Людвига, как его немилости, так и его чрезмерной милости. А уж в прошлом году, из-за открытия фестиваля причин для страхов и тревог было хоть отбавляй. Король дал знать, что прибывает августа третьего, в полночь, и нужно было среди ночи ехать его встречать.

Козима ни за что не хотела отпускать Рихарда одного, она увязалась за ним на станцию, но ему в конце концов удалось отправить ее домой, ссылаясь на то, что дети там одни и могут внезапно проснуться. Она нехотя уехала, все озираясь на них с королем, который хоть уже не сверкал былой юной прелестью, но все еще был молод и хорош собой.

Она уехала, а Рихард последовал за королем в загородный дворец Эрмитаж, полный романтической прелести, особо неотразимой при свете луны. Король прибыл налегке, без свиты, с ним были только денщик и адъютант, которые, устроив комфорт короля, скромно удалились и оставили их наедине. Прошое, конечно, уже отошло, уже не было той страсти, того опьянения, но все же славно было провести с королем несколько ночных часов в память о былой любви.

Домой Рихард вернулся уже на рассвете и, секунду поколебавшись, приоткрыл дверь в спальню Козимы. Она, как он и ожидал, не спала и плакала, но он уже давно научился справляться с ее настроениями. Он стал на колени у ее по-

стели, взял ее ладонь в свою и прижался к ней щекой. Она слабым голосом спросила:

“Что так долго?”

“Король хотел знать все подробности про фестиваль. Ты же понимаешь, что я не мог ему отказать. Наши дела так зависят от его щедрости”.

Последняя фраза была чистой правдой, но именно на нее Козима быстро нашла возражение:

“Мы можем обойтись без него, если возьмем деньги, оставленные мне мамой, и заложим дом”.

Как будто Рихард только и мечтал заложить дом и истратить деньги, оставленные ее матерью! Но он подавил раздражение и прошептал, поглаживая ее мокрое от слез лицо:

“Я знаю, что тебе ничего для меня не жаль. Я только не понимаю, чем я заслужил такую любовь. Ты настолько прекрасней и благородней, чем я!”

Она тут же ему поверила и вспомнила, наконец, что должна заботиться о нем:

“Иди, ложись, ты ведь наверно страшно устал. А завтра такой тяжелый день – репетиция “Валькирий” в присутствии публики”.

Публика, о Боже! Толпа! Она видит только то, что представлено на сцене, не в состоянии понять глубинных смыслов и страстей, таящихся за внешним фасадом. Но без публики никакой успех невозможен.

Рихард сбросил на пол лиловый халат и надел розовый. Этот был совсем другого фасона, широкий в плечах, он далеко запахивался на талии и сужался книзу. В нем Рихард казался гораздо выше и уже не чувствовал себя таким крошкой. Кто знает, может, будь он чуть богаче и выше ростом, он бы не боролся с таким упорством за воплощение своих замыслов?

Не боролся бы и не добился бы своего – не построил бы собственный театр в Байройте и не осуществил бы там прошлым летом свой первый фестиваль. И какой фестиваль – “Кольцо Нибелунгов” было сыграно три раза подряд, все четыре части, про которые музыкальные жиды заранее присудили, что поставить их невозможно!

Однако он совершил невозможное, он собрал вместе сто пятьдесят выдающихся музыкантов и посадил их в оркестровую яму, какой больше нет нигде, ни в одном театре мира. Тому, кто не присутствовал при этом, трудно представить, какой вдохновляющий эффект производит на слушателей невидимый оркестр. Ах, продолжить бы это, продолжить, но увы! – в этом году фестиваль провести не удалось.

Честно говоря, Рихард не знал, огорчаться этому или радоваться, – слишком уж много сил ушло тогда на организацию спектаклей и на постоянную борьбу с трудностями, особенно с финансовыми. Ведь им до сих пор не удалось расплатиться с прошлогодними долгами. Он лично не страдал от безденежья так, как Козима, он с юности привык, что денег всегда не хватает, однако обидно, что, несмотря на успех, дефицит после фестиваля, оказался непомерный. Покрыть его можно только, если пойти на поклон к сильным мира сего.

И он не почел за стыд, он, Рихард Вагнер, пошел и поклонился. Поклонился раз, и другой, и третий. И где же они, эти богатые покровители искусств? Что-то не бегут они на подмогу, протягивая свои туго набитые кошельки. Только один нашелся, граф Магнис фон Уллерсдорф, прислал пять тысяч марок, впрочем, неправда, не один – еще какая-то старая дама из Нюрнберга отвалила от своей пенсии сто марок. Но что такое пять тысяч марок при дефиците в сто пятьдесят тысяч, даже если к ним добавить оторванную от старушечьего убожества сотню?

А других благодетелей пока не видно. Впрочем, это не удивительно, ведь богатые люди – в большинстве евреи, чего же от них ждать? А остальные, если и не евреи, так верят в жалкую ненавистную ложь газет.

Рихард набросил абрикосовый халат поверх розового и присел на край ванны. Ванна тоже была построена по его проекту. В стену над ней была впрессована огромная перламутровая раковина, напоминающая о морских тайнах. Слава Богу, он не водит сюда журналистов, а то бы они обязательно настрочили очередные памфлеты о том, как он,



жалуясь на неподъемный дефицит, балует себя безрассудной роскошью.

На прошлой неделе он прочел объявление в “Новой Свободной Прессе”, в котором они обещают опубликовать его давние письма к одной венской модистке, разоблачающие его расточительство. Они не пожалели денег, чтобы выкупить у нее эти письма и напечатать в своей жалкой газетенке длиннющий список его заказов и капризов, всех этих халатов, жакетов, панталон и башмаков.

Да, он расточителен и балует себя роскошью, ему это необходимо, чтобы воссоздать в музыке несуществующий мир своей фантазии. Его фантазия нуждается в этой роскоши, в этом баловстве! Разве можно кому-нибудь объяснить, какой это адский труд – писать музыку? Этому нельзя научиться, это каждый раз надо начинать сначала. Для этого ему нужно полностью оградить себя от внешнего мира, с помощью вышитых подушек, бархатных гардин и пряных благовоний, не допускающих до него пошлые, будничные запахи реальной жизни.

Он раздраженно сорвал с себя оба халата и сделал несколько мелких шажков вдоль линии паркета, представляя себя на месте юного канатоходца, искусство которого недавно так восхитило его. В тот день они с Козимой во время прогулки случайно зашли в бродячий цирк, разбивший свой шатер на базарной площади.

Стоя в толпе, глазеей на представление, Рихард с увлечением следил, как юноша грациозно идет по канату до самой крыши, бесстрашно улыбаясь глядящим на него снизу людям. Вдруг Рихард заметил, что Козимы нет рядом с ним. Он протиснулся сквозь толпу и нашел ее снаружи, за деревом. Плотно закрывши глаза ладонями, она стояла, прижимаясь лицом к морщинистому стволу.

“Я не могу спокойно смотреть, как человек так отчаянно рискует жизнью в борьбе за свое жалкое существование”.

“При этом ты имеешь в виду меня?” – спросил ее тогда Рихард, а она зашептала испуганно, словно опасаясь, что кто-нибудь их подслушает:

“Нет, нет, что ты!”

А на днях кто-то рассказал Козиме, что отважный юноша погиб в Регенсбурге, сорвавшись с каната во время представления.

Вешая халаты в шкаф, он услышал, как Козима тихонько постучалась в дверь, соединяющую ее гардеробную с его, и тревожно спросила:

– У тебя все в порядке?

Он глянул за окно, на улице уже сгущались сумерки. Сколько же времени он провел тут, погруженный в свои мысли?

– Да, да, я скоро выхожу! – неохотно отозвался он, не желая чрезмерно огорчать ее, ведь он и так был перед нею виноват. Чтобы скрыть от нее часть присланных ему из Парижа вещей, он начал торопливо убирать сорочки в комод и только тут заметил эту газету.

Он, наверно, видел ее и раньше, но не обратил внимания – обыкновенная старая газета, которой было устлано дно картонной коробки.

А сейчас вдруг увидел! С пожелтевшего скомканного листка на него глядело обведенное траурной рамкой лицо Мишеля Бакунина. Нет, не то лицо, которое он так хорошо знал и много лет после тех событий часто видел во сне, а другое, отечное, тяжелое, болезненное, но все же узнаваемое. Потому что этого человека ни с кем нельзя было спутать.

Рихард схватил газету, – была она парижская, не газета даже, а газетенка, вроде той, что грозит опубликовать его письма к венской модистке. Жалкий листок какого-то международного Альянса на убогой дешевой бумаге. Боже мой, с каким только отребьем водится Джудит!

Несмотря на то, что газетенка была сильно смята и топорщилась бахромой по углам, Рихард все же разглядел верхнюю строчку слева: она была от десятого июля семьдесят шестого года. Почти от того самого дня, когда в его жизнь непредвиденно ворвалась Джудит.

Выходит, со смерти Мишеля прошло уже полтора года, а он и не знал. Даже и не почувствовал, что Мишеля нет в живых, а ведь в каком-то затаенном уголке души тот присутствовал всегда, время от времени покалывая и садня, как

больной зуб. Рихард попытался прочесть то, что было написано под фотографией, хоть кое-какие фразы стерлись до полной неразборчивости, а кое-какие он не смог понять из-за своего французского языка, прихрамывающего даже после того, как он изрядно ему подучился, переписываясь с Джудит:

“Неделю назад, 3 июля 1876 года, на православном кладбище швейцарского города Берна были преданы земле останки покойного Мишеля Бакунина. Навсегда ушел от нас мятежник, вагабунд, прирожденный партизан революции. Не забудем его слова: “...буду счастлив, когда весь мир будет стоять в пламени разрушения... Чтобы легко вздохнуть наследникам, надо хоронить мертвеца. Это буйство похорон и есть моя жизнь...”

Похоже, Мишель мало изменился за эти годы. Все тот же фейерверк лозунгов и парадоксов. “А ведь как он тогда увлек меня, как окрылил!” – подумалось, пока глаза искали смысл, скрытый в наполовину стершихся строчках:

“...в истории дальше уходит тот, кто не знает, куда идет... Страсть к разрушению – это созидательная страсть...”

Рихард явственно, со всеми тончайшими модуляциями, услышал, как Мишель мог произнести эти слова, – голос у него, небось, остался все тот же, громовой, от такого голоса рушатся стены.

И вспомнилось, как Мишель поразил его при первой встрече. Могучий, синеглазый, не знающий страха, он говорил возвышенно и блестяще, уверенно рассекая воздух крупной ладонью с красивыми длинными пальцами. Рядом с этим гигантом Рихард почувствовал себя совсем крошкой и сердце его сперва сжалось в комок, а потом до невозможности расширилось, готовое взорваться. Перед ним был подлинный Зигфрид, прекрасный, синеглазый, не знающий страха. Сам Рихард хорошо знал страх, и потому бесстрашие Мишеля так его увлекало.

Он расправил газету. Следующий абзац был почти в сохранности:

“Свои последние дни М.Б. провел в городской больнице Берна, куда попал сразу после своего приезда из Лугано, где он проживал в последние годы на принадлежащей ему Вилле Брессо”.

Ну конечно, Мишель жил в Швейцарии, совсем неподалеку от виллы Трибсхен, где Рихард провел много лет и не раз с тех пор бывал наездами. От виллы Трибсхен до Лугано, где жил Мишель, час езды, не больше. Рихард, собственно, всегда знал об этом, – то ли слышал, то ли читал в газетах. Знал, наверняка знал, но как-то изловчился вытолкнуть из памяти, чтоб не давило, не напоминало, не беспокоило уколами совести. И ни разу не попытался найти Мишеля, черкнуть ему письмишко, условиться о встрече.

И Мишель тоже был хорош, – предположим, у Рихарда были причины избегать Мишеля, но ведь и Мишель не попытался с ним связаться. А не мог ничего не знать о Рихарде и о Байройте. Последние годы Рихард стал знаменит, о нем много и зло писали жидаы и журналисты, что в сущности одно и то же. Особенно после успеха прошлогоднего фестиваля, который они стремились объявить провалом. Господи, какие глупости лезут в голову – ведь ко времени успеха фестиваля Мишеля уже не было в живых!

Но это не меняет дела – Мишель жил в часе езды от Рихарда, но не сделал даже попытки протянуть ему дружескую руку. Впрочем, и у Мишеля были, пожалуй, свои причины избегать Рихарда. Например, что он мог сказать в оправдание этой Виллы Брессо, по словам газеты ему принадлежавшей, – ему, страстно отвергавшему саму идею собственности?

Впрочем, журналистам ни в чем нельзя верить, равно как и жидам. Очень может быть, что такой виллы вообще нет на свете, – интересно, кем подписан этот некролог?

Рихард перевернул смятый листок и поглядел на подпись – “группа друзей”, и прямо через абзац над подписью вдруг увидел свое имя. Сердце на миг екнуло – “неужто пронюхали?” – и он стал торопливо читать:

“Последний раз М.Б. покинул стены больницы, чтобы посетить своего друга, пианиста Адольфа Рейхеля, который сыграл ему несколько вещей его любимого Бетховена. “Наш мир погибнет, – сказал Мишель, слушавший музыку стоя, поскольку сильные боли не позволяли ему сидеть, – и только Девятая Симфония останется”.

И Мишель рассказал, как в 49 году в Дрездене, прямо накануне восстания, ему посчастливилось присутствовать при необыкновенном исполнении Девятой Симфонии Бетховена. Дирижировал ныне прославленный композитор Рихард Вагнер. И перейдя к последним произведениям своего бывшего соратника и друга, Мишель, преодолевая боль, высказал неодобрение по их поводу”.

Вот как, высказал неодобрение, значит? Мы это переживем... Однако соратником и другом все же назвал, хотя, может, это группа друзей постаралась, чтобы придать покойному больше значительности. Потому что из описания похорон никакой значительности не получалось:

“Похороны прошли очень скромно. Это было 3-е июля, стоял жаркий летний день, снежные пики сверкали над городом в безоблачном небе. В ожидании прибытия похоронного кортежа могильщики отпускали шутки по поводу размера заказанной им могильной ямы. Гроб прибыл в сопровождении небольшой группы провожающих, их было не более тридцати пяти. Присутствовали только представители разных швейцарских секций Интернационала, – иностранных друзей и последователей не успели оповестить. Некоторые из присутствующих плакали. Но вся церемония в целом производила впечатление мелкой, не соответствующей грандиозному масштабу личности усопшего борца с тиранией буржуазного общества.

Супруга покойного, Антония, была извещена о смерти мужа по телеграфу и прибыла из Неаполя только через несколько дней после похорон”.

Вот это новость – оказывается, у Мишеля была супруга! Мишель был женат, – это, действительно, сюрприз! Интересный брак – жена Антония, которая не побеспокоилась даже навестить умирающего мужа в больнице, хоть, как сообщает “группа друзей”, он с 28-го июня был в агонии. Однако она не только не помчалась к смертному одру супруга, но продолжала прохладиться в Неаполе, а вовсе не в Лугано, где находилась якобы принадлежащая ее мужу Вилла Брессо. Не загадка ли это?

Для кого-нибудь, возможно, и загадка, но не для Рихарда. Для него в этом деле единственной загадкой было само наличие у Мишеля жены. Но он готов был допустить вмешательство неизвестных ему обстоятельств, побудивших его бывшего соратника и друга к женитьбе.

За дверью опять послышался шорох:

“Рихард, Рихард! – позвал голос Козимы. – Ты выйдешь к ужину? Дети уже сидят за столом”.

“Уже иду!” – нехотя откликнулся Рихард и начал поспешно натягивать сброшенную на пол обшитую золотым шнуром домашнюю куртку испанского бархата. Застегивая обтянутые узорным шелком пуговицы, он вдруг почувствовал, что пальцы занемели и плохо слушаются, – то ли он слишком разнервничался, то ли продрог, сидя на краю холодной ванны в одной тонкой сорочке. Однако он заставил себя застегнуть все пуговицы в правильном порядке. Ни к чему было показывать при детях, что он чем-то расстроен.

Хотя он давно заметил, что дети вовсе не так чувствительны, как Козима старается представить. Не далее как вчера он застиг своих дочерей за тем, что они разрывали землю в центре тщательно им самим спланированного и заранее любовно воздвигнутого собственного могильного холма, достойного его грядущей славы. На вопрос отца, чем они там заняты, они с простодушной наивностью ответили, что ищут червей для своей черепахи!

За ужином Рихард был рассеян и молчалив, однако не преминул заметить на щеках Козимы следы недавних слез. Она то и дело бросала на него испуганные взгляды, но не отважилась спросить, чем он так озабочен. Он еще не

решил, стоит ли рассказывать Козиме про смерть Мишеля, – она по натуре была излишне чувствительна и склонна к легким слезам.

Кроме того, он понимал, что сегодняшняя посылка беспочвенно ее не столько из-за неизвестного ей содержания, сколько из-за неизвестного ей отправителя. Если он покажет ей скверную парижскую газетенку с некрологом, она сразу заподозрит, что посылка от Джудит. Она, похоже, и так что-то подозревает, оттого последнее время бледна и часто жалуется на головную боль. Нужно предупредить Шнаппауфа, чтобы был поосторожней с письмами, а насчет посылки он обязательно что-нибудь придумает, но только завтра, сегодня у него мысли путаются из-за Мишеля.

Сегодня он должен побыть один. Рихард хорошо знал свои нервы, – он долго теперь не сможет спать по ночам и кожа его покроется красной сыпью, он уже чувствует, как начинается нестерпимый зуд под мышками и в паху. Спасение только в одном – сосредоточиться, вспомнить до мельчайшей детали то, что его мучает, чтобы поскорей начисто это забыть и освободиться навсегда.

Он постиг эту премудрость в последние годы совместной жизни со своей первой женой Минной, если этот кошмар можно назвать жизнью. Она истязала его бессмысленной ревностью, а он истязал ее приступами яростного раздражения. Удивительно, как он не прикончил ее в одну из очередных минут застилающей глаза ненависти!

Тогда он тоже не спал по ночам и с ног до головы покрывался зудящей красной сыпью. Но однажды, невероятным усилием воли преодолев желание разбить об голову Минны одну из ее обожаемых фарфоровых ваз, он взял маленький заплочный мешок и ушел в горы, – благо, тогда они жили в Швейцарии! Три дня он провел в полном одиночестве, блуждая среди скал по козьим тропам и питаясь хлебом с сыром, который покупал за гроши у неприветливых местных крестьян.

И на третий день в голове его прояснилось какое-то окно, сквозь которое он увидел, как он любил Минну когда-то и как сходил с ума, когда она пару раз бросала его и уходила к дру-

гому. В те дни не она ревновала его, а он ревновал ее. Он не мог сказать, было ли это легче, – страдание всегда было его уделом, он безмерно страдал и от любви, и от ненависти.

В конце этих трех дней Рихард вспомнил все – и хорошее, и плохое, он принял Минну в ее новом, чуждом ему, облике и навсегда отделил ее от своей жизни. Когда он вернулся домой, он мог позволить ей говорить и выкрикивать все, что ей было угодно – его это больше не задевало. Он уже не слышал ее голоса и мог спокойно углубиться в единственно важное дело своей жизни, в свою работу.

Когда она особенно сильно досаждала ему, он больше не испытывал желаний ее задушить, а вспоминал, как они, тесно обнявшись, ожидали смерти на палубе маленькой шхуны, на которой им пришлось бежать от кредиторов из Риги в Лондон вскоре после женитьбы.

Шторм с воем швырял хрупкую скорлупку шхуны то вниз, в головокружительную бездонную пропасть, то вверх, на острие крутого горного пика. С ужасом глядя на вздымающиеся вокруг необозримые волны, Минна начала громко молить Бога, чтобы он не дал бушующей морской стихии поглотить их по отдельности, пусть лучше их убьет удар молнии, пока они вместе. Ее молитва на фоне свиста ветра и рева штормового моря навсегда осталась в памяти Рихарда, в ней была дивная музыка, которая легла в основу увертюры к его опере “Летучий Голландец”.

Думая об этом, он готов был простить ей ее потерявшее упругость тело, ее глупые претензии, ее пронзительный голос и даже ее неспособность понять глубину его замыслов.

А теперь, когда ее давно уже нет в живых, он бы десятикратно простил ее. Рихард начал заново ценить “Летучего Голландца” с тех пор, как Джудит открыла ему, что именно эта ранняя его опера привела ее к нему. И прямо тут, за семейным столом, он снова мысленно пережил волнующий рассказ Джудит о том, как она в пятнадцать лет случайно обнаружилла на рояле клавир “Летучего Голландца”. Она попробовала его сыграть, – и ей вдруг открылось величие драмы и музыки.



Он закрыл глаза и внутренним взором увидел, как прелестная пятнадцатилетняя Джудит, уже не девочка, но еще не женщина, склонясь к роялю темнокудрой головкой и почти касаясь клавиш юными, еще не созревшими грудками, в сотый раз пытается сыграть очередной трудный пассаж. Он засмеялся, представив себе, как ее домашние, измученные бесконечными повторами одной и той же мелодии, пытаются прервать ее иступленное музицирование, а она упорствует и продолжает.

“Что с тобой? – услышал он встревоженный голос Козимы, чудом прорвавшийся сквозь набегающие музыкальные волны. – Тебе нехорошо?”

Рихард вздрогнул и открыл глаза:

“Что-то голова слегка кружится”, – почти честно признался он, потому что голова и впрямь слегка кружилась. Козима тут же принялась хлопотать вокруг него с грелкой и фруктовой настойкой, прописанной ему на случай головокружения.

“Может, отменим на сегодня чтение?” – предложила она нерешительно, но он отверг это предложение. Именно потому, что сегодня он был вовсе не расположен читать вслух, он не хотел нарушать эту, столь дорогую сердцу Козимы, семейную традицию. Ему необходимо было успокоить жену и обеспечить себе несколько ночных часов, свободных от ее тревожного надзора.

Козима попросила почитать “Дон Кихота”, но он отклонил ее просьбу, ссылаясь на то, что роман Сервантеса содержит слишком много скабрёзностей. Он остановил свой выбор на шекспировском “Макбете”, – читать вслух пьесу было гораздо легче. Он начал читать и на какое-то время настолько вошел во вкус, что забыл про некролог в жалкой парижской газетке, – он был прирожденный чтец, искусство перевоплощения увлекало его.

Козима, как обычно, слушала его, восхищаясь каждой разыгранной им репликой, и он, как это часто случалось в последний год, внутренне съежился от дурного предчувствия, что однажды она все узнает и не простит. Но именно эта эквилибристика на грани разоблачения и придавала его роману с Джудит ту остроту, которая подстегивала его нервы

до звенящего напряжения, необходимого для его работы над “Парсифалем”. Он не мог отказать себе в этой последней радости – “Парсифаль” был его лебединой песней, после него оставалась только смерть.

Мысль о смерти опять напомнила ему о некрологе Мишеля, и он опустил книгу на колени.

“Может, хватит на сегодня? – спросил он, заглядывая Козиме в глаза и замечая, как ужасно она устала. – Иди спать, детка, а я еще поколдую над книгами”.

Она, хоть и умирала идти спать, все же ушла не сразу, а сперва немного похлопотала вокруг него, заботясь о его головокружении и микстуре от кашля. Он терпеливо переждал ее заботы, а потом помедлил еще четверть часа, пока не убедился, что она поднялась из своей гардеробной комнаты наверх, в спальню. После этого он подождал еще десять минут для верности, хоть она обычно засыпала мгновенно, умученная дневными хлопотами, обеспечивающими ему мир и покой.

Потом тихонько, стараясь не шуметь, он спустился вниз, в лиловый салон Козимы и открыл ящик бюро, в котором она хранила свой дневник. Ему необходимо было вспомнить, чем он был занят в те дни, когда Мишель умирал, над чем бился в тот день, когда Мишель умер, чему радовался в тот день, когда громоздкий гроб с телом Мишеля опустили в сырую яму на кладбище в Берне.

Странно, он мог с легкостью восстановить в памяти – не только по дням, но даже по часам – их ночные прогулки с Мишелем, их нескончаемые страстные беседы почти тридцатилетней давности. Но вот события прошлого лета слились в один долгий нерасчлененный сердечный спазм на пестром фоне репетиций, декораций, капризных выходов актеров и вечной головной боли о деньгах.

Впрочем, головная боль из-за денег преследовала Рихарда и в тот незабываемый год, когда они с Мишелем, беспечные и молодые, фланировали по улицам спящего Дрездена, погруженные в увлекательные споры о судьбах человечества. Просто в те далекие дни забота о долгах и кредиторах не ложилась на его душу таким нестерпимым

бременем. Тогда его гораздо больше занимал любовно вынашиваемый под сердцем проект создания саги о Нибелунгах.

Как капризно распоряжается нами судьба, – во время одной из ночных прогулок по набережной Эльбы он попытался поделиться своими замыслами с Мишелем, но тот не пожелал его слушать, поскольку намеревался разрушить всю эту жизнь вместе с ее обывательской культурой, включающей и замыслы Рихарда. И что же? Теперь, через двадцать восемь лет “Кольцо Нибелунгов” Рихарда Вагнера завершено и поставлено на сцене театра Рихарда Вагнера, а Мишель Бакунин, так и не дождавшись крушения буржуазного мира, умер в швейцарской больнице, которая была неотъемлемой частью этой живучей культуры.

Что же происходило в день смерти Мишеля?

1-е июля – его можно легко себе представить: разгар лета, самодовольная пышность листвы на деревьях королевского парка, калейдоскоп цветов на клумбах его любимого дома, Винфрида. Однако в памяти нет ни одной житейской детали из этого дня. Зато как ясно встает перед глазами сцена его последнего прощанья с Мишелем, странная, почти фантастическая, не похожая ни на какое другое прощанье.

Это было, когда революция в Дрездене была практически разгромлена. Теперь уже можно честно признать, что дрезденские события только из вежливости называют революцией. Был там робкий мятеж, скорей сотрясение воздуха, чем реальное восстание. Когда прусские войска подошли к Дрездену, революционная армия рванула оттуда, наложив со страху полные штаны, и к десятому мая оказалась в небольшом городке Фрайберг. Временное революционное правительство вынуждено было удрать туда вместе со своей разгромленной армией. И Рихард тоже последовал за ними – у него были на то свои причины.

Он нашел своих соратников в гостиной дома главы временного правительства Хюбнера, который был жителем Фрайберга. Они отчаянно спорили о том, что лучше, – с оружием в руках защищать Фрайберг от наступающей прусской армии или отступить и перегруппироваться в более крупном

Хемнице, где была надежда на поддержку рабочих организаций.

Спорили до хрипоты уже несколько часов, голоса разделились, и ни один из вариантов не выглядел приемлемым. В конце концов члены правительства, безумно уставшие после нескольких дней тяжелых боев на баррикадах Дрездена, отравились проверять состояние своих войск, а Рихард остался в гостиной наедине с Мишелем.

Они сидели на диване, намереваясь обсудить какие-то подробности предстоящего дня, как вдруг Мишель замолк на полуслове и, грузно откинувшись на спинку дивана, захрапел. Рихард попробовал встряхнуть его, но все его попытки разбудить Мишеля ни к чему не привели, он только качнулся вбок, положил голову на плечо Рихарда и навалился на него всей своей непомерной тяжестью.

Рихард и сейчас с поразительной ясностью ощутил всю горечь разочарования, охватившего его в тот момент – все эти месяцы он так жаждал физического контакта с Мишелем, жаждал его прикосновения к своей коже, предвкушая блаженство электрической искры, которая вспыхнет в его теле от этого касания. Но он хотел нежной, человеческой ласки, а не этого – бездумного, неосознанного давления тяжелой головы Мишеля на свое плечо. Тем более, что впереди зияла пропасть, в которую можно было упасть, если не разбежаться перед прыжком изо всех сил.

Рихарду стало не по себе, – еще не все было обдуманно, не все опасности взвешены. Пора было отправляться в путь. Он отвел ото лба Мишеля крутые темные кудри, легко-легко коснулся их губами, высвободил затекшее плечо, и, с трудом оттолкнув увесистую тушу друга, поднялся с дивана. Мишель безвольно скатился на сиденье и захрапел еще сильней. Бросив на него прощальный взгляд, затуманенный непрощенной слезой, Рихард вышел из гостиной. Больше они никогда не виделись.

До сегодняшнего дня, когда он вновь увидел глаза Мишеля, глядящие на него с газетной страницы. Впрочем, это уже не в счет, Мишеля нет в живых с 1 июля 1876 года.

Рихард раскрыл дневник Козимы за 76-й год – в том месте, где должна была быть запись за 1-е июля. Но такой записи не оказалось – вместо нее был скомканный абзац, помеченный числами 1-11 июля. Выходит, недаром у него в душе осталось ощущение мучительного куса непрожеванного времени, если даже неумолимая Козима не смогла расчленивать этот ужасный период на отдельные дни!

Что же тогда происходило?

“1-11 июля.

Прогон “Сумерек Богов” от начала до конца! Тенор Унгер (Зигфрид), кажется, выздоровел, но тут же начались проблемы с баритоном Кугелем, исполнителем партии Хагена – он не выдержал напряжения и уехал. Огромные финансовые трудности, каждый день стоит 2000 марок, а доходы ничтожные. Казначей утверждает, что через три недели ничего не останется. Я пытаюсь получить из Парижа хоть какую-то часть маминого наследства, пока безрезультатно.

Пришел по почте пакет от Ницше с замечательным эссе “Вагнер в Байройте” о “Сумерках Богов”, – воистину вдохновляющее творение! Душераздирающее известие о внезапной смерти одного из наших оркестрантов – скрипача Рихтера из Берлина!”

Теперь Рихард ясно вспомнил первое июля. Это было еще до приезда Джудит, – первый прогон “Сумерек Богов”, первая воплощенная на сцене смерть Зигфрида! Подумать только – в день смерти Мишеля!

У Рихарда холодок пошел по спине. Может ли это быть простым совпадением?

И разом, переплетаясь и путаясь, хлынули несовместимые образы из разных времен. Вот Мишель, заметив, что Рихард то и дело прикрывал рукой слезящиеся глаза, заслоняет лампу непомерной лопатой своей ладони и держит ее так, на весу, все полтора часа их беседы. И тут из-под ладони Мишеля вовсе некстати выглядывает обрамленное редкими кустиками седеющих кудрей лицо берлинского скрипача

Рихтера, скоростижно скончавшегося где-то в начале июля, во время репетиции “Валькирий”.

Скрипач Рихтер умер от разрыва сердца, и при мысли об этом собственное непрочное сердце Вагнера начинает тихонько скулить то ли под ложечкой, то ли под лопаткой.

И вспомнился один ужасный день, тогда же в июле, еще до приезда Джудит. Рихард с Козимой пригласили в ресторан “Странствующий рыцарь” механиков сцены братьев Брюкнеров, которые на месяц просрочили изготовление плавательного аппарата для хора рейнских русалок в “Золоте Рейна”.

Так же заскулило у Рихарда под ложечкой, когда один из братьев пролепетал в свое оправдание, что они весь этот месяц были заняты по горло, выполняя заказ старого клиента, герцога Мейнингенского.

Рихарду и сейчас тяжело вспомнить, какой гнев охватил его, когда он услышал, что для них он всего-навсего “клиент”. Как он бушевал, как швырял на пол тарелки, как орал и топал ногами! Оказывается, он, Рихард Вагнер, создатель искусства будущего, для этих мастеровых такой же клиент, как и какой-то ничтожный герцог, который только тем и хорош, что получил по наследству титул и деньги! Прав был Мишель, – вся современная культура прогнила и пора с ней кончать!

Правда, потом пришлось просить у Брюкнеров прощения. Но от ресторана “Странствующий рыцарь” пришлось отказаться навсегда. Рихарду было неловко появиться там снова после той ужасной сцены. Точно так же он отказался когда-то от Мишеля и не стал его искать, хоть прекрасно знал, что тот убежал из ссылки и вернулся в Европу.

А Мишель, оказывается, все эти годы жил в Лугано, совсем по соседству с Люцерном, где Рихард вынужден был поселиться в 65 году, когда молодой баварский король Людвиг упросил его убраться из Мюнхена добровольно, не дожидаясь, пока его подлецы-министры учинят им обоим какую-нибудь пакость. Он прожил там восемь лет, полных бурь и страстей, – на берегу озера, в роскошной вилле Трибсхен, за аренду которой платил король, а обживать и обставлять по-

могала Козима, тогда еще формально жена его лучшего друга, дирижера Ганса фон Бюлова.

Честно говоря, в начале этих драматических восьми лет Рихарду было не до дрезденских воспоминаний и не до дрезденских друзей. Его судьба всецело зависела от юного короля, фанатично, безумно в него влюбленного. Хотя король вынужден был подчиниться требованиям своих завистливых подлецов-министров, он все равно не отказался от идеи осуществить постановку всех опер Рихарда в баварском королевском театре. Не говоря уже о солидных суммах, которые он платил за переданные ему авторские партитуры этих опер.

В те годы любовь короля была главным достоянием Рихарда. Она была последней соломинкой, протянутой ему с небес в тот страшный миг, когда все его надежды рухнули и черная бездна небытия уже разверзлась, чтобы поглотить его навеки. И не успел он прийти в себя от этой нежданно свалившейся на него милости, как ему была оказана другая милость, не столь неожиданная, но зато в то время крайне неуместная – на него свалилась Козима, вконец отчаявшаяся наладить свой неудачный брак с Гансом и полная решимости заполучить Рихарда.

Она отважно покинула Ганса и, поселившись в Трибсхене, начала рожать Рихарду детей, скрывая при этом от всего мира, что дети от него, а не от Ганса. Поначалу Рихард с ужасом представлял себе, какие формы примет ярость влюбленного короля, когда тот узнает, что он изменяет ему с Козимой.

Но годы шли, после рождения двух дочерей Козима была беременна в третий раз, а король все еще ничего не подзревал.

## МАРТИНА

Сдается мне, что нечто подобное я уже писала. В тот раз это было о Герцене и Огареве. У них у всех как-то само собой получалось подживать с женами лучших друзей и выдавать своих детей за детей этих обездоленных друзей.

## ВАГНЕР

Рихард, научившись загонять страх в дальние закоулки души, постепенно втянулся в блаженный ритм семейной жизни, созданной заботами преданной Козимы, и погрузился в создание “Кольца Нибелунгов”.

Как-то в мае, – уже подзабылось, какой это был год, – в день рождения Рихарда король Людвиг сюрпризом примчался из Мюнхена в Трибсхен и, не в силах больше выносить разлуку, объявил, что намерен незамедлительно отречься от престола, чтобы навсегда остаться с Рихардом.

Это были головокружительные дни. Нужно было отговорить молодого безумца от бредовой идеи отречения, изощрившись как-то так объяснить присутствие в Трибсхене Козимы с новорожденной дочкой Изольдой, чтобы не лишиться королевской привязанности, на которой держалось все настоящее и будущее благополучие Рихарда. И при этом не дать и Козиме повода заподозрить что-либо насчет интимного характера своих отношений с королем.

При одном воспоминании об этих днях Рихарда бросило в дрожь и он опять почувствовал себя циркачом, одиноко идущим по канату, высоко натянутому над головами зрителей.

## МАРТИНА

Если бы беззаветные обожатели музыки Вагнера смогли когда-нибудь прочесть эти строки, они бы меня, наверно, линчевали.

Но если бы у меня даже произошло столкновение с миллионами поклонников преобразователя немецкой оперы, я не стала бы их переубеждать. Я бы только скромно процитировала им некоторые выдержки из писем их кумира.

Вот, например, его письмо из Парижа к другу голодной юности художнику Эрнсту Бенедикту Китсу от 8 июля 1841 года, в период особенно острой нищеты:

“Сегодня мне удалось раздобыть целых 50 франков, так что есть на хлеб. Только не спрашивай, как я их заработал.



Я расскажу тебе при встрече. Не будь слишком суров к педерастам!”

А вот отрывок из другого, гораздо более позднего письма, которое Вагнер написал где-то в конце 1869-го года своему личному врачу и другу Антону Пусинелли:

“Вообще-то я, похоже, принадлежу к тому редкому типу людей, которым суждено жить и работать до глубокой старости. Единственное, что мне всерьез досаждаст, это боли и воспаление в прямой кишке. Когда летом 1868 я вернулся из Мюнхена, где по прихоти короля Людвига ставили “Майстерзингеров”, мои страдания были ужасны. Но поскольку причина этих страданий была мне ясна, я решил больше никогда не возвращаться в Мюнхен – там для меня суший ад”.

Я процитирую им эти письма не для того, чтобы их огорчить, а исключительно из сочувствия. Я отлично сознаю, что у них, бедняг, замученных будничными заботами обывательского быта, никогда не будет ни времени, ни сил прочитать тысячи страниц, написанных их кумиром собственноручно или, в крайнем случае, надиктованных им любимой жене Козиме, молитвенно сохранившей для нас каждое слово своего великого супруга.

Впрочем, я напрасно упомянула Козиму в этом контексте – те письма, отрывки из которых я тут привожу, вряд ли предназначались для ее глаз. Не могу удержаться, так и тянет прервать себя забавной цитатой из дневника Козимы за 10 июля 1878 года.

“Сегодня я весь день помогала архивариусу Глазенаппу составлять каталог писем Р. Перед ужином я рассказала об этом Рихарду, он смутился и воскликнул: “Какая глупая девочка!” Когда я сказала, что прочла несколько его писем к королю, я заметила, что ему стало не по себе. Он сказал, что эти письма звучат не слишком красиво, но ты ведь понимаешь, что не он задавал тон этой переписки. Я заверила его, что понимаю, и увидела, что он почувствовал себя лучше”.

Еще бы ему не смутиться при мысли, что Козима прочла какие-то строки из его писем королю! Так, к примеру, начинается письмо от 13 июня 65 года:

“Мой самый красивый, самый совершенный! Мой возлюбленный, моя единственная радость и утешение! Мой король, мой друг, мой победительный Зигфрид!”

А так кончается другое, от 27 июля того же года:

“Разлученные – что может разлучить нас? Отторгнутые друг от друга – мы все так же неразлучны! Как я жду того мига, когда я вновь увижу вас, единственного, для кого я живу! Вы для меня – весь мир!”

## ВАГНЕР

Юный король ворвался в жизнь стареющего Рихарда, когда, по всем внешним приметам, она уже подходила к концу. За пять бездомных лет, предшествующих появлению короля, Рихард многократно пересек Европу с запада на восток и с востока на запад в поисках пристанища и дружбы.

И нигде не нашлось места, где он мог бы преклонить свою одинокую седеющую голову! После всех этих лет неприкаянности и безденежья внезапный кульбит его судьбы мог быть сравним только со стремительной бурей, одним ударом взрывающей набухшую влажной духотой предгрозовую тишину.

К моменту появления королевского гонца в захудалой штуртгартской гостинице, где Рихард прятался от кровожадных кредиторов, мир вокруг него уже перестал дышать и светиться. А сам он мысленно переправился в царство мертвых, так что на свое новое существование ему было дозволено смотреть отрешенно, из мира теней, не имеющих ничего общего с реальной жизнью.

Тогда ему казалось, – о, как он ошибался! – что он уже простился со всем сущим, кроме той цели, ради достижения которой ему стоило оставаться в живых.

А цель у него была великая, какой никогда не было у других художников. Он намеревался создать новый театр, такой, какой был невымыслим до него, – театр для исполнения его опер, невиданных и неслыханных до него. Где им понять его,

этим мелкотравчатым музыкальным жидкам, переполняющим и оперные подмостки, и оперные залы!

Впрочем, напрасно он снисходит до мыслей о них, – они копошатся далеко внизу, там, куда никогда не ступит его нога, разве что он сорвется с каната в момент гибели. А он может сорваться, ах, как может! Все чаще напоминает о себе возраст, все чаще тошнотно кружится голова, и сердце, беспомощно трепыхаясь, закатывается под лопатку.

Но кое-какие радости у него еще остались. Их, правда, немного, раз-два и обчелся – сочинение музыки к “Парсифалю” да тайная переписка с Джудит. Редкие письма от нее к нему и частые от него к ней, не по почте, а через верного друга, парикмахера Шнаппауфа.

Рихард бросил взгляд на висящую над бюро акварель, изображающую Трибсхен среди деревьев, на фоне горы Пилатус, и увидел мысленным взором, как на высокий порог взбегают по ступенькам Джудит. Много лет назад она приезжала туда со своим молодым мужем, с которым она с тех пор давно уже развелась, – поклониться великому мастеру Рихарду Вагнеру. И хоть была она тогда юная и прекрасная, ему и в голову не пришло, что он еще полюбит ее бескорыстной стариковской любовью, похожей на последние лучи заходящего солнца, которое светит, да не греет.

Когда гаснут последние лучи солнца, наступают сумерки, а вслед за сумерками идет непроглядная ночь. Что ж, он готов на многое, чтобы задержать убегающие за горизонт лучи, он даже готов смириться с тем, что в Париже у Джудит есть молодой любовник. Он только не может позволить этому мальчишке воображать себя композитором, – ведь сегодня всякий, кто чуть-чуть знает нотную грамоту, считает себя композитором.

Ему больно думать, что прекрасная Джудит, которую он, Рихард Вагнер, назвал своей сладостной душой, не видит разницы между ним и своим возлюбленным молокососом, осмелившимся, по ее словам, на какое-то грошовое новаторство.

А Впрочем, Бог с ней, пусть она думает что хочет о своем наглom мальчишке, лишь бы находила время для Рихарда.

Какое счастье наполняет его угасающую душу, когда парикмахер Шнаппауф украдкой передает ему письмо из Парижа, надписанное ее теплой рукой! Как он рад ее посылкам, полным роскошных вещей из парижских магазинов, на покупку которых он тайком от Козимы переводит ей в Париж большие деньги! Ужас, о ужас, что будет, если Козима узнает!

Но он не может отказаться от Джудит, потому что даже страх разоблачения согревает сумерки его гаснущей жизни. Чтобы поддержать ее интерес, чтобы не дать оборваться этой тонкой ниточке, он придумывает все новые и новые поручения, заказывает все новые ткани и душистые масла, чтобы Джудит бегала, искала, посылала, чтобы она всегда была занята мыслями о нем. Он уверен, что и сегодняшняя посылка потребовала от нее большой изобретательности. Ей пришлось хорошо постараться, чтобы раздобыть все эти замысловатые ткани, вышивки и отделочные кружева, а потом объяснить искуснику Феликсу точные детали задуманных Рихардом халатов.

При мысли о посылке, под сердцем недобро кольнуло, напоминая о газете с некрологом и о смерти. Господи, что это с ним? Он совсем забыл, зачем спустился сюда тайком от Козимы! А ведь она не допустит, чтобы он бесконтрольно болтался всю ночь внизу, вместо того, чтобы спать в своей постели.

Он поспешно открыл резную дверцу бюро и, запустив руку вглубь, нажал защелку искусно скрытого под карнизом секретного ящичка. На дне коричневого гнезда лежал конверт со старыми документами. Рихард вынул из конверта тонкую пачку бумаг и начал осторожно перебирать их, пока не нашел пожелтевшую от времени газетную страничку. Расправив ее на крышке бюро, он в который раз перечитал:

#### “РАЗЫСКИВАЕТСЯ

в связи с недавними беспорядками, в которых он принимал активное участие, Рихард Вагнер, Королевский капельмейстер города Дрездена. Возраст – 36 лет, рост – низкий, волосы – темно-русые, носит очки.

Полиция получила приказ приложить все силы к розыску вышеназванного Вагнера и, в случае ареста, немедленно доложить по начальству.

Фон Коппель  
Помощник начальника полиции г.Дрездена.  
Май, 1849”.

Как видно, сил, приложенных полицией к розыску вышеназванного Вагнера, оказалось недостаточно, раз тот сумел улизнуть в соседний Веймар. А там его верный друг и покровитель Франц Лист уговорил некоего профессора Видманна отдать беглому дирижеру свой паспорт. С этим паспортом Рихард, несмотря на терзавший его страх, благополучно пересек германскую границу и оказался в Швейцарии, где уже никого не интересовал разыскиваемый немецкой полицией бывший королевский капельмейстер города Дрездена.

Но ему не удалось как следует сосредоточиться на изворотливости того Рихарда Вагнера, которого отделяли от сегодняшнего почти тридцать лет. Его чуткое ухо уловило еле слышный скрип отворившейся наверху двери и голос Козимы позвал негромко:

– Рихард! Рихард, где ты?

Не отвечая, он испуганно затих, понимая, что попался. Она теперь не успокоится, пока не отыщет его, куда бы он ни спрятался. Она подождала пару секунд, окликнула его еще раз и начала медленно спускаться по лестнице. И хоть он с самого начала знал, что наступит момент, когда она проснется и отправится его искать, он как-то не сумел к этому моменту подготовиться.

При звуке ее шагов он первым делом сунул дневник на место, а потом поспешно закрыл секретный ящик, в растерянности позабыв положить обратно вынутые оттуда документы. Когда он сообразил, что все еще держит их в руке, он торопливо сунул их под рубашку и начал завязывать шнуры куртки, чтобы скрыть небольшое вздутие под сердцем.

За это время Козима миновала столовую на втором этаже и стала спускаться на первый. Теперь ей нужно будет только пройти через репетиционный зал, чтобы найти Рихарда, си-

дящего перед ее бюро под единственной горящей в доме лампой. А он не в силах был сейчас, глядя ей в глаза, разумно объяснить, зачем он в такой поздний час сидит перед ее бюро под этой лампой.

И он решился, быстро схватил с полки первую попавшуюся под руку книгу. Он все же успел глянуть на корешок, это были “Греки и римляне” Шлегеля – и бесшумно опустился обратно в кресло. Шаги Козимы приближались, оставалось всего несколько секунд. Он устроил раскрытого Шлегеля в локтевом сгибе небрежно упавшей на грудь руки, как раз над вздутием под курткой, и закрыл глаза. Он услышал, как она вошла и на миг замерла на пороге, осознавая, по-видимому, что он спит.

Стараясь дышать как можно ровней, чтобы не разоблачить свое притворство, он почувствовал, как ее тень заслонила свет лампы. Вдыхая едва уловимый запах ее волос, он сообразил, что она склонилось над ним, пытаясь рассмотреть лежащую у него на груди книгу, однако не решилась разбудить его, а, потоптавшись вокруг бесконечно длинную минуту, на цыпочках пошла прочь. Краем глаза он проследил за ее уходящей в темноту спиной и вздохнул с облегчением, когда она стала медленно подниматься к себе в спальню.

К сожалению, он не услышал стука притворенной двери, – она оставила дверь открытой, чтобы услышать, когда он пойдет к себе наверх. Теперь она, конечно, ни за что не уснет, пока не убедится, что он лег. В таких условиях он не мог начать новую возню с секретным ящиком. Придется прихватить документы с собой и идти спать. Не только из-за Козимы, – вообще пора кончать день, и так проклятая нервная сыпь расплзается все дальше по животу и груди.

Наутро Рихард выглянул в окно и увидел, что за ночь выпал снег. Не настоящий, зимний, тяжелый и обстоятельный, а легкий, неверный, быстро исчезающий под лучами робкого солнца, которое нет и нет, а прорывалось в прорехи между облаками. Вот от чего вчера весь вечер ломало кости и обручем сдавливало голову – может быть, вовсе не из-за смерти Мишеля, а просто из-за скопившегося в небе снега?

После завтрака он с интересом проследил, как Козима записала в дневнике вчерашнее ночное происшествие:

“...мы очень смеялись, потому что вчера Рихард так перевозбудился за работой, что, когда я пошла спать, зачем-то спустился вниз в салон. Через какое-то время я проснулась и обнаружив, что его нет, принялась беспокоиться. Я вылезла из постели и потихоньку спустилась по лестнице. В салоне горел свет, а он сидел под лампой и спал в кресле, держа в руках раскрытую книгу Шлегеля “Греки и римляне”.

Успокоенная, я не стала его будить и ушла к себе, а он вскоре проснулся и тоже поднялся наверх. Утром мы очень смеялись над его рассеянностью”.

“Слава Богу, пускай смеется!” – с облегчением вздохнул Рихард, хотя запись Козимы не убедила его, будто она сама верит в то, что написала. Она ведь вела дневник для увековечения его славы, а не для откровенного разговора с потомками, и некоторые ее записи были сделаны скорее для сокрытия правды, чем для ее выявления.

Однако он не стал развивать эту тему вслух, а только пожаловался на головную боль и объявил, что намерен идти гулять. Козима всполошилась, – по ее мнению, прогулка в такую погоду грозила ему смертельной простудой.

Но он уперся, настаивая, что ему надо прочистить мозги, а это удастся только при прогулке быстрым шагом. Она нехотя уступила, при одном условии, что он наденет боты, чтобы не промочить ноги.

“Выгляни, там все тает”, – настойчиво повторяла она, пока он не согласился. Бог с ней, боты, так боты, лишь бы отстала и выпустила из дому!

Напялив боты и замотав горло мохнатым шарфом, он, наконец, вырвался на свободу в белую тишину королевского парка. Там остро пахло мокрым снегом, который предательски таял под ботами, но все еще нераскаянно прикидал к голым веткам кленов, больше подчеркивая, чем скрывая их наготу. Оставляя за собой черную цепочку следов, быстро расплывающихся на белом, Рихард пошел вглубь парка, про-

ворачивая в голове многослойный фарш нерешенных проблем.

В первую очередь нужно было срочно сообразить, что делать с унесенными вчера ночью документами. Он, правда, перед завтраком умудрился спрятать их среди бумаг у себя в кабинете, четко сознавая, что это не выход, а всего лишь кратковременная отсрочка. Кабинет был местом более или менее священным, вряд ли Козима пойдет туда на разведку, но отсутствие бумаг в секретном ящичке она может заметить в любую минуту.

Кроме того нужно было правильно преподнести ей сюжет с посылкой и выбрать удобную ситуацию, чтобы предъявить какую-то часть присланных Джудит вещей, не вызывая подозрения, что они присланы Джудит. Можно не сомневаться, что Козима уже порылась в шкафу у него в гардеробной и нашла висящие там новые халаты. Зато есть надежда, что она все же не обнаружила новые сорочки, не отличив их от старых, которых у него без числа. Он постарался разложить их так, чтобы они не бросались в глаза. Значит, объяснять придется только халаты, а это не так сложно.

Козима давно смирилась с его страстью к роскошной домашней одежде. И особый сюжет ему, собственно, незачем сочинять, – ловкач Шнаппауф так наострил переадресовать посылки от Джудит, что и комар носа не подточит. Да и сам Рихард за эти полтора года тоже научился кое-каким хитростям. Например, перед Рождеством он попросил Джудит добыть для Козимы японское кимоно невиданной красоты, а потом прислать его прямой посылкой к ним в Винфрид вместе с ароматическими маслами и кружевами, купленными для него. Козима была в восторге от этого подарка и долго расхваливала Джудит за внимание к ним обоим.

Хотя, если слух его не подвел, расхваливала слишком громко, так что он усомнился в ее искренности.

Ах, Козима, Козима, верная и на все для него готовая, но твердая, как камень, когда дело доходит до решительной точки. И переписка с Джудит может оказаться такой решительной точкой, если Козима о ней узнает. А его чутье по-



следнее время то и дело подсказывает, что она о чем-то догадывается и исподтишка наблюдает. Не пришла ли уже пора покаяться и все рассказать, прежде, чем она придет к нему с разоблачениями?

Рихард остановился у мостика, переброшенного через канал, соединяющий два овальных озерца. Сегодня тут еще никто не проходил, и снег на выгнутой спинке мостика лежал пушистый и нетронутый, но готовый превратиться в грязное месиво от первого прикосновения.

Рихард сделал шаг, за ним другой, третий и, обернувшись, поглядел на оставленные его ботами черные провалы, быстро заполняющиеся талой водой. А вот внутри, в ботах, было тепло и сухо. Козима, как всегда, была права, заставив его натянуть эту стариковскую обувь.

Подул холодный ветер и тяжелый пласт снега, сорвавшись откуда-то с верхних веток, шумно шлепнулся в озеро, миг замутив спокойную гладь воды. Ведь всего секунду назад все вокруг выглядело таким надежным, таким безмятежным, а по сути было так хрупко и уязвимо! Сколько раз с ним уже это случалось – стоило ему найти тихую заводь, обещающую душевный мир, необходимый для его работы, как какие-то злые силы побуждали его собственноручно все разрушить. Он даже почти смирился с тем, что источник этих сил гнездится в его собственной мятежной душе, которой никакая любовь, никакая дружба не могут принести желанный покой.

Но теперь он этого не допустит. Он слишком стар, чтобы рисковать своими отношениями с Козимой – даже ради любви Джудит! Тем более, что он не мог обольщаться настолько, чтобы не понимать истинного характера этой любви. От него ведь не укрылось напряженное выражение лица Джудит, когда он, исхитрившись остаться с нею наедине в своем кабинете, притянул ее к себе и попытался поцеловать. Она тогда не просто вырвалась, она отшатнулась! И хоть он притворился, что верит ее сбивчивым объяснениям насчет Козимы, которая может вдруг войти и застать, они не обманули его.

Он отпустил ее вниз, в зал, где уже, весело переговариваясь, собирались гости, приглашенные отпраздновать за-

вершение второго цикла фестиваля, а сам спустился в гардеробную и зажег свет над большим зеркалом. Из голубоватого овала на него смотрело старое-старое лицо со сморщенной кожей, вяло обвисающей под подбородком. Он мог понять Джудит, он на ее месте тоже не захотел бы прижаться к такому лицу своими молодыми губами.

Он потихоньку побрел обратно, всматриваясь в вырастающие ему навстречу изящные очертания своего первого в жизни дома. Когда он уходил на прогулку, Козима стояла в дверях и глядела ему вслед. Выражение ее лица было таким же, как в день первого представления “Валькирий”, когда он пригласил Джудит сидеть рядом с ним во время спектакля. В начале первого действия он потихоньку взял ее маленькую ладонь в свою, наслаждаясь порывистыми переборами ее пульса в такт его музыке.

В тот день он мог бы быть счастлив, если бы в антракте не заметил, что Козимы нет в зале. Он спросил о ней у Франца Листа, рядом с которым она сидела во время увертюры, и тот ответил, что у дочери разболелась голова и она уехала домой. Это означало, что она рассердилась из-за Джудит. Он знал, что никакая головная боль не вынудила бы Козиму пропустить первое представление “Валькирий”! Что ж, у него не было иного выхода – бросив все, он вызвал карету и помчался за ней. В конце концов он уговорил ее вернуться, но день уже был испорчен.

Похоже, и сейчас у него тоже нет иного выхода. Он слишком долго играл с огнем и доигрался. Ему придется уничтожить письма Джудит и покаяться перед Козимой. Остается только надеяться, что Джудит тоже уничтожит его письма, а не станет хранить их для потомства. Впрочем, на это надежды мало – как же ей не похвастаться любовью самого Рихарда Вагнера? Значит, в лучшем случае, можно только надеяться, что она не станет болтать о его любви, пока он жив.

А ей есть чем похвастать! Ведь он порой бывал весьма неосторожен, у него до сих пор где-то валяется обрывок письма, которое ему пришлось перебелить из-за трудностей французской орфографии. Начало еще выглядит довольно прилично:

“Козима все еще полна благодарности и восторга из-за японского платья и других вещей, присланных тобой...”

Но дальше он не сдержался:

“Я был так счастлив видеть на этом пакете адрес, выведенный твоей теплой рукой, которую я сжимал во время представления Нибелунгов. Но что – что? Так уж устроена жизнь! Почему, почему – ради всего святого – я не встретил тебя в те ужасные дни, когда “Тангейзер” провалился в Париже? Или ты была тогда слишком молода? Давай не будем говорить об этом, а будем любить друг друга! Любить, любить!”

Конечно, все эти обрывки нужно сжечь, чтобы от них не осталось и следа. Кроме того ему придется хорошенько обдумать ту версию его переписки с Джудит, в которой он показывается Козиме, – не может быть и речи, чтобы он рассказал ей всю правду. Скорей всего он представит дело так, будто он просил Джудит покупать ему разные дорогие вещи и стеснялся посвящать Козиму в детали своих расточительных прихотей.

Об этом нужно будет еще подумать, а для начала он сейчас сообщит Козиме о смерти Мишеля. Будто бы ему кто-то рассказал во время прогулки. Тогда он сумеет объяснить ей свое мрачное настроение и спокойно изъять хранящуюся у нее за семью замками историю своей жизни, которую она когда-то записала под его диктовку.

Известие о смерти Мишеля Козима восприняла довольно равнодушно и даже не спросила, кто именно ему об этом рассказал. Оно и не удивительно – ведь она не была знакома с Мишелем и знала его только со слов Рихарда. Славное это было время, когда он диктовал ей свои воспоминания! Им было тогда так хорошо вместе! А бедняга король наивно верил, что только ради этих воспоминаний она постоянно живет не со своим мужем в Мюнхене, а с Рихардом в Трибсхене.

Сейчас же, услышав, что он хотел бы перечитать свои воспоминания о дрезденском восстании, которые он надиктовал

ей еще в первые годы их жизни в Трибсхене, она удивленно вздернула брови, но без возражений открыла запертый ящик бюро и вручила ему пухлый том, исписанный ее каллиграфическим почерком.

– Хочешь, читаем это сегодня вечером вслух? – неловко пошутил он, но она не улыбнулась его шутке, а молча отвернулась и пошла звать детей к обеду. Не оставалось сомнений, что она о чем-то проведала, – значит, ему не следует откладывать покаяние надолго. Может быть, он поговорит с ней об этом завтра, но только не сегодня, сегодня он должен покончить свои счета с Мишелем.

Господи, он совсем зарепортовался – какие к дьяволу счета? Можно нечаянно подумать, что у него с Мишелем были какие-то счета. Похоже, он начал сдавать. Все смешалось в его памяти, – поминки по Мишелю, ненависть к врагам и завистникам, благодарность к Козиме, нежность к Джудит. Но он знал, что сегодня ему следует сосредоточиться на Мишеле, сегодня это самое важное.

Сразу после обеда он сунул том воспоминаний под мышку и поднялся к себе в кабинет. Там он прилег на диван и начал бегло перелистывать красиво переплетенные в кожу страницы, пока не наткнулся на забавную запись:

“...однажды я пригласил Мишеля на ужин к себе домой. Моя жена Минна разложила на тарелках тонко нарезанные ломтики колбас и копченого мяса, но он и не подумал есть их так, как это принято у нас, аккуратно накладывая на хлеб. Он сгреб в горсть все, разложенное на тарелках, и единым духом отправил в рот. Заметив испуг Минны, он заверил ее, что ему вполне достаточно того, что он съел, просто он любит есть по-своему”.

Дальше шел абзац о том, что Мишель всегда ходил в черном концертном фраке, утверждая, что у него нет денег на покупку чего-то более подходящего. И никто не мог ссудить ему что-нибудь из своего гардероба. Он был такой огромный, что любая одежда с чужого плеча была бы ему мала.

Рихард перевернул страницу и поморщился. Истории про колбасу и про фрак были более или менее правдивы, хоть нигде не было сказано, что той дрезденской весной, перед

самым восстанием, Рихард был безумно влюблен в Мишеля и зачарованно следовал за ним повсюду, как собачка на сворке.

Зато большая часть того, что шло дальше, была сплошным враньем. Все, все, даже продолжение рассказа про фрек. Когда Рихард излагал Козиме приходившие ему на ум события тех далеких дней, он сразу четко отбрасывал то, что могло испортить его отношения с королем Людвигом, по заказу которого эти воспоминания, собственно, и были написаны. При этом кое-что приходилось не только скрывать, но и изрядно переиначивать.

Например, запись от 3-го мая – это был третий день восстания, – начиналась с того, что Рихард неожиданно увидел могучую фигуру Мишеля, который, дымя сигарой и не замечая неуместности своего концертного фрака, бродил по Альтмаркту, с любопытством разглядывая баррикады.

А на самом деле накануне вечером Рихард долго уговаривал Мишеля придти на Альтмаркт и все утро его ждал, а тот все не шел и не шел. Так что ко времени его прихода Рихард уже отчаялся его увидеть. Хоть Мишель считал всю их революционную затею мелкотравчатой и буржуазной, Рихард все равно жаждал, чтобы Мишель увидел его среди борцов на баррикадах – он давно понял, что тот ценит только разрушителей, людей действия и отваги.

Но Мишель и не подумал восхищаться героизмом Рихарда и его соратников. Презрительно усмехаясь, он указал на детскую неэффективность всех мер, принятых восставшими для защиты от прусских войск, и объявил, что лично он не склонен принимать участие в таком любительском спектакле.

Рихард бегло просмотрел записи за решающие для восстания дни, 4-е и 5-е мая, когда передовые части прусской армии бесконечным потоком втекали в пригороды Дрездена. В воспоминаниях как-то само собой выходило, что к этому времени Мишель уже оказался в центре событий и стал главным советником временного правительства по всем вопросам воинской стратегии.

Ни слова только не было сказано о том, что за день до этого именно Рихард почти насильно притащил его в городскую ратушу, где заседали руководители восстания. Он хотел, чтобы Мишель как специалист высказал им свои претензии и посоветовал, как теперь быть. Мишель выслушал сбивчивые мечтания членов правительства о преимуществах мирного урегулирования и силой жесткой логики убедил их, что на это нет ни малейшей надежды.

Оставался единственный вариант – сорганизоваться так, чтобы противопоставить пруссакам собственную военную мощь высокого качества. И при этом выяснилось, что никто, кроме Мишеля, понятия не имеет, как к такой организации приступить. А Мишель уже забыл о своем презрении к их мелкотравчатому мятежу. Его, как всегда, увлекла сама стихия революционной динамики: треск выстрелов, запах пороха и вкус опасности.

Все предшествующие восстанию недели Мишель жил в странном полусне. С кем-то встречался, о чем-то спорил, что-то доказывал, но душа его при сем не присутствовала. Отравленная глубокой печалью, она неустанно возвращалась к тем счастливым минутам на баррикадах Парижа, когда он окрылял толпу своим вдохновенным бесстрашием. Только такая жизнь имела смысл, всякая другая была тусклым прозябанием, не стоящим затраченных усилий...

## МАРТИНА

Похоже, я приписала Вагнеру свои мысли. А впрочем, наверно он думал о чем-то подобном, прозревая душевные побуждения своего свободного от страха Зигфрида, хоть тот был во всем ему чужд и именно тем восхитителен. В этом отчужденном восхищении, пожалуй, и зарыт секрет очарования всей романтической вагнеровской галиматьи, воспевающей неосмотрительных, но отважных героев, всегда готовых погибнуть и обязательно в конце концов погибающих.

А что, если Вагнер и вправду был наполовину еврей? У меня для этого есть любопытное физиономическое свиде-

тельство. Передо мной на одной странице расположены два портрета. На одном – Рихард Вагнер собственной персоной, сфотографированный где-то на склоне лет, когда он уже достиг признания и земного благополучия. На другом – его отчим, художник Людвиг Гейер, который умер молодым, предварительно женившись на овдовевшей матери Рихарда, когда младенец еще не достиг и полугода. Сходство этих двух людей поражает воображение. Разница между ними только в возрасте, все остальное неотлично: глаза, нос, складка губ, овал лица. И не мень-

ше поражает имя отчима. Ведь многие немецкие евреи носили имена городов, а неподалеку от Дрездена, где родился Вагнер, есть городок Гейер. Да и сам Рихард до тринадцати лет носил фамилию Гейер, так что, если бы какая-то нужда не заставила его сменить ее на Вагнер, создателем новой немецкой оперы был бы сомнительный ариец Рихард Гейер.

Тогда становится понятным непостижимый антисемитизм Вагнера. Он всего-навсего хотел “откреститься” от своего еврейского происхождения, что, в конце концов, желание вполне простительное, как специфическое проявление хорошо известной в психологии еврейской самоненависти.

Еврейская душа Вагнера восторженно млела перед выдуманной им арийской неспособностью к мещанскому прозябанию. И потому он сумел польстить арийским душам, как никто другой.

За что и получил фестиваль в Байройте и всемирную славу.

## **ВАГНЕР**

Пруссаки все тесней сжимали кольцо. Они очень хитро придумали уклоняться от уличных боев, где им пришлось бы атаковать баррикады. Они захватывали дом и пробивали стены в соседний, продвигаясь таким образом не по улице, а внутри домов. Бесплезные баррикады, похожие на мусорные свалки, неммым укором высились вокруг пепелища оперного театра, где все еще дымились остывающие угли.

Несмолкаемый грохот больших и малых орудий безжалостно долбил по мозгам, вызывая головную боль. В ратуше царила паника, все члены временного правительства, кроме Хюбнера, разбежались кто куда в надежде избежать расплаты.

И Рихарду стало страшно.

Он не мог контролировать этот страх, руки дрожали, глаза застилала влажная пелена, все тело обсыпало потом. Он предчувствовал, что вот-вот появится красная нервная сыпь – под мышками и в паху уже начинался нестерпимый зуд. Он помчался домой, в тихий пригород Фридрихштадт, где его ожидала испуганная Минна. Но добраться до дома было не так-то просто, – все дороги были перекрыты наступающей лавиной прусских войск.

С трудом переваливаясь через заросшие колючками изгороди и пробираясь задами по извилистым тропкам, знакомым ему по его бесчисленным одиноким прогулкам, Рихард вдруг остро осознал, что больше никогда не вернется в эти края. Битва была проиграна, даже не начавшись, впереди маячил разгром, тюрьма, а возможно даже гибель.

Но он еще не был готов к уходу из этого мира, его жизнь не принадлежала ему. Еще несозданные, но уже оплодотворенные его гением замыслы толпились на пороге его души, стремясь вырваться наружу. Его святой обязанностью было выносить их и дать им выйти в свет. А значит, он должен был беречь себя.

План его был прост, он так и написал в своих воспоминаниях: “Внутренним взором я увидел, как пруссаки входят в наш пригород, и живо представил себе все ужасы военной оккупации. Когда я, наконец, добрался до своего дома, мне без труда удалось убедить Минну собрать кое-какие пожитки и уехать со мной в Хемниц, где жила моя замужняя сестра Клара. Захватив с собой зеленого попугая и песика Пепса, мы отправились в путь на дребезжащей деревенской пролетке, которую мне чудом удалось нанять. Был дивный весенний день. Но сладкозвучное пение жаворонков в бескрайней высоте небес то и дело заглушалось непрекращающимся ревом канонады, которая потом еще много дней отдавалась у меня в ушах”.



Рихард в который раз подивился собственной уклончивости. Он подробно описал попугая, песика Пепса и жаворонков, поющих в бескрайней высоте небес, но ни словом не упомянул того, за кем была замужем его сестра Клара. А ведь именно муж Клары, неупомянутый заместитель начальника полиции Хемница, и был главным героем драмы, развернувшейся в последние дни восстания.

Так живо, словно это было вчера, он представил себе аккуратную кухню сестры с веселой розовой геранью на окнах, задернутых накрахмаленными занавесками. Туда вывел его зять, пока женщины оживленно хлопотали в гостевой комнате, устраивая постель для него и Минны.

“Послушай, – сказал зять, собирая свой бабий рот в маленький тугой узелок, который они в детстве называли куриная гузка. – Ты что, там у себя в Дрездене сильно замешан в этих беспорядках?”

Сердце Рихарда екнуло. Выражение лица зятя не предвещало ничего хорошего.

“С чего ты взял?” – слабым голосом спросил он, как бы не отпираясь, но и не подтверждая.

“А с того, что готовится приказ о твоём аресте”.

“О моем?” – бледнея, одними губами переспросил Рихард.

“Не только о твоём, конечно, – утешил его зять, – а всей вашей дружной компании. Всего вашего никудышного правительствa – и твоего дружка из оперы, и фрайбергского Хюбнера, и этого русского медведя, который не знамо зачем полез в чужие дела”.

У Рихарда слова застряли в горле, но зять и не ждал его ответа.

“Да и ты зачем полез, я тоже в толк не возьму, – продолжал он, и Рихард вдруг в первый раз за много лет знакомства заметил, как шевелятся его волосатые уши, когда он произносит букву “Е”. – Такой город разорили, оперный театр сожгли, столетние деревья порубили на свои баррикады, а для чего? Чтобы после первого же выстрела разбежаться? Не начинали бы, раз воевать не умеете. Честно говоря, я бы не возражал сгноить тебя в тюрьме за твои проделки, да Клара мне жить не дает, все плачет, чтобы я тебя выручил”.

Ага, Клара плачет – значит, есть надежда. Рихард облизал внезапно пересохшие губы:

“А если я сейчас уеду? Прямо отсюда, из Хемница? В Веймар, например, – там Лист готовит постановку моего “Лоэнгрин”, а?”

Зять сверкнул на него белесыми глазами. Откуда в этих блеклых глазах могла вспыхнуть такая жаркая искра?

“Раньше надо было думать. Тебя схватят на границе, на каждой пограничной станции есть твоё описание”.

“Что же мне делать?” – прошептал Рихард непослушным, заледеневшим вдруг языком.

“Я бы мог вывезти тебя в своей коляске, – начал зять и замолчал, давая время этим словам проникнуть в душу Рихарда вместе с произнесенным, но явно услышанным “но”.

“...но?” – продолжил за него Рихард.

“...но я не могу этого сделать без твоей помощи”.

“Чем же я могу тебе помочь?” – спросил Рихард, предчувствуя недоброе.

“Ты можешь помочь мне арестовать твоих дружков, – отрубил зять без обиняков и быстро добавил, не желая слушать возражения шурина. – Им уже не спастись, поверь мне, их все равно схватят, не сегодня, так завтра. Почему бы не сделать это моей заслугой? Подкинь их мне – и считай, что ты уже в Веймаре”.

“Но как же я?.. Ведь нельзя же! Ведь мне не простят”, – ужасаясь, залепетал Рихард, заплетаясь языком о непослушные слова.

“Да кто узнает? Мы обделаем это дельце шито-крыто. Ты только не болтай и все будет в порядке”.

И тут Рихард заплакал, – он вообще был скор на слезы, от счастья ли, от страдания, все равно. Бросив взгляд на его залитое слезами лицо, зять безошибочно поставил диагноз:

“Значит, договорились? – и заслышав шаги приближающихся женщин, поспешно заключил, – ты завтра утром отправляйся в Дрезден, а я послезавтра с утра буду ждать тебя в трактире “Голубой барабан”. Это как раз на полпути от Фрайберга, так что тебе не придется мотаться слишком далеко”.

Услышав, что Рихард намеревается вернуться в Дрезден, жена и сестра так дружно зарыдали, что Рихард нерешительно заглянул зятю в глаза, а вдруг тот передумает и позволит остаться? Но зять в ответ непреклонно повел головой вправо-влево – мол, выхода нет, надо ехать.

Рихард полистал воспоминания:

“Узнав, что я собираюсь обратно в Дрезден, все мои родные и близкие пришли в ужас”.

Это по сути была чистая правда, потому что родные и близкие и впрямь пришли в ужас. А полицейского зятя с волосатыми ушами и куриной гузкой рта Рихард вряд ли мог отнести к числу родных и близких. И дальше тоже было написано почти правдиво:

“Несмотря на все их попытки отговорить меня, я был тверд в своем решении отправиться в обратный путь, хоть подозревал, что по дороге встречу нашу боевую армию, в растерянности бегущую с поля боя. Но чем ближе к Дрездену, тем яснее становилось, что там еще тверды в намерении сражаться, а не отступить... Все дороги были перекрыты, так что в город можно было пробраться только окольными путями.

Когда я, наконец, добрался к вечеру до дрезденской ратуши, я был потрясен открывшимся мне ужасным зрелищем: на площади перед ратушей горели маленькие костры, то тут, то там выхватывая из сумрака бледные лица смертельно усталых людей, простертых прямо на холодных камнях. Но даже эта печальная картина померкла, когда я проник в ратушу, – там царили паника и смятение. Разве что Хюбнер сохранял еще какую-то способность к действию, но мне показалось, что лихорадочный огонь, полыхающий в его глазах, постепенно сжигает его изнутри. И только Мишель был спокоен и невозмутим, как всегда, хоть не спал уже несколько ночей...”

Рихард резко захлопнул тщательно переплетенный Козимой том. Никто никогда не узнает, какой болью наполнилось его сердце при виде Мишеля, которого он был обречен предать. Но было еще не поздно, Мишель еще мог удрать и затеряться в царящей вокруг суматохе. Еще не все было

оцеплено, не все границы перекрыты. И Рихард не поспешил на красивые слова, пытаясь убедить друга бросить все и скрыться – в конце концов, это была не его страна, не его революция. Но не такой это был человек, чтобы искать спасения в бегстве. За то и любил его Рихард, за то и любил.

Тогда Рихард обратился к Хюбнеру – не как к главе временного правительства, а как к единственному человеку, способному повлиять на Мишеля. Вглядевшись в его лихорадочно горящие глаза, в которых отчаянная решимость пересиливала страх, Рихард увидел, как трудно Хюбнеру сосредоточиться. Но тот все же взял себя в руки и постарался вслушаться в слова Рихарда. Осознав, что речь идет о судьбе Мишеля, Хюбнер на миг задумался, а потом, резко повернувшись на каблуках, молча направился по коридору в одну из комнат ратуши. Рихард побежал вслед за ним и успел проскользнуть в дверь, прежде чем она закрылась. В комнате не было никакой мебели, кроме брошенного на пол старого матраса, на котором полулежал Мишель.

Рихард полистал рукопись и нашел страницу, на которой он пересказал разговор Хюбнера с Мишелем. Он передал этот разговор весьма точно, если не считать того, что время и обстоятельства были слегка подтасованы. На прямой вопрос Хюбнера о целях его участия в восстании Мишель кратко пояснил, что у него нет никаких идей о форме нашего правительства и никакой заинтересованности в уличных боях в Дрездене в частности и в Германии вообще. Единственное, что вдохновляет его принимать участие в нашей исключительно глупой затее, это благородство и храбрость самого Хюбнера, которого предали почти все его бывшие соратники. И теперь, единожды приняв решение посвятить свою дружбу и верность столь самоотверженному человеку, он, Мишель, намерен идти с ним до конца, сколь бы трагичен ни был этот конец.

Слегка задетый восторженным отношением Мишеля к Хюбнеру Рихард понял, что спасти Мишеля невозможно, потому что тот ищет гибели. И словно в подтверждение этой мысли Мишель объявил, что, невзирая на полную безнадежность их положения, Хюбнер не имеет права приказать

людям мирно разойтись по домам – как в таком случае оправдать сотни жизней, уже отданных во имя восстания? И Хюбнер подчинился воле Мишеля – он отдал приказ всем войскам временного правительства начать отступление во Фрайберг.

Рихард не стал перечитывать все свои выдумки, описывающие следующий день, когда он нанял коляску с извозчиком и один отправился во Фрайберг. Он понимал, что какого-нибудь дотошного читателя этих страниц мог бы заинтересовать вопрос, зачем ему понадобилось встать ни свет, ни заря и, опережая других, помчаться во Фрайберг. Однако утешало, что каким бы дотошным ни был этот читатель, он не смог бы проследить путь Рихарда в трактир “Голубой барабан”.

Но к сожалению, он сам заметил теперь и другие несовершенные записи, сквозь строки которых ложь проступала более явно. Пожалуй, хуже всего выглядела сцена встречи Хюбнера и Мишеля с группой гвардейцев из Хемница, которые убедили их, что в Хемнице их ждут многочисленные соратники, готовые присоединиться к восстанию. Рихард наполнил эту сцену множеством избыточных подробностей, которые, не имея прямого отношения к делу, должны были подтвердить правдивость его рассказа.

“Мы своими глазами видели гвардейцев из Хемница, расположившихся на привал на склоне холма недалеко от дороги. Они послали своих представителей выяснить у Хюбнера, как обстоят дела. Получив от нас информацию о том, что революционные войска, отступив из Дрездена, по-прежнему тверды в своем намерении воевать до последней капли крови, они пригласили временное правительство расквартировать свою армию в Хемнице. Сразу после этого они вернулись к своему отряду и на наших глазах тронулись в обратный путь в Хемниц”.

Сейчас он увидел, что именно эта сцена может его разоблачить. Она была составлена неловко, явно в расчете на продолжение, которое бросалось в глаза на следующей странице:

“Мой зять-полицейский неохотно рассказал мне, что гвардейцы Хемница никогда не были на стороне восставших и отправились в Дрезден против своей воли с единственной целью – перейти во время боя на сторону пруссаков. Встретив по дороге Хюбнера, отступающего из Дрездена, они уговорили его расквартировать свои войска в Хемнице и заманили в ловушку. Вернувшись к себе, они силой заставили городскую стражу покинуть свои посты у ворот и заняли их места, готовые арестовать временное правительство сразу по его прибытии в Хемниц”.

Рихард поморщился – если хотели арестовать сразу, так почему не арестовали, а дали добраться до отеля и лечь спать, как он сам рассказал двумя абзацами раньше? А он-то, он куда глядел, что не заметил этого несоответствия, когда диктовал эти страницы Козиме?

Но ведь это было так давно, двенадцать лет назад. Откуда ему было тогда знать, что Мишель, измученный семилетним одиночным заключением в страшном подземелье петербургской крепости, подробно опишет все обстоятельства, предшествовавшие его аресту? Откуда ему было знать, что Мишель черным по белому напишет, что именно он, Вагнер, уговорил их с Хюбнером ехать в Хемниц?

## **МАРТИНА**

Примчавшись во Фрайберг, Вагнер немедленно отправился в дом Хюбнера, чтобы попрощаться с Мишелем. Возникает вопрос: откуда он примчался, если присутствовал при встрече Хюбнера с гвардейцами из Хемница? Может из ресторана “Голубой барабан”, где он встречался со своим зятем Вольфрамом, начальником полиции Хемница?

## **ВАГНЕР**

Рихард остался в гостиной наедине с Мишелем. Они сидели на диване, намереваясь обсудить какие-то подробности предстоящего дня, как вдруг Мишель замолк на

полуслове и, грузно откинувшись на спинку дивана, захрапел. Бросив на него прощальный взгляд, затуманенный непрошенной слезой, Рихард вышел из гостиной. Больше они никогда не виделись.

Когда Рихард выскользнул на затопленную повстанцами улицу, он был очень озабочен тем, как бы не приехать в Хемниц до того, как зять арестует Хюбнера и Мишеля. Нужно было не просто приехать намного позже их ареста, но вдобавок зарегистрировать этот поздний приезд в памяти надежных свидетелей, чтобы даже не возник вопрос о возможности его участия в таком грязном деле.

Для этого он сразу помчался на почту и нанял на целый день хорошую коляску с извозчиком. Коляска с извозчиком стоила целое состояние, но он никогда не жалел денег на важное и первостепенное. Потом он попросил извозчика въехать в тихий тупичок, затерянный вдали от выезда на Хемниц. А сам побежал следить за тем, как развиваются события.

То, что случилось тогда, описано слишком подробно, причем придумано все неумело, неловко, до конца не додумано и записано с прорехами, которые прямо напрашиваются на сомнение:

“Хюбнер отдал войскам приказ выступить в Хемниц сразу после обеда. Услыхав это, я сказал Хюбнеру, что поеду вперед них и встречу с ними в Хемнице завтра утром. Мне вдруг захотелось сбежать из этого хаоса и побыть одному. Мне повезло, и я занял место в почтовой карете, которая по расписанию должна была немедленно отправиться в Хемниц. Но сразу на выезде мы попали в ужасный людской водоворот, потому что вся дорога была запружена революционной армией, которая тронулась в путь. Ждать пришлось очень долго и я стал наблюдать за шагающими мимо патриотами.

Особо привлек мое внимание Вогтландский полк, марширующий традиционным шагом под барабанный бой, сильно украшенный тем, что барабанщик для разнообразия бил палочками не только по натянутой коже, но и по деревянной раме барабана. Мучительный перестук палочек барабан-

щика напомнил мне перестук костей болтающихся на виселице скелетов, который Берлиоз со страшным реализмом воспроизвел в финале “Фантастической симфонии”.

Все эти неуместные подробности были продиктованы им для отвода глаз, чтобы никто не усомнился, что он и впрямь сидел в почтовой карете, застрявшей в пробке по пути в Хемниц. Но ведь ему нужно было еще раз отметитья во Фрайберге, чтобы жене Хюбнера стало ясно, что он все еще не добрался до Хемница. И он стал сочинять новые подробности, ему самому теперь казавшиеся странными:

“Внезапно меня охватило страстное желание повидать своих друзей, которых я зачем-то покинул, и отправиться в Хемниц вместе с ними. Я выскочил из кареты и побежал в ратушу, но там их не было. Тогда я поспешил к дому Хюбнера, где меня встретили сообщением, что он спит. После чего я вернулся к своей почтовой карете, чтобы еще раз убедиться, что она по-прежнему не может тронуться с места из-за запрудивших дорогу войск.”

Господи, какая несурзаца! Так и бьет в глаза, что тут один кусок не стыкуется с другим. Сперва решил отбыть в одиночестве, а потом зачем-то побежал не только в ратушу, но и домой к Хюбнеру. Но уж раз решил ехать вместе с друзьями, так дождался бы, пока они проснутся! Зачем было возвращаться к застрявшей в пробке карете, если войска продолжали выходить из города?

“Некоторое время я нервно метался по улицам, а потом, отчаявшись уехать в карете, опять помчался к дому Хюбнера, в надежде, что он возьмет меня с собой. Но Хюбнер и Бакунин уже отбыли, и я, как ни старался, не смог их догнать”.

Надо же, Хюбнер с Бакуниным уже отбыли, несмотря на запруженную дорогу, а Рихард, бедняжка, застрял в этом проклятом Фрайберге и ни с места! Да кто в это поверит, если только даст себе труд прочесть?

“Так что мне не оставалось ничего другого, как вернуться к почтовой карете, которая наконец получила возможность тронуться в путь”.



## МАРТИНА

Он кажется позабыл, что зачем-то оставил в отдаленном тупичке нанятую на целый день коляску с извозчиком.

## ВАГНЕР

“После различных задержек и приключений я поздно ночью прибыл в Хемниц. Там я снял комнату в первой попавшейся гостинице и заснул, как убитый.

В пять утра я после нескольких часов сна вскочил с постели и поспешил к дому своего зятя Вольфрама, который был в пятнадцати минутах быстрой ходьбы”.

Тут Рихарду стало совсем не по себе. Зачем, спрашивается, понадобилось ему ночевать в отеле, если дом зятя, где его в волнении ожидали жена и сестра, находился всего в пятнадцати минутах быстрой ходьбы?

Видно, очень уж взбаламучена была его душа, когда писались эти строки – и тайной, которую надо было скрыть, и заботой о том, чтобы король не прознал про Козиму, а Козима про короля. Ну что он мог поделывать со своей судьбой, которая никогда его не щадила? Хоть удачи, хоть беды она всегда насылала на него скопом, так что руками не раскидать.

Но он не сдавался, старался выстоять, не рухнуть, ну, и ошибался иногда, – что тут поделаешь, все ошибаются. И исправить ничего нельзя. Несколько лет назад Козима красиво переплела два десятка копий этих воспоминаний и разослала всем друзьям и родным на хранение. Так что Боже упаси что-то переделывать – только внимание привлекать!

А может, все не так страшно? В конце концов, Рихард сейчас человек знаменитый, прославленный, а суда над ним никогда не было и никто его не допрашивал. Он тогда всех перехитрил и в 1858г. не согласился на суд, хоть за это ему было обещано разрешение вернуться в Германию. А он предпочел еще много лет оставаться бездомным скитальцем, но не позволил следователям копаться в подробностях своего участия в восстании, а главное, – в подробностях

своего бегства за границу. Эту страницу он продиктовал Козиме мудро и скромно:

“Рассказывая мне про арест Бакунина, зять сказал, что он очень обеспокоен моей судьбой, так как предатели-гвардейцы упоминали мое имя, утверждая, что видели меня под Фрайбергом в обществе мятежников. Зять считал, что меня спасло само Провидение, – ведь если бы я прибыл в Хемниц вместе со своими друзьями и оказался в одной гостинице с ними, меня бы наверняка тоже схватили.

При этих словах меня, словно молния, озарило воспоминание о том, как в студенческие годы я чудом избежал верной смерти во время дуэли с самым искусным фехтовальщиком нашего курса, и я на миг лишился речи от волнения. Видя мое состояние, зять внял мольбам моей обезумевшей от страха жены и согласился ночью вывезти меня в Альтенбург в своей полицейской коляске.

Дальше все уже было просто. Из Альтенбурга я в почтовой карете добрался до Веймара, где меня встретил мой друг Франц Лист”.

## МАРТИНА

Вот и вся история. Непонятно, какое мне дело до этого подонка Вагнера. Ведь я терпеть не могу его музыку.

Наверно, дело в том, что история с Бакуниным помогла мне понять, чем завлекли Вагнера герои его фантастических драм, нагоняющих на меня беспробудную скуку. Почему герои Вагнера так страстно стремились к смерти? Может, потому, что их, как и Мишеля, привлекала не сама смерть, а рискованная игра, вкус опасности и надежда выиграть. Они, рожденные от предков, тосковавших по солнцу в сумрачных германских лесах, могли ощущать истинный вкус жизни только на острие ножа, на краю пропасти, на грани гибели. А обыденное существование с его предсказуемой сменой времен года, завтраков и ужинов, ночи и дня нагоняло на них тоску и скуку. И именно эта особенность арийской души приводила Вагнера в трепет, как совершенно чуждая и недостижимая.

За эту страсть к игре полюбил он Мишеля, не знающего страха. Полюбил, назвал Зигфридом и предал. И не мог простить себе, что он, великий Рихард Вагнер, предал и погубил своего возлюбленного Зигфрида из простого подлого страха.

## ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ

Я решила вести этот дневник как только мы с девочками поселились во Флоренции. Италия, которую я вижу впервые, оказалась для меня тем, что я ждала: мне здесь неопишимо хорошо, ибо хотя действительность тут, как и повсюду, безрадостна, прошлое и природа дают возможность отдыха и утешения. Во дворце Питти, перед статуями Микеланджело и перед собором начинаешь ясно понимать, что благородные люди, стремившиеся создать идеальную жизнь, всегда были одиночками и что вообще прогресс всегда был чем-то весьма относительным. Это не способно врачевать раны современности, но, как всякая истина, эта истина успокаивает.

Мы провели во Флоренции несколько счастливых лет – Тата училась живописи, а Ольга, у которой вдруг прорезался красивый голос, брала уроки пения. Тате пришлось смириться с моей опекой: все же жить у меня было куда приятней, чем возвращаться в дом, которым заправляла Натали.

Ольга и я, мы ходим каждый день в виноградники на окружающих холмах и возвращаемся с грудой цветов, с анемонами всех расцветок, фиалками таких размеров и с таким ароматом, каких не бывает на севере.

Мы с Ольгой так полюбили Флоренцию, что выезжали только несколько раз в те города, где давали премьеры опер Вагнера. По правде говоря, до того, как его взял под опеку баварский король Людвиг, ни одна из его опер так и не была по-настоящему представлена. Оперный театр в Карлсруэ сделал попытку поставить “Тристана”, но после двух лет репетиций отказался от этой затеи – исполнение музыки Рихарда оказалось для них слишком сложным.

Однако нам неделя, проведенная в Карлсруэ, показалась подарком свыше: слушая каждый день репетиции одной и

той же сцены, мы все глубже проникали в глубину замысла композитора и все яснее различали тонкости музыкальных решений.

## МАРТИНА

Не могу удержаться, хочу перебить саму себя, чтобы рассказать комическую историю, случившуюся несколько лет назад в столице Аргентины Буэнос-Айресе. В Аргентину приехала из Германии труппа, исполнявшая нашумевшую в Европе постановку оперы Рихарда Вагнера “Тристан и Изольда”. В оперном зале собрались сливки культурной элиты Буэнос-Айреса. Все с нетерпением ожидали начала прославленного спектакля. Каково же было изумление хорошо осведомленной публики, когда она обнаружила, что всю сцену занимает огромная кровать, на которой, слившись в страстном объятии, лежит обнаженная пара любовников.

Все присутствующие в зале знали сюжет знаменитой романтической оперы Вагнера, посвященной страданиям любовников, которым злая судьба не позволила удовлетворить свою страсть. Немецкий режиссёр-авангардист – вот чёрт, никак не припомню его имя! – задумал воплотить на сцене не реальные подробности драмы, а образы, живущие в подсознании её героев. Поэтому все трагические арии и дуэты они исполняют в постели, непрерывно совокупляясь на глазах у зрителей.

Увы, провинциальная Аргентина еще не доросла до столичной изощренности европейцев, и потому с середины представления возмущенная публика начала кричать, свистеть и хлопать сиденьями кресел. Когда шум полностью заглушил музыку и пение, из-за кулис выбежал разъяренный режиссер, не ожидавший такого приема, – у себя в Европе он привык к восторгам и овациям. Его появление еще больше возбудило зал – некоторые фанаты музыки Вагнера ринулись на сцену с явным намерением набить морду осквернителю их кумира. Как известно, в Аргентине скрылось великое множество нацистских преступников, и потому естественно

предположить, что среди страстных поклонников Вагнера было немало урожденных немцев разных поколений.

Оскорбленный режиссер не растерялся. Он смело показал этим ископаемым провинциалам истинное лицо современной европейской культуры – он повернулся к залу спиной, спустил штаны и наклонился, чтобы им было видней.

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Там, в Карлсруэ, Рихард открыл мне причину чудовищного парижского провала его “Тангейзера”. Все дело было в том, что он нарушил священную традицию представлять обязательную балетную сцену в начале второго акта, а поставил ее в начале первого. Это привело в ярость членов аристократического жокейского клуба, которые посещали оперу только ради балетной сцены, потому что многие балерины были их любовницами. Во время первого акта в жокейском клубе подавали обед, и члены клуба были возмущены, что их вынудили из-за причуды композитора пожертвовать обедом. Они наняли большую группу молодых хулиганов, сорвавших представление воплями и свистом. Смешно и горько сознавать, от каких ничтожных причин зависит судьба художника!

Когда я рассказала в письме эту историю Искандеру, он ответил мне с легким раздражением: “Ты пущена, как волчок без компаса, по морю, по океану всех мнений. Везде благодная, вся в идеализме сороковых годов”.

Мне показалось, что он немного ревниво относится к моему восхищению Вагнером. И тем, что я прививаю это восхищение Ольге.

Но я не могу его осуждать, не могу на него сердиться – его жизнь превратилась в невыносимую драму из-за его чрезмерного благородства. Кое о чем я могу догадываться, кое-что узнаю из проговорок бедной Таты. Я стараюсь смотреть объективно на происходящее в этой столь любимой мною семье, но даже от самого объективного взгляда не может укрыться тот чудовищный разлад, тот неизлечимый надрыв, который внесла в дом Искандера Натали.

И из своего развалившегося дома, из которого сбежали все его дети, он еще пытается научить меня, как воспитывать этих детей, нашедших приют у меня!

“Ты должна понять, что классическое воспитание отжило свой век. Надо эмансипироваться от Олимпа – как мы уже эмансипировались от Голгофы”.

Единственным его утешением была еженедельная газета “Колокол”, которую он издавал в Лондоне вместе с Огаревым. Ее читала вся мыслящая Россия и даже сам император Александр Второй. Едкое заявление анархиста Бакунина, что не стоило уезжать из России, чтобы издавать газету для императора, по сути не имеет смысла: если бы Герцен посмел издавать такую газету в России, его бы посадили в тюрьму по приказу того же императора.

В 1863 году газету Герцена постиг жестокий удар. В тот год в Польше, которая с давних пор входила в состав Российской империи, вспыхнуло восстание, жестоко разгромленное могучей русской армией. Тысячи молодых поляков были убиты и повешены, десятки тысяч бессрочно сосланы в Сибирь. Но на отчаянные призывы Герцена к Европе о помощи восставшим полякам ответом была всего лишь молитва папы Пия Девятого о сохранности восставших детей католической церкви. И возмущение всей мыслящей России.

Стыдно признаться, но взрыв русского патриотизма был так велик, что вся мыслящая Россия перестала читать “Колокол”. Насчёт императора не скажу, – может быть, он и читал, но только ради него одного и впрямь не стоило издавать газету. И она умерла, скончалась скоропостижно – на неё больше не подписывались, её не провозили тайно через границу. Её пришлось закрыть.

Когда Искандер сообщил мне, что он закрывает “Колокол”, я написала ему: “Почетнее уйти вот так, чем упрямо продолжать, как Бакунин и подобные ему. Все, что они преподносят, – это старые, обветшалые идеи и фразы, они ничему не научились”.

## МАРТИНА

Даже в утешительном письме она не удержалась, чтобы не обругать Бакунина, хоть упоминание его имени было тут явно не к месту. Мальвида и Бакунин с первого взгляда невзлюбили друг друга. Герцен писал об их отношениях: “В своей взаимной ненависти они дошли до того, что стали испытывать друг к другу нежность”. Нежность Мальвиды к Бакунину сомнительна, но к Герцену очевидна – она всегда встаёт на его защиту, каковы бы ни были обстоятельства.

### ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ

Я написала Искандеру: “Ведь ты сказал нужные слова о том, что молодое поколение идет своим путем и старикам больше нечего ему сказать. Ты должен теперь, как мудрец, наблюдать за ходом вещей, которому ты дал такой мощный толчок. Ты свое дело сделал и теперь можешь отдыхать в Валгалле, куда собираются после жарких битв души достойных воинов”.

“Опять твой Вагнер! Без него ты теперь ни шагу”, – сердито отозвался Искандер. Я не стала на него обижаться, я знала, как ему больно видеть смерть своего любимого дедушки.

Но спустя короткое время, в 1864 году, боль от потери “Колокола” отступила перед другой, более страшной болью, ужасной, невообразимой. Его прелестные младенцы-близнецы, Лёля-девочка и Лёля-мальчик, неожиданно умерли от дифтерии, оба в один день. Просто невозможно себе представить два маленьких белых гробика, стоящих рядом на столе! Ужас, ужас, ужас! Бедный Искандер! Он растерял своих старших детей, – Саша безвозвратно сбежал в Милан под предлогом учебы, а за ним выпорхнули из родительского гнезда мои девочки, Тата и Ольга.

Ольга, конечно, моя любимица. Очаровательное существо, исполненное талантов и грации, но она нуждается в особом воспитании, ибо она не принадлежит к натурам, с которыми можно сладить при помощи обычной дисциплины. К

моей великой радости в последнее время я все больше сближаюсь с Татой; я никогда ее не любила так, как сейчас. Но с грустью замечаю, что она тоже постепенно отдаляется от отца.

А теперь он потерял и самых младших, осталась одна Лиза. И то нельзя сказать, что Лиза осталась с ним – обезумевшая от горя Натали похитила Лизу и сбежала от него. Она начала метаться по Европе, угрожая увезти Лизу в Россию, куда ему путь был заперт наглухо. Его спасло только милосердие императора, закрывшего дверь в Россию и Огареву, женой которого по-прежнему официально считалась Натали – а значит, и ей. Так что увезти Лизу в Россию ей не удалось.

И словно подтверждая, что судьба – всего лишь слепая лотерея, именно в 1864-ом, таком трагичном для Искандера году, взошла высоко в небеса звезда другого моего друга, Рихарда Вагнера, готового за минуту до того свести последние счета с жизнью. В тот год королем Баварии стал восемнадцатилетний Людвиг, с ранней юности помешанный на музыке Вагнера.

Первым королевским поступком Людвиг стал приказ срочно найти любимого композитора. И преданные придворные срочно нашли того в убогом номере убогого штутгартского отеля, где он прятался от кредиторов, и почти на руках привезли в Мюнхен.

Влюбленный король немедленно отдал все его долги и задумал построить специальный театр, чтобы осуществить постановку всех его опер. Для этого был приглашен знаменитый дирижер Ганс фон Бюлов.

За пять лет были поставлены четыре оперы “Тристан и Изольда”, “Майстерзингеры”, “Золото Рейна” и “Валькирии”. Мы с Ольгой ездили на все премьеры и очень подружились не только с Вагнером, но и с женой фон Бюлова Козимой. Каждый раз, когда мы приезжали в Мюнхен, она приглашала нас на обед или на ужин и с удовольствием выслушивала наши восторги. Но чем больше мы сближались с семьей фон Бюлова, тем более странными мне стали казаться отношения между супругами – они практически не общались, а если и говорили друг с другом, то только о Вагнере.



Король подарил Вагнеру виллу на озере Штарнберг и тот пригласил Ганса и Козиму погостить у него. По Мюнхену ходили слухи, что до приезда Ганса Козима провела там неделю наедине с Рихардом и через 9 месяцев родила дочь, которую называли Изольдой. А еще через два месяца фон Бюлов представил в Мюнхенском оперном театре оперу Вагнера “Тристан и Изольда”.

Похоже, мне суждено дружить с людьми, которые сами не знают, от кого их возлюбленные рожают детей – от них или от своих мужей. И даже роковое число детей – трое – тоже совпадает. Козима, уверяя мужа и короля, что обязана записывать под диктовку Вагнера заказанные ему королем воспоминания, месяцами жила в его вилле на Люцернском озере. И попутно с записью воспоминаний забеременела опять и родила дочь Еву – ее тоже, как и Изольду, назвали дочерью фон Бюлова. А когда Козима была уже на сносях третьим ребенком, на этот раз сыном, одна отвергнутая постановщиками оперы “Майстерзингеры” певица прорвалась на прием к королю и открыла ему известный всему Мюнхену секрет о детях Козимы.

Оскорбленный в лучших чувствах Людвиг отрекся от своего неверного возлюбленного и отменил назначенную ему щедрую ежемесячную стипендию, но от постановки подготовленных за долгие месяцы опер все же не отказался. Фон Бюлов был оскорблен гораздо меньше – он давно уже притерпелся к измене Козимы. А кроме того, ценил участие в грандиозном проекте “Оперы Рихарда Вагнера” больше, чем супружеское счастье, но все же не остался дирижером остальных мюнхенских постановок, а уехал в Берлин. Рихард был недоволен новым дирижером мюнхенской оперы. Он тоже покинул Мюнхен и отправился на поиски нового приюта, Козима последовала за ним. И я потеряла их из виду.

Но дружба с Вагнером не нарушила мою привязанность к семье Искандера, который расстался, наконец, с туманным Лондоном и попытался свить гнездо в Швейцарии. Я очень по нему скучала и позволила Тате уговорить меня поехать на встречу с ним и с Огаревым – первую после стольких лет разлуки. Моя бедная Оленька очень боялась этой встречи,

но к нашему счастью Натали отчудила новый фокус и опять куда-то сбежала, прихватив с собой Лизу.

Мы провели несколько недель в дружеском общении, хотя однажды к нам ворвался несносный Бакунин с какими-то нелепыми претензиями к Искандеру. Не знаю, чего бы он добился от Искандера, если бы не я – я так резко его осадила, что он притворился обиженным и удалился ни с чем.

Но, наконец, пришло время уезжать, тем более, что Натали вошла в разум и сообщила о своем скором возвращении. Наше расставание было прекрасно и одновременно печально; вечером, накануне нашего отъезда, мы пошли на дивное место, где снежные горы горели в вечернем сиянии, а в то же время луна серебрила волны быстрой Роны. Там мы долго сидели вместе, Герцен, Огарев, обе девочки (Тата и Ольга) и я, и молчали, Огарев тихо напевал Адажио из Пятой симфонии Бетховена, эту возвышенную мелодию отречения в шопенгауэровском смысле, и мы все чувствовали, что вряд ли опять соберемся все вместе.

И все-таки мы собрались вместе еще один раз, не зная, что он последний. Это случилось в конце 69 года, когда Герцены, наконец, обосновались в Париже. Искандер очень тосковал по Ольге и стал умолять ее приехать к нему хоть на пару недель. Ответ Ольги поразил не только его, но и меня. Она написала, что готова была бы подчиниться, но не может, потому что я для нее мать и подвергнуть меня беспокойству разлуки она не желает. И добавила довольно жестоко: “если я отвыкла от родительского дома – вина не моя”.

Искандер поведал мне об этой переписке почти со слезами: “Чем справедливее эта пилюля, тем труднее её проглотить”. А Ольге написал в тайной надежде хоть как-то пробудить в ней дочернее чувство: “Предположим, вина за это полностью лежит на мне, но итог от этого для тебя будет не менее горьким”.

Ольга, конечно, показала это письмо мне – она всегда всем со мной делилась, – и мне стало жаль моего дорогого несчастного Искандера. Как он ошибался, надеясь, что отчуждение от отца покажется ей горьким!

Она всю горечь уже перенесла в раннем детстве, проведя два ужасных года под одной крышей с Натали. И никогда не сможет простить отцу страдания тех лет.

Я решилась на отчаянный поступок – я согласилась сопровождать Ольгу в Париж, несмотря на всю невыносимость для меня оказаться под одной крышей с Натали. Как я и ожидала, ничего хорошего из этого не вышло. Искандер пришел в полное уныние, обнаружив насколько дочь отчуждена от него. Я, конечно, понимаю, какую роковую роль я сыграла во взаимоотношениях отца и дочери, но не раскаиваюсь, потому что его бродячая жизнь не сделала бы из Ольги то, чем она стала.

Но ему это было больно, он в отчаянии написал Огареву: “Она чужая, она никого не любит, кроме Мальвиды. Теперь я уже жалею, что выписал ее в Париж. Я кончу тем, что предложу им или ехать назад или нанять особо здесь квартиру”.

Он, как всегда, скрыл главную причину столь сильного несогласия в его доме – разрушительную роль Натали. Он упорно не хотел выносить сор из избы, даже в письмах к Огареву, прямому участнику и жертве этой драмы.

Мы с Ольгой застыли в нерешительности – уезжать или нет? И тут случилось ужасное, непредвиденное и невозможное: у Искандера внезапно открылась лихорадка и кашель, он весь пылал и через несколько дней скончался.

Я осталась в мире, в котором больше не было Искандера. Это не вмещалось в мое сознание – восемнадцать лет я жила в его тени. Я верно служила ему, я переписывалась с ним, я часто была с ним не согласна и спорила, он часто был ко мне несправедлив, но он был, был, был! А теперь его не стало и больше никогда не будет! Как же мне теперь жить?

## **МАРТИНА**

Бедная Мальвида – она внезапно оказалась в пустом мире, в мире без Искандера, которого так любила.

А в это время в далеком Санкт-Петербурге, который занимал такое ценное место в сердце Искандера, маленькая девочка Лёля фон Саломе похоронила свою любимую кошку и объявила, что Бога нет.

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Оказалось, что Искандер был несметно богат. Я, конечно, знала, что он человек не бедный, но размеров его богатства даже не могла себе представить. Часть наследства Ольги, полученная ею по завещанию отца, представляет огромную сумму. А ведь столько же, если не больше, получил каждый из его детей и наверняка еще больше досталось Натали.

Ольга заявила, что откажется от наследства, если я не соглашусь принять половину его в свое распоряжение. Она сказала: “Ты спасла меня, Мали. Если бы ты не увезла меня тогда из Лондона, я бы умерла. Ты заменила мне мать, ты создала для меня семью, ты научила меня всему, что я умею и знаю, ты сделала мою жизнь счастливой. Я хочу, чтобы ты больше никогда ни от кого не зависела, даже от меня”. Я попробовала упереться и не соглашаться на раздел наследства, но Ольга была упрямее меня, и я сдалась.

## **МАРТИНА**

А ведь все исследователи биографии Мальвиды фон Мейзенбург недоумевали, откуда у нее брались средства поддерживать писателей и философов, годами вести у себя в доме просветительные курсы для эмансипированных девиц и содержать в Риме престижный культуртрегерский салон. И никто не предположил, что все это делалось на деньги Герцена – а разве можно было бы найти лучшее применение этим деньгам?

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Я получила письмо от Козимы Вагнер – они с Рихардом решили обосноваться в маленьком франконском городе Байройт, чтобы создать там свой собственный театр. Она приглашала меня приехать к ним и помочь в обсуждении и планировании нового театра и нового дома, который они задумали там строить.

Но я не могла сразу поехать к моим дорогим друзьям, особенно дорогим после того, как я лишилась своей единственной семьи – после смерти Искандера его семья полностью распалась. Ведь она держалась вместе только силой его воли.

Я не могла уехать из Флоренции без Ольги, а Ольга ни за что не хотела покидать Флоренцию. Дело в том, что она влюбилась – не знаю, радость это или беда. Я уже давно с трепетом ожидаю, что это случится: ей скоро двадцать один год, она прелестна, грациозна, хорошо образована и свободно говорит на четырех языках. У нее красивый сильный голос, она много лет училась пению у отличных итальянских учителей. Ее не ждет ампула оперной певицы, она слишком богата, чтобы осложнять свою жизнь тяжелой актерской судьбой, но именно с пения все началось.

Наша приятельница сеньора Икс устроила музыкальный вечер на террасе своей виллы и пригласила Ольгу выступить перед гостями. Я так волновалась, что затаилась в гостиной, когда Ольга начала петь. И увидела из окна, как в середине первой арии на террасу поднялся из сада красивый молодой человек и замер на месте, потрясенный пением Ольги. После концерта сеньора Икс подвела ко мне этого молодого человека и представила его как французского профессора истории Габриэля Моно. Не успела я выразить удивление, что мосье Моно такой молодой, а уже профессор, как к нам подлетела сияющая Ольга. Она была прелестна, но меня сразу насторожила поспешность, с которой она рассталась с комплиментами восторженных слушателей якобы ради удовольствия обнять свою дорогую мать, как она обо мне отозвалась.

Профессор Габриэль Моно, рассыпая изысканные похвалы Ольгиному голосу, взял протянутую ею руку и так долго не отпускал ее, что мое горло стиснулось от дурного предчувствия. Конечно, это грех, назвать мое предчувствие дурным – что дурного во внезапной встрече молодых сердец? Но мое старое сердце затрепетало от страха потерять свою единственную любовь. Я сумела отбиться от Искандера, такого сильного и очаровательного, но я сразу поняла,

что от молодого француза, тоже сильного и очаровательного, мне отбиться не удастся. Да и нужно ли? Ведь я растила Ольгу для счастья. С той минуты, как в столовой Искандера я прижала к груди рыдающую крошечную девочку и она обвила мою шею мокрыми от слёз ручками, я посвятила ее счастью восемнадцать лет своей жизни.

Целый год, пока Габриэль собирал в архивах Флоренции материалы для своей книги о средних веках, я не могла покинуть Флоренцию, чтобы поехать к Вагнерам. И только когда он вернулся в Париж завершать работу над книгой, Ольга согласилась сопровождать меня в Байройт. К этому времени все уже было решено и назначена дата свадьбы. Должна признать, что они и вправду созданы друг для друга: у них все совпадает – художественные вкусы и круг интересов. Напрасно покойный Искандер всегда бранил меня за классическое образование, которое я даю Ольге – он мечтал бы сделать из нее математика или архитектора. А я воспитала ее так, как ей было свойственно: она – натура художественная и духовная. Именно такая жена нужна Габриэлю Моно.

После отъезда Габриэля мы с Ольгой отправились в нашу последнюю совместную поездку. И опять мне улыбнулась судьба, улыбку которой я возможно пропустила бы, если бы приехала к Вагнерам на год раньше. В их доме я встретила молодого профессора, – не истории, а философии, не француза, а немца – который заинтересовался не Ольгой, а мной, и на долгие годы стал моим любимым питомцем и близким другом. Его звали Фридрих Ницше.

Мы с Ольгой приехали в Байройт в мае, в самое сладкое время года, когда зелень листьев так безмятежно чиста, будто покрыта лаком. На следующий после приезда день Козима пригласила нас к чаю. Ольга помчалась в центр города под предлогом поиска цветочной лавки, где она якобы сумеет купить букет для Козимы, а на деле с целью заскочить на почту и проверить, нет ли весточки от Габриэля. Я не стала ее разоблачать, а спокойно отпустила одну – мне теперь предстоит научиться отпускать её одну все дальше и чаще, пока она однажды не улетит навсегда. И оставит меня в одиночестве.

Горничная открыла мне дверь, проводила в гостиную и попросила подождать, пока Козима отправит детей на прогулку. Стол уже был накрыт к чаю, и я устроилась в кресле у окна, положив на журнальный столик статью молодого друга Вагнеров Фридриха Ницше “Рождение трагедии из духа музыки”, посвященную анализу творчества Рихарда, которую Козима накануне прислала мне в отель с просьбой прочесть. Я с интересом прочла эту работу, приятно пораженная не только глубиной анализа молодого профессора философии, но и необычайной яркостью его стиля – его статью можно было бы смело назвать поэмой.

Козима задерживалась, и Ольги все не было и не было, так что я начала волноваться, не заблудилась ли она в незнакомом городе. Чтобы успокоить свое неразумное сердце, я сосредоточилась на красоте ландшафта за окном и стала наблюдать, как на севере природа медленно воскресает из ледяных объятий зимы. На юге в Италии природа не умирает, она представляется нам ребенком, который после короткого сладкого сна просыпается с улыбкой и снова начинает свою веселую игру, в то время, как на севере природа, действительно, превращается в труп и лишь после долгих мучительных усилий возвращается к недолгой жизни.

Я так погрузилась в эти размышления, что не заметила, как в гостиную вошел молодой человек и остановился у зеркала, старательно расправляя свои роскошные усы. Мой отец был генерал, мои братья служили офицерами в гвардии герцогства Гессен, и я отлично знала, какого внимания и усилий требует уход за усами. Причем, чем длиннее и замысловатее усы, тем больше сил и труда нужно приложить, чтобы содержать их в порядке.

А таких усов, как те, что украшали лицо незнакомого мне гостя Вагнеров, я не встречала ни у кого. И я подумала, что он человек пустой и тщеславный, потому что только пустой и тщеславный может позволить себе растить и Лёлеять такие пышные усы. Каково же было мое удивление, когда появившаяся, наконец, Козима представила мне его как профессора Фридриха Ницше, автора того самого восхитившего меня эссе о рождении трагедии.

Не успела я выразить Ницше свой восторг по поводу его статьи, как вбежала запыхавшаяся Ольга с букетом фиалок и стала извиняться за опоздание. По блеску ее глаз и вспыхивавшему на ее щеках румянцу я догадалась, что письмо от Габриэля ожидало ее на почте. И на секунду сердце мне кольнула острая невыносимая боль ревности – моя девочка уплывала от меня все дальше, все невозвратней. Будущая жизнь вдруг простёрлась передо мной мрачной пустыней без единого огонька надежды и интереса.

К нам присоединились еще две пары – как я поняла, архитектор нового театра и его помощник с женами. Горничная поставила на стол блюдо с яблочным тортом, но не с целым и круглым, как обычно принято, а с надрезанным и частично опустошенным. Козима, стесняясь, извинилась за такое нарушение правил – треть этого яблочного чуда пришлось отдать детям, которые ни за что не соглашались уйти гулять по парку, пока гости пьют чай с их тортом.

Я положила на блюдец ароматный яблочный треугольник и не успела его надкусить, как услышала странное позвякивание металла по фарфору. Обернувшись, я увидела, как профессор Ницше неуверенно водит лопаточкой по пустой части блюда в безуспешной попытке отыскать торт. Я заглянула в его несчастные глаза, затаившиеся за стеклами пенсне, и сообразила, что он почти ничего не видит.

“Вам помочь?” – спросила я робко, боясь его обидеть.

Но он не обиделся, а ухватился за меня, как за якорь спасения: “Да, да! Помогите мне, ради Бога, добраться до этого дивного торта, о котором я столько слышал!”

Я обратила внимание на обтрёпанные рукава его поношенного сюртука и подумала, что он не только почти слеп, но еще и ужасно беден. Мне внезапно открылся смысл его нелепо роскошных усов – это была его круговая оборона, он прятал за усами свою беспомощность перед жестокостью жизни.

И сердце мое рванулось ему навстречу. Мне захотелось пригреть этого беззащитного юношу – ведь для меня он был еще очень молод, всего на несколько лет старше моей Оленьки. И я сказала:



“Я нахожу очень точным ваш анализ творчества Рихарда. Вы уловили самые тонкие скрытые детали его музыки. Меня особенно восхитил эпилог, он очень поэтичен”.

Лицо Ницше озарилось благодарностью:

“Неужели вы прочли мою работу до конца? Никто не может ее дочитать, даже Козима”.

“Я бы дочитала с удовольствием, если бы не дети! – вступилась за себя Козима. – Они никогда ничего не дают мне доделать до конца”.

“Кто тут жалуется на наших деток?” – рявкнул от двери незаметно прокравшийся в гостиную Рихард.

Как только он сел к столу, беседа немедленно завертелась вокруг него. Он рассказал, как только что наново переделал давно написанную им сцену из “Валькирий”, напел основную мелодию, и все стали восхищаться. А о бедном Ницше с его замечательным эссе вовсе забыли, но он и виду не подал, что огорчился, а громко восхищался, как и остальные, – тех, кто не восхищался, на чай больше не приглашали.

“Я бы спел вам всю сцену, если бы кто-нибудь сел к роялю, чтобы мне аккомпанировать”, – предложил Рихард, вытащил из кармана несколько исписанных нотами листков и поглядел на Козиму.

“Нет, нет, только не я, – поспешно отказалась она. – Я упала и ушибла палец, гоняясь за детьми по саду”.

Рихард нахмурился, и я подумала, что она побаивается без подготовки играть его сочинения. Но не успел он рассердиться, как мой сосед вскочил со стула и бросился к роялю:

“Я охотно вас сопровождаю, – выкрикнул он, – давайте ноты!”

Я просто онемела от изумления – такая смелость, решиться прямо с листа играть музыку Вагнера самому Вагнеру! Но молодой философ отлично справился: он один раз пробежал пальцами предложенный ему отрывок и почти без ошибок саккомпанировал Рихарду, вызвав всеобщие аплодисменты.

“Божественно!” – воскликнул архитектор.

“Непередаваемо прекрасно!” – подхватила жена его помощника.

Я бы подумала, что они льстят Рихарду, если бы его музыка не была действительно божественной и непередаваемо прекрасной.

Рихард шутливо раскланялся: “Я понимаю, что ваши аплодисменты адресованы мне, а не Фридриху, раз моя музыка понравилась вам, несмотря на его чудовищные ошибки”.

Фридрих засмеялся вместе со всеми и, неловко раскланявшись, опять сел рядом со мной. “Где вы научились так мастерски играть на рояле?” – шёпотом спросила я,

“Это длинная история. Мой отец умер, когда мне было пять лет, и мама переехала со мной и сестрой к бабушке, в маленькую деревушку. Там была старая, заросшая плющом церковь с органом, почти заброшенная, потому что пастор много болел и службы случались редко. А в перерывах между службами ключ от церкви хранился в цветочном горшке слева от двери. Я научился ловко выуживать ключ из горшка, и часами играл на органе, спрятавшись в сумраке церкви”.

“Вы знали ноты?”

“В первом классе учительница пения обучила меня нотной грамоте. У меня не было нот настоящих музыкальных произведений, зато я пристрастился к импровизации. И поверьте, иногда получалось очень неплохо. Как-то дирижер местного хора, проходя мимо церкви, услышал мою игру и постановил отдать меня в музыкальную школу”.

Рихард постучал ложечкой о блюдце: “Что вы там шепчетесь, когда мы говорим о важных вещах?” И мы умолкли.

Говорили действительно о важном, о том, где достать денег на строительство нового оперного театра, отвечающего всем требованиям композитора. Рихард дважды обращался к своему бывшему покровителю, королю Людвигу Баварскому, а когда тот дважды отказал, он обратился даже к прусскому королю, но и тот не откликнулся. Рушилась заветная надежда Рихарда провести фестиваль в будущем году.

“Если этот театр будет построен, каждый камень там будет красным от крови Рихарда и моей”, – печально объявила Козима.

Мы расходились в горестном молчании.

“Можно, я провожу вас?” – спросил Ницше, и я с удовольствием согласилась.

“Вы не закончили рассказ о своем музыкальном образовании, – напомнила я. – И не объяснили, когда и как вы умудрились так рано стать профессором философии”.

“Увы, профессором философии я не стал, я всего лишь профессор филологии Базельского университета”.

“Но все-таки вы профессор, хоть и филологии”.

Он хотел ответить, но его перебила Ольга, которой надоело медленно следовать за нами: “Мали, можно, я побегу в отель? Мне еще надо написать пару писем”.

Я поняла, что ей надо написать одно письмо – Габриэлю, и не стала спорить, пусть бежит. Меня саму удивило, с какой легкостью я ее отпустила, еще вчера я стала бы возражать и волноваться, как она пойдет одна по темным улицам. Я и сейчас, конечно, буду волноваться, но уже не так безудержно, как раньше, – сердце мое начало смиряться с тем, что она уже не моя.

Я взяла под руку своего спутника, терпеливо наблюдавшего, как я прощаюсь с Ольгой, словно расставаясь с ней навсегда. А может, я и вправду расставалась с ней навсегда, пускай не сейчас, пускай даже не завтра, но навсегда.

“Так почему же вы стали профессором филологии, если учились в музыкальной школе?” – спросила я веселым голосом, способным заглушить рыдания сердца. И услышала в ответ:

“Это была не просто музыкальная школа, а церковная музыкальная школа. Она должна была сделать из нас церковных музыкантов. За каждое отклонение нас жестоко наказывали, и к концу учебы я понял, что никакого Бога нет. Я громко объявил, что Бог умер. Меня тут же исключили, а я задумался об устройстве мира и отправился на поиски философского объяснения своих сомнений.”

“Сколько вам было лет, когда вы объявили, что Бог умер?”

“Что-то около семнадцати”.

“Поразительно! Именно в этом возрасте я тоже взбунтовалась против церкви и отказалась от Бога!”

“Вы тоже? Я сразу почувствовал в вас родную душу! Неудивительно, что вы дочитали мое эссе до конца. В своих книгах и статьях я пытаюсь высказать все, к чему пришел, но никто не хочет их читать!”

Мы стали делиться впечатлениями о прошедшем вечере. Фридрих был очарован не только художественной атмосферой гостиной Козимы, но также обаянием и простой манерой великого композитора. Он рассказал мне о том, как впервые услышал музыку Рихарда в Лейпциге, куда тот приезжал концерттировать, и как он пробрался за кулисы, чтобы высказать Рихарду свой восторг, а тот неожиданно пригласил его приехать погостить у него в Трибсхене. Так началась их дружба.

Мы так заговорились, что не заметили, как неспешно прошли всю дорогу до моего отеля. Нашу беседу прервал тревожный крик Ольги. Она стояла на балконе и вглядывалась в темноту:

“Мали, что случилось? Тебя так долго нет, что я уже стала волноваться и собиралась бежать тебе навстречу”.

Горячая волна радости обожгла мне горло – она меня не покинула, она за меня волновалась! Но я ответила ровным голосом, словно в моем поведении не было ничего необычного:

“Все в порядке, просто я немного увлеклась беседой с профессором Ницше”.

“Ну и ну!” – воскликнула Ольга и ушла с балкона, хлопнув дверью. Кажется, мое объяснение ее слегка задело.

Ницше заторопился прощаться: похоже, он весьма чувствительный человек, и его смутил какой-то разлад между мной и моей девочкой.

“Я был очень рад с вами познакомиться, Козима мне столько рассказывала о вашем уме и вкусе. К сожалению, завтра рано утром я должен уехать в Базель, чтобы не опоздать к своей собственной лекции”.

Он повернулся уходить, но я, удивляясь сама себе, схватила его за рукав:

“Я не хотела бы, чтобы вы исчезли из моей жизни, в которую вошли так дружественно и значительно. Пришлите мне все, что вы написали. Я обязательно прочту и честно выскажу вам свое мнение”.

Когда я вернулась в наш номер, Ольга уже сидела на краю кровати в ночной сорочке и заплетала волосы в косу.

“В чем дело, Мали? Почему ты так задержалась?” – спросила она, не поднимая глаз.

“Ты знаешь, бедный профессор Ницше почти слепой. Ему было трудно находить дорогу в сумерках”.

“Ты все-таки чудо, Мали! – объявила Ольга. – Всегда находишь на улице несчастного котенка, который нуждается в твоей помощи”.

Я не обиделась, мне была приятна ее ревность.

## **МАРТИНА**

Мне кажется, начинается новая глава в жизни Мальвиды, глава, которую можно озаглавить “Открытие Фридриха Ницше”. В 1872 году, когда она впервые встретила в доме Вагнера самого молодого профессора Германии, бедного, полуслепого и никому не известного, он уже написал несколько книг, вошедших впоследствии в золотой фонд европейской культуры. Но в то время никем не востребованных и не читанных. Признание пришло к нему слишком поздно, и он, бедняга, никогда о нем не узнал. Вот что я выписала из предисловия к одной из его книг: “До сих пор не вполне ясно, принадлежат ли работы Ницше перу гения, безумца – или гениального безумца? Ясно одно – мысль Ницше, парадоксальная, резкая, своенравная, по-прежнему способна вызывать восторг или острое раздражение. А значит, старению она неподвластна”.

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Свершилось: вчера моя Оленька вышла замуж. Свадьба прошла прекрасно, по всем правилам хорошего тона – Оленька в подвенечном платье была обворожительна, жених смотрел на нее с обожанием, гости были довольны угощением. Мой новый милый друг Фридрих сыграл на рояле специально написанную им для этого случая музыкальную пиесу «Monodie a deux» или «Монодию для двоих» и пре-

поднес молодоженам коленкорovou папку, отделанную фиолетовым муаром, с вытисненной золотом надписью. Вложенные в папку ноты были им собственноручно записаны 6 марта 1873 года как свадебный подарок его другу Габриелю Моно и моей ненаглядной Ольге к дню их бракосочетания. Он очень растрогал меня этим изысканным подарком.

## **МАРТИНА**

Подумать только – коленкоровая папка, отделанная фиолетовым муаром, с вытисненной золотом надписью и с вложенными в папку нотами, собственноручно записанными их автором, безвестным профессором филологии Фридрихом Ницше! Тогда, в марте 1873 года, эта папка даже не стоила денег, истраченных на её покупку безвестным Фридрихом Ницше. А теперь, недавно подаренная музею Герцена потомком Ольги Герцен, она, небось, бесценна!

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

К вечеру гости разъехались, молодые отправились в свадебное путешествие и я осталась одна. Безнадёжно, окончательно и совершенно одна.

Как мне жить дальше? За прошедшие пятнадцать лет я не расставалась с моей девочкой ни на один день, а теперь рассталась навсегда. Она тоже боялась разлуки и умоляла меня переехать вместе с ней в прекрасный родовой дом семьи Моно в Версале, но я твердо отказалась – я не хочу быть при ней третьей лишней. Я не хочу чувствовать, что вошла в комнату некстати, не хочу мешать их интимным беседам, не хочу страдать от уколов ревности при виде их близости.

А я ревную! Мне стыдно признаться – да, я ревную! Я растила её для счастья, я счастлива, что она счастлива, и все же тяжело признать, что моя миссия окончена и я ей больше не нужна.

Оставаться во Флоренции я не могла – за каждым поворотом мне мерещилась Ольга, каждая улица напоминала мне о наших прогулках, даже стены моей любимой квартиры

давили меня памятью о невозвратных счастливых днях, ушедших навсегда. И я решила покинуть Флоренцию, которая столько лет была отрадой моего сердца.

Была отрадой, а стала отравой. Ольга, конечно, уговаривала меня переехать в Париж, чтобы быть с нею рядом, но я и от этого отказалась. И задумала поселиться в Риме.

Не только потому, что парижская сутолока мне не по душе, – я могла бы с ней примириться ради радости видеть Ольгу хоть раз в неделю, но была еще одна причина, вынудившая меня предпочесть Рим. За год, прошедший со дня моего знакомства с Фридрихом Ницше, я очень с ним подружилась. Я прочла все его книги, которые никто больше не хотел читать, и высоко оценила остроту его мысли и свойственный только ему изящный стиль ее изложения.

Но главное – я всей душой прониклась состраданием к этому необычайно одаренному и глубоко одинокому юноше. Потому что он очень молод, ему всего двадцать семь лет, и его семья отреклась от него, не в силах примириться со смелостью его воззрений. Он болен, почти слеп и нуждается в дружеской поддержке.

Его лучшие друзья Вагнеры слишком заняты своими проблемами, чтобы протянуть ему руку помощи. Я не виню их – я ещё со времен дружбы с Искандером обнаружила, что бремя забот растёт пропорционально величине личности, так что Вагнеры просто изнемогают под своим бременем. А моя личность невелика, и бремя моих забот позволяет мне добавить заботы о другом страдающем человеке. И я делаю это с радостью, потому что тогда моя жизнь обретает новый смысл.

Здоровье моего подопечного очень хрупкое, и ему необходим теплый климат, который можно найти только по южную сторону Альп. А я хочу, чтобы он приезжал ко мне как можно чаще, на все время, свободное от лекций и занятий со студентами в Базельском университете.

Я нашла в Риме отличную квартиру на улице делла Польвериере, удобную, просторную, с большой залой, отлично соответствующей моим замыслам. А пока я эти замыслы смогу осуществить, мне нужно было чем-то занять свою

душу, и я решила писать воспоминания. Я хорошо набила руку на воспоминаниях, год за годом переводя “Былое и думы” Искандера. Конечно, я ему не чета, но и меня жизнь не обделила, и мне есть что вспомнить.

Фридрих очень одобрил мое решение писать воспоминания, но я не сочла возможным показывать ему написанные главы – его стиль и язык столь блистательны, что я стесняюсь своей простоты и непритязательности.

Я иногда встречаюсь с Ницше в Байройте у Вагнеров, а иногда езжу проведать его в Базеле, и всегда стараюсь хоть разок покормить его досыта – мне кажется, что он недоедает из-за недостатка денег. Он посылает мне один за другим выпуски своей новой книги “Несвоевременные размышления”, я читаю их с увлечением и отправляю ему мои комментарии. Он порой принимает их, порой отвергает, но и то, и другое с благодарностью.

## МАРТИНА

Мне хочется рассказать, в чём основное содержание эссе Ницше “Рождение трагедии из духа музыки”, так потрясшего Мальвида при первой встрече с его автором. Честно говоря, я прежде всего хочу это сделать, чтобы прояснить идеи этого гениального безумца – или безумного гения – для самой себя. Потому что с первого взгляда трудно понять смысл этого труда. Несомненно, Ницше писал очень красиво, но страшно неупорядоченно, так что может быть не случайно его назначили профессором филологии, а не профессором философии.

В этом эссе, изданном в 1872 году, Ницше изложил свой взгляд на дуалистическую природу искусства. Утверждая, что древние греки нашли в искусстве противоядие от безнадёжного пессимизма, порождаемого бессмысленной реальностью, Ницше спорит со всей немецкой эстетической традицией, оптимистически трактовавшей древнегреческое искусство как гармоничное и светлое. Ницше же видит в греческом искусстве постоянную борьбу между двумя началами, между двумя типами эстетического переживания, которые он



называет аполлоническим и дионисийским. Он впервые говорит о другой Греции — дионисийской, трагической, опьяненной мифологией.

Аполлоническое начало, по Ницше, являет собой порядок, гармонию, спокойный артистизм, и порождает пластические искусства — живопись, архитектуру, графику, в то время, как дионисийское начало — это опьянение, забвение, хаос, экстатическое растворение личности в массе, рождающее непластическое искусство — прежде всего музыку. Особенно такую, как музыка Рихарда Вагнера. Осуждая все чрезмерное, непропорциональное, аполлоническое начало противостоит дионисийскому, как искусственное противостоит естественному. Тем не менее, эти два начала неотделимы друг от друга, всегда действуют вместе. Они борются, по мнению Ницше, в душе художника, и всегда присутствуют в любом художественном произведении.

При переиздании этого эссе в 1886 году Ницше снабдил его подзаголовком «Эллинизм и пессимизм».

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Я в отчаянии, душа моя полна скорби и ужаса. Горе мне, горе! Случилось нечто невероятное, невообразимое — маленькая дочка Искандера Лиза покончила жизнь самоубийством! Повесилась! Страшно представить — сунула кудрявую головку в петлю и оттолкнула ногами стул, чтобы грубая веревка впилась в ее нежную тонкую шейку. У меня даже мелькнула крамольная мысль — какое счастье, что Искандера нет в живых, и он никогда об этом не узнает.

Зачем, зачем она это сделала? Говорят, от несчастной любви к какому-то пожилому господину, который вполне годился ей в отцы. Не странно ли — в семнадцать лет? Мне кажется, что ее душа была подготовлена к самоубийству надрывной драмой ее детства. Я не могу не винить в ее смерти ее несчастную мать, превратившую жизнь всей семьи в сущий ад.

В доме Герцена все жили на краю пропасти, особенно дети. Вся эта ложь, вечные секреты, о которых все догады-

вались, вечные бегства и возвращения, вечные истерики и угрозы на фоне страшных эпилептических припадков Огарева, который считался ее отцом, – как они изломали её детскую душу! Страшно представить, что стало бы с Оленькой, если бы я не умыкнула ее из Лондона и не перехитрила бы Искандера, постоянно обещая вскорости ее вернуть.

А вот бедной Тате жизнь все-таки сломали! Совсем юной она сбежала от отца и Натали ко мне во Флоренцию, хоть меня недолюбливала с самого первого нашего знакомства. Я помогала ей, как могла, и старалась создать вокруг неё семейный уют, но она ревновала меня к Ольге, а Ольгу ко мне. Иногда она ездила проведать отца и всегда возвращалась из этих поездок хмурая и подавленная.

Как-то осенью у нее началось тяжелое нервное заболевание. Искандер примчался из Парижа во Флоренцию и застал дочь в полубреду. Он увез ее в Специю, к морю, в тишину, и постепенно привел в чувство. Правда, она не сразу пришла в нормальное состояние, но страхи прошли, и возвратился кроткий, светлый взгляд. Однако, с восстановлением памяти развилась у нее грусть и мрачное настроение.

Огарев однажды показал мне её письмо, написанное ему в том же декабре: “Вчера был день твоего рождения, милый, дорогой мой Ага, я думала о тебе, хотела тебе писать, но не удалось, голова моя не вела себя хорошо. Ты себе представить не можешь, какая у меня путаница иногда в мозгу. Я сама себя потеряла; я искала себя во всех веках и столетиях, во всех элементах; словом, я была всем на свете, начиная с газов и эфира, я была огонь, вода, свет, гранит, хаос, всевозможные религии... По минутам я очень страдала — сперва за других; всех мучили, а потом принялись за меня; сколько раз меня убивали, не перечесть!”

Я содрогаюсь при мысли о том, сколько страданий пришлось пережить этой девочке, так рано потерявшей мать и прошедшей через невыносимый ад герценовского дома. Она не в пример Ольге всегда очень любила отца, и его неожиданная смерть была для неё страшным ударом.

Но только-только он умер, как она стала мишенью злоумышленной атаки двух негодяев – гнусного хулигана Ми-

хаила Бакунина и его внезапного фаворита Сергея Нечаева, приехавшего из Москвы с целью раздобыть денег для подпольной организации, ставящей своей целью насильственное разрушение российской жизни.

Поначалу к ним присоединился наивный Огарев, всегда склонный думать о людях лучше, чем они того заслуживают. Он воображал, что вовлекает дочь своего покойного друга в святое дело пробуждения русского народа от многовековой спячки, которым всю жизнь занимался её отец. Ему и в голову не пришло, что хитрец Нечаев охотится не за наследием Герцена, а за его наследством.

Но Тата после нескольких встреч с бойким молодцем Нечаевым заподозрила его не только в том, что он признается ей в любви с корыстной целью, но даже в том, что он агент охраны. Она решила посоветоваться со мной, а я, зная, какой беспардонный вымогатель Бакунин, не усомнилась в справедливости её подозрений. После короткой отчаянной переписки с Нечаевым, взывавшим к её дочерней революционной совести, она окончательно в нём разочаровалась и категорически отказалась поддерживать с ним какие бы то ни было отношения.

И очень хорошо – через несколько месяцев его выслали из Швейцарии в Россию, где его приговорили к пожизненному заключению за убийство. Бакунин тут же от него отрёкся. Меня это нисколько не удивило, я с первой же встречи видела этого мерзкого Бакунина насквозь и знала, какой он подонок – несмотря на мои возражения, он, пользуясь благородством Искандера, сумел выманить у того большие деньги на свои пакостные делишки.

Но для бедной Таты вся эта коварная интрига была большим переживанием, – она пробудила в ней чрезмерную подозрительность и стойкое недоверие к людям. Какая жалость – ведь она начинала хорошо, была в юности доброй, полной сочувствия к другим!

## МАРТИНА

Конечно, Мальвида права – драматическая обстановка отцовского дома исковеркала всю Татину жизнь. Несмотря на

то, что она была женщина миловидная и состоятельная, она так и не вышла замуж и не завела ни любимого друга, ни детей. Несмотря на то, что у неё был хоть и небольшой, но все же заметный талант живописца, она не стала художницей, и в конце концов, посвятила жизнь увековечиванию памяти своего папаши, как она называла Герцена. Не спорю, это благородное занятие, но ему, по-моему, можно посвятить себя, только отчаявшись причаститься ко всем остальным радостям жизни.

А я, начитавшись премудрости Зигмунда Фрейда, нахожу объяснение судьбам Лизы и Таты. Может быть, в душе каждой из них, изувеченной невыносимо драматичными скандалами, распрями и ложью жизни родителей, образовалась пустота, оставленная беспощадной перетасовкой отцов и мужей. И в этой пустоте вырисовался идеальный несуществующий отец, которого нужно найти и полюбить во что бы то ни стало. Что по Фрейду можно назвать фиксацией на образе отца.

Лизин пожилой господин, из-за которого она наложила на себя руки, был примерно того же возраста, что Иван Сергеевич Тургенев, когда шестнадцатилетняя Тата пыталась завести с ним роман. Ее роман был так же обречен, как и Лизин, поскольку Тургенев был не в силах вырваться из железной хватки Полины Виардо даже ради юной прелести герценовской дочери.

Удивительно, что ни в одном русском источнике не упоминается этот юношеский роман Таты. О нем можно узнать только посетив усадьбу-музей Виардо и Тургенева под Парижем, где выставлены и Татины письма, и ее портрет, подаренный ею знаменитому другу знаменитого “папаши”.

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Потрясённая сообщением о мучительной смерти Лизы, я не могла оставаться дома: даже собственные стены давили меня. Я схватила шаль, выскочила на улицу и, не глядя по сторонам, быстрым шагом помчалась сама не зная куда. Улиц, по которым я бежала, я не замечала: перед моими гла-

зами мелькали картины из прошлого. Искандер как-то приехал во Флоренцию проведать Ольгу и, обуреваемый идеей сближения своих рассыпанных по миру детей, привез к нам девятилетнюю Лизу. Сближение детей не удалось, потому что Ольга страстно отталкивалась от дочери ненавистной ей Натали, но между мной и Лизой вспыхнула, как ни странно, слабая искра симпатии. Каждое утро перед завтраком она забегала в мою спальню поздороваться и была такая милая, такая ласковая, такая кудрявая! А теперь её больше нет и никогда не будет – понять это было невозможно.

Пробежав несколько кварталов, я заметила, что накрапывает мелкий дождик. Зонтик я не захватила, моя шаль промокла и волосы тоже. В поисках куда бы спрятаться, я зашла в маленькое кафе на углу и заняла единственный оставшийся пустым столик – похоже, не только меня дождь загнал под крышу.

Я заказала чашечку кофе и стакан лимонной воды и попыталась заглушить безумный перестук своего растревоженного сердца – оно трепыхалось у меня под самым горлом, словно хотело вырваться из груди на белый свет. Чтобы отвлечься, я принялась разглядывать сидевших вокруг посетителей кафе. Среди занятых разговором молодых и пожилых пар я заметила нескольких одиноких мужчин, углубленных в чтение беспорядочно разбросанных у каждого на столике газет. Все они были немолоды и прилично одеты – ясно было, что они пришли в кафе не для того, чтобы сэкономить пару монет на покупке газет.

И вдруг меня словно обожгло – они пришли, чтобы убежать от одиночества, чтобы подышать одним воздухом с другими людьми! Совсем, как я! И вся моя будущая жизнь предстала передо мной безлюдной пустыней. Нужно срочно что-то сделать, чтобы заманить в эту пустыню каких-нибудь людей. Чем я могла бы их привлечь? Увы, ни молодостью, ни красотой. Значит, только добрым отношением и заботой.

Я бросила на стол деньги за кофе и выскочила на улицу, не обращая внимания на морозящий дождик – всю дорогу я обдумывала, что написать Фридриху, чтобы он поскорее приехал в Рим. И, о чудо! Придя домой, я обнаружила его

письмо, лежащее на столике у входной двери. Дрожащими руками я вскрыла конверт. Фридрих сообщал, что здоровье его резко ухудшилось и он вынужден попросить в университете отпуск на год. Он понятия не имеет, как ему найти место, где он сможет прожить на выданную ему скудную пенсию. Сквозь строки я прочла в его письме страх перед будущим и невысказанную мольбу о помощи.

Не задумываясь, я тут же ответила на его письмо. Я предложила ему поселиться вместе, хотя бы на год, и пригласить его молодого друга, студента Базельского университета А. Бреннера. Я в тот момент еще не знала, где возможно найти пригодное для совместной жизни жилище, и обратилась за советом к Вагнеру, который отдыхал в это время в Сорренто. В ответ он написал, что неподалеку от его отеля сдается на год прелестная вилла Рубиначчи.

К этому времени Фридрих уже приехал в Рим, и мы с ним отправились в Сорренто. К нам присоединился приятель Фридриха, философ Поль Ре, приятный, хорошо воспитанный молодой человек. Мы встретились впервые несколько месяцев назад на фестивале Вагнера в Байройте, мы все были очарованы необычайной архитектурой театра и дивными, ни на что не похожими представлениями “Кольца Нибелунгов”. Поль Ре понравился мне сразу своей искренней серьезностью и трогательным вниманием к больному Фридриху.

По приезду в Сорренто мы попросили Вагнера проводить нас на выбранную им виллу Рубиначчи, которая сразу очаровала нас своей красотой и необычайным покоем, охватывающим душу каждого, кто туда входил.

Я тут же объявила, что немедленно готова снять эту виллу на год, но когда Фридрих услышал, сколько это будет стоить, он побледнел, задрожал и категорически отказался жить в таком дорогом месте. К счастью, Поль Ре, узнавши, что в вилле есть четыре спальни, тоже захотел к нам присоединиться и предложил мне заплатить треть цены за аренду виллы. Оказывается, он сын весьма состоятельного помещика и семья не жалеет денег для его благополучия. После короткого препирательства Фридрих согласился стать участником нашего предприятия при условии, что он тоже внесет

свою долю, пускай очень маленькую, но свою, – иначе он будет чувствовать себя бедным родственником.

Итак, в октябре мы вчетвером переехали в виллу Рубиначчи и провели там несколько счастливых месяцев.

Самому младшему из моих “мальчиков”, как их называет Вагнер, двадцать лет, самому старшему – тридцать два. Дни наши обычно складываются так: первую половину дня каждый проводит по своему усмотрению, потом мы все вместе гуляем, беседуем и спорим. Особенно часто я спорю с Фридрихом, спорю отчаянно, до хрипоты. Я не могу принять его обожествления “жизни” – для меня жизнь должна искать оправдания в духе, для него же дух должен оправдываться перед “жизнью”.

Когда я говорю, что главное счастье – помочь людям подняться до того уровня, до какого им дано подняться, он смеётся и отвечает:

“Главное счастье – научиться любить себя, чтобы оставаться верным себе и не терять себя. Из всех искусств это самое тонкое, самое мудрое, самое высшее и требующее наибольшего терпения».

Но я не вслушиваюсь в его афоризмы, а просто радуюсь, наблюдая, как он с каждым днем чувствует себя лучше и лучше.

По вечерам мы читаем вслух. Зимой вечера здесь дивные – небо чистое, тёмно-синее, усыпанное крупными звездами, внизу плещется море, утешая и утишая боль. Чаще всего вслух читает Ре, я почти всю жизнь страдаю глазами, а Ницше мучают головные боли. Читаем античных писателей – Геродота, Фукидида; читаем Вольтера, французских моралистов XVII—XVIII вв. и современных французских авторов; читаем Евангелие и лекции о культуре Греции, которые Ницше комментирует с точки зрения своей теории о её двойственном характере.

Особенно приятно, что все три моих мальчика – и Ницше, и Ре, и Бреннер, – читают “Былое и думы” Герцена в моём переводе и восхищаются как содержанием, так и стилем. Ницше удивляется, какую богатую жизнь прожил Искандер, как всё в его восприятии художественно преображено. Как

хорошо, ведь я всегда говорила Искандеру, что он не философ, а художник, а он надо мной смеялся. Я рада, что Ницше и Ре так его почитают. 21 января мы отметили годовщину смерти Искандера – я приготовила пунш, и мы молча выпили по стакану в его память.

В девять часов мы обычно расходимся по своим комнатам и каждый занимается своим делом. За эти месяцы Ре завершил свою вторую книгу “Происхождение морали”, а Фридрих начал писать книгу “Человеческое, слишком человеческое”. Они всегда не согласны друг с другом и отчаянно спорят, хотя мне иногда кажется, что их взгляды совпадают, только они этого не замечают, сосредоточиваясь на мелких различиях.

А иногда мы обсуждаем новое явление – неожиданную неприязнь Фридриха к Рихарду Вагнеру, совсем недавно обожаемому всеми нами. Особенно яростно мы спорим после того, как Рихард приходит навестить нас и громко, не слушая других, рассказывает о своих замечательных успехах и о своих страшных бедах. Успехи у него не выдуманные, а вполне достойные восхищения – на его фестиваль в Байройт приехали короли многих стран Европы и самые знаменитые композиторы со всех концов света. Но это не уменьшило его беды и не помогло ему вернуть большую часть денег, истраченных на постройку театра, на огромный оркестр, на роскошные декорации и на замечательных солистов. И всё же, мне кажется, что он преувеличивает свои страдания по этому поводу, ведь он смолоду привык жить не по средствам и по уши в долгах.

Последнее время эти рассказы и жалобы всё больше раздражают Фридриха, хотя все прошлые годы он был в восторге от каждого слова Рихарда, не говоря уже о каждой ноте его музыки. Меня очень удивляет такая странная перемена, мне даже кажется иногда, что Фридрих немного завидует успеху Рихарда, но я из любви к Фридриху гоню прочь это подозрение.

## МАРТИНА

Конечно, идеалистка Мальвида всегда была склонна смотреть сквозь пальцы на мелкие грешки своих любимчиков.



Но, возможно, была реальная причина перемены настроения Ницше: я недавно вычитала в воспоминаниях Лу Саломе, большой подруги Ницше, будто он написал оперу и отправил её на суд Вагнера, а тот безжалостно её разругал. Тут даже самый очарованный поклонник может рассердиться.

## ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ

Я не знаю, что и думать. Фридрих просто потерял голову от своей всё возрастающей неприязни к Рихарду. К счастью, с наступлением весны Рихард уехал в Байройт и не успел эту неприязнь заметить. Я надеюсь, что это временное помрачение ума вскоре у Фридриха пройдёт, и их возвышенная дружба не расстроится.

Наше милое содружество тоже постепенно начинает распадаться – я вижу, что самым молодым мальчикам, Бреннеру и Ре, уже наскучила размеренная затворническая жизнь на природе, им хочется вернуться к беспорядочным удовольствиям большого города, несмотря на их горячую дружбу с Фридрихом.

Оказалось, что я права: вчера мои мальчики сговорились и внезапно сорвались на север, совсем как перелётные птицы. И оставили меня наедине с Фридрихом. Я воспользовалась нашим уединением, чтобы прояснить мои с ним противоречия.

Я не принимаю его противопоставления избранных личностей человеческому стаду, хотя и мне не чуждо представление о “толпе” и “элите”. Но для меня духовная элита не отгорожена непреходимой чертой от остальных людей – ни в социальном отношении, ни в расовом, ни в каком другом. Путь к совершенству, путь к вершинам духа открыт каждому.

Но главный наш спор не об этом, а о Рихарде. Фридрих прочел мне отрывки из своей новой книги, которые привели меня в ужас. Он обвиняет Рихарда в самых злостных, по его мнению, грехах – в превращении искусства в чучело в угоду толпе и в оголтелом национализме. Он сказал:

“Во время байройтского фестиваля меня угнетала глубокая отчуждённость от всего, что меня там окружало. Я пронес в себе, как болезнь, свою меланхолию и презрение к немцам, на которых помешался Рихард”.

Я умоляла Фридриха не публиковать такую резкую критику Рихарда, но он был неумолим – в начале 1878 года книга вышла из печати. Хотя её прочли немногие, но Рихарду о ней тут же доложили, добавив, что на внезапную смену взглядов Фридриха повлиял его новый друг, философ Поль Ре. Узнав, что Поль Ре еврей, Вагнер пришёл в ярость – он запретил упоминать при нём имя Ницше, и в августовской тетради «Байройтских листов» выступил против своего недавнего любимца с очень агрессивной статьёй «Публика и популярность». Между бывшими друзьями навек пролегла непереходимая пропасть. Мне это так грустно, так грустно!

Зато дружба Фридриха с Полем Ре становится все тесней и надёжней. Ре заботится о больном Фридрихе, как о родном брате, и свою недавно вышедшую книгу «О происхождении моральных чувств» подарил ему с надписью: “Отцу этой книги с благодарностью от её матери”.

## **МАРТИНА**

Бедные они, бедные! Они даже не подозревают, что над их братским союзом уже нависла зловещая тень Лу Саломе, и что дружба их обречена.

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Солнце над Сорренто полыхает все ярче, всё горячее. Оно выгоняет бедного Фридриха с увитой виноградными лозами террасы и превращает его в узника четырех стен нашей виллы – он не переносит жару, его голова раскалывается от мучительной боли. В конце концов он говорит мне, что был бы счастлив вечно жить под моей крышей, если бы эта крыша не была так раскалена. Делать нечего, я вызываю фиакр, который увозит Фридриха с его книгами на железнодорожную станцию.

И я опять остаюсь одна. Моё одиночество невыносимо, ничто не может облегчить его, ни дивный воздух, ни плеск моря. Меня даже не утешают письма Фридриха, в которых он называет меня своим лучшим другом в этом мире и благодарит за дивную зиму в Сорренто. Я быстро складываю вещи, сдаю виллу и уезжаю в Версаль к Ольге, которая ждёт второго ребенка и давно зовет меня к себе.

## **МАРТИНА**

Однако в Версале Мальвида не задержалась. Ни любовь к Ольге, ни заботы об обожаемых внуках не смогли удержать ее надолго в уютном доме Моно. Она поспешила в Рим, где с головой окунулась в организацию давно задуманных ею специальных курсов для эмансипированных девиц. Нужно было подготовить и декорировать комнату для занятий, составить список приглашенных докладчиков и отдельно договориться с каждым о расписании лекций и семинаров. Все эти хлопоты были приятны Мальвиде, они скрашивали ее одиночество, заполняли её дни и отвлекали от грустных мыслей. Все было бы хорошо, если бы её не поджидал неприятный сюрприз.

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Неожиданно рядом с Фридрихом возникла младшая сестра по имени Элизабет. Я, собственно, всегда знала, что у Фридриха есть сестра и что зовут её Элизабет, но она представлялась мне не реальным человеком, а бесплотным символом всего, от чего Фридрих хотел убежать. Он даже как-то написал, что идея вечного возвращения больше всего пугает его опасностью повторной встречи с матерью и сестрой. Но до сих пор он успешно избегал встречи с ними, тем более, что они жили в далёкой деревне Наумбург и в его дела не вмешивались, раз и навсегда осудив его взгляды. Теперь, когда здоровье Фридриха ухудшилось, сестра решила покинуть Наумбург и поселиться вместе с братом, чтобы то ли за ним ухаживать, то ли за ним присматривать. Но поселиться

рядом с ним оказалось непросто, потому что он то и дело переезжает с места на место в поисках погоды, подходящей для его здоровья, вернее для его нездоровья. Бедный он, бедный, всюду ему то слишком холодно, то слишком жарко, и надзор сестрицы ему совершенно ни к чему.

Элизабет быстро сообразила, как ей быть, и уехала в Байройт, где, воспользовавшись положением сестры главного любимца, прилепилась к семье Вагнеров – она охотно нянчит их детей и бегаёт по городу с их поручениями. Там я её и встретила по приезду из Версаля. Она не понравилась мне с первого взгляда. Все в ней мне неприятно – острый, как клюв, носик, пронзительно чёрный косой глаз, ярко окрашенный рот, так не соответствующий ее черному монашескому одеянию, и нелепый головной убор, что-то среднее между чепчиком и монашеским клобуком. А главное, постоянная гримаса недовольства окружающими, всеми, за исключением боготворимых ею Рихарда и Козимы, через которых она соприкасается с миром избранных.

## ЭЛИЗАБЕТ

Меня очень беспокоит здоровье Фрицци, но я ничем не могу ему помочь, потому что он, как безумный, мечется из одного итальянского городка в другой и нигде не может осесть. Денег у него мало и он не может во время путешествий платить за моё жильё, а я тем более не могу. А главное, за ним всюду таскается его любимый дружок Поль Ре, противный, богатый и наглый. Он будто бы ухаживает за Фрицци во время приступов мигрени и даже платит за его отели. Не знаю, чего он от Фрицци хочет, но чего-то, конечно, хочет, иначе с какой стати бы он стал за Фрицци платить? И выходит, что я своему дорогому братцу совсем не нужна. А нужен ему этот отвратный Поль Ре, которого я терпеть не могу, сама не знаю, за что.

Тут на моё счастье Вагнеры узнали, что мне некуда деваться, и предложили мне поселиться в Байройте рядом с ними. И позволили мне почти каждый день приходить в их замечательный дом Винифрид, помогать им с детьми и ока-

зывать разные мелкие услуги. Я их обожаю, я готова служить им вечно, особенно я боготворю Козиму – она для меня образец идеальной жены и матери. Тем более, что оба они, и Козима, и Рихард, так ценят дружбу Фрицци, что даже меня греет тепло этой дружбы. Часто за чаем они пересказывают друг другу их самую любимую книгу Фрицци, очень сложную, как все его книги, что-то о греческих богах, Аполлоне и Дионисе, в которой он называет Рихарда Дионисом, и это очень, очень нравится Козиме.

Так было до вчерашнего дня, когда случилось ужасное событие, которое я не могу ни понять, ни объяснить.

Я только-только проснулась, и даже не успела причесться, как прибежал сын садовника Вагнеров и сказал, что Козима просит меня срочно прийти в Винифрид. Я решила, что она внезапно надумала поехать с Рихардом в театр и приглашает меня посидеть с детьми. Она часто ездила с Рихардом на репетиции – будто бы для того, чтобы прослушать новую сцену, а на самом деле чтобы не дать ему закрутить интрижку с очередной певицей, к чему он, к сожалению, очень склонен.

Я наспех оделась и, даже не выпив кофе, поспешила к Вагнерам. К моему удивлению Козима встретила меня на пороге, держа в руке небольшую книжку. Не впуская меня в дом, она гневно сунула книжку мне под нос и спросила: “Ты читала эту гадость?” Я осторожно отвела ее руку от своего лица и посмотрела на обложку: “Человеческое, слишком человеческое”, новая книга Фридриха Ницше.

Я спросила осторожно: “И что же такое мой братец написал?”

“А ты не знаешь?” – закричала Козима.

“Не имею представления. Он со мной своими мыслями не делится”.

Козима открыла книгу на заложенной ленточкой странице и ткнула пальцем в отчеркнутый красным абзац: “Так полюбуйся, какую змею мы пригтели в своём доме! Сколько лет он приезжал к нам хоть сюда, хоть в Трибсхен, и жил у нас, лицемерно притворяясь другом!”

С трудом различая мелкие буквы на желтоватой бумаге, я стала читать отчёркнутые Козимой фразы, но они были так ужасны, что я не могла поверить, будто их сочинил Фрицци. Не мог он обзывать Рихарда и его оперы такими страшными словами, просто не мог! Ведь он всегда восхищался Рихардом и называл его величайшим гением всех времен.

Я прошептала: “Наверно, это подделка, Фрицци не мог такое написать!” Я пошатнулась и, кажется, на миг потеряла сознание – мне представилось, что меня немедленно вышвырнут из дома Вагнеров и кончится моё счастливое благоденствие в лучах славы Рихарда. Мне так приятно было рассказывать знакомым, что я на-днях пила чай с Вагнерами, или гуляла в парке с их детьми, или ездила с Козимой за покупками на рынок. Все восхищались и завидовали мне. А теперь этого никогда больше не будет!

Но Козима не дала мне упасть, она подхватила меня одной рукой и встряхнула, как мешок крупы, – она такая высокая и сильная, на две головы выше Рихарда. “Ладно, – сжалилась она, – заходи и выпей кофе, ты ведь не успела позавтракать? А потом отправляйся в детскую, помоги няне одеть девочек. Мне нужно срочно собраться, чтобы ехать с Рихардом в театр, – сегодня будет прогон первого акта “Парсифаля”.

Я сидела за кухонным столом перед чашкой душистого кофе, не в силах проглотить хоть каплю, как вдруг в кухню явился Рихард. Я очень удивилась, потому что он терпеть не мог кухонные запахи. Он подсел ко мне и заглянул мне глаза:

“Тебе понравилось, как твой любезный братец меня расписал? Настоящий поэт – какие слова нашёл! А я, наивный, принимал его в своём доме как родного!”

Неожиданно из глаз у меня потоком хлынули слёзы, я начала бурно икать и биться головой об стол, так что чуть не опрокинула чашку с кофе. Рихард испугался, он схватил со стула посудное полотенце и попытался утереть мои слёзы.

“Перестань реветь! Лучше расскажи, ты когда-нибудь видела этого еврея, Поля Ре?”

Я так удивилась, что даже перестала плакать:

“Полю Ре еврей? Но он ничуть не похож!”

“Ты думаешь, что все евреи ходят в ермолках и шепелявят в слове шнелль? Так знай, что самые опасные те, которые говорят по-немецки лучше, чем мы с тобой!”

“Так Поль Ре еврей? Вот почему он сразу показался мне таким противным!”

“Умница! Я всегда утверждал, что мы испытываем отвращение к евреям, даже не подозревая, что они евреи!”

Тут Козима позвала Рихарда и он поспешно ушел. А я наконец отхлебнула кофе и даже откусила кусочек бутерброда – у меня отлегло от сердца. Я поняла, что Вагнеры меня не прогонят в наказание за проделки моего сумасшедшего братца, который попал в лапы гнусного еврея Поля Ре.

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Сегодня я получила письмо от Элизабет Ницше. Я удивилась, к чему бы это? Ведь она до сих пор никогда мне не писала, и я даже подумала, что это наверно Вагнеры попросили её отправить мне их письмо. Но письмо оказалось от нее самой, и было полно самой оскорбительной брани.

Она называет меня мерзкой сводницей за то, что я якобы свела ее прекраснодушного наивного брата с отвратным еврейским ублюдком Полем Ре, который, прикрываясь фальшивым дипломом доктора философии, совратил её дорогого Фрицци и замарал его чистую душу. Никогда, никогда у Фрицци и в помыслах бы не было поднять руку на высочайшего гения всех времен Рихарда Вагнера, если бы этот негодяй Поль Ре не воспользовался его болезнью, чтобы втереться к нему в доверие и нашептать ему в ухо оскорбительные обвинения в адрес его кумира.

В этом якобы нет ничего удивительного: по мнению Элизабет, евреи – гнусная раса, которая только и рыщет, как бы посеять раздор в благородных немецких душах. И потому в ужасной ссоре Вагнера с её Фрицци виновата я со своей якобы благотворительной виллой в Сорренто, где Поль Ре прикинулся другом Фрицци и нашел ключик к его сердцу.

Особенно нелепо это звучит если вспомнить, что именно Фридрих свёл меня с Ре и привёз его в Сорренто. Но это

была не последняя нелепость в письме Элизабет. Оно заканчивалось пространным требованием порвать всякие отношения с Полем Ре и вынудить Фрицци отказаться от недостойной дружбы с этим хитрым евреем, который настаивает его против великой немецкой культуры.

Я в сердцах порвала это гнусное письмо и выбросила в мусорную корзину, а потом пожалела – нужно было бы его сохранить, чтобы представить людям всю злобную мерзость натуры Элизабет Ницше.

## **МАРТИНА**

Мальвида не ошиблась: Элизабет Ницше до своего последнего часа пронесла в душе факел ненависти к Полю Ре и ко всей еврейской расе. Вот цитата из ее воспоминаний, представленных в 1911 году к Нобелевской премии по литературе, но, к счастью, её не получивших – в том году её перехватил у Элизабет драматург Морис Метерлинк.

“В конце концов Израиль ворвался в образе доктора Поля Ре, очень ловкого, очень скользкого, с виду обожающего Ницше и обслуживающего его, а на деле во всём его перехитрившего – их отношения это образец отношений еврейства и Германии в миниатюре”.

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Я, разумеется, не отказалась от дружбы с Полем Ре, а, напротив пригласила его читать лекции для моих курсисток. Вот уже два года мои римские курсы для эмансипированных девиц процветают, привлекая всё новых и новых слушательниц и вызывая негодование Элизабет Ницше. Она написала в каком-то журнале, что феминизм расцвёл в результате изобретения швейной машинки, раскрепостившей многих женщин от изнурительного труда белощвеек и подарившей им море свободного времени, которое им некуда девать.

Вряд ли хоть одна из моих курсисток стала бы белощвейкой, даже если бы Зингер не изобрёл швейную машинку, – все они барышни из благополучных семей, образованные и



хорошо воспитанные. Я с симпатией отношусь ко всем слушательницам моих курсов, но сегодня пришла записываться на курсы молодая девушка, которая сразу покорила моё сердце неповторимой смелостью суждений и силой характера.

Я не могла бы объяснить, как я с первого взгляда эти качества распознала, но я уверена, что не ошиблась. Дело не во внешности. Впрочем, внешность её поразительна, хотя нельзя сказать, что она очень хороша собой – у меня есть несколько курсисток куда краше и элегантней. Но она очень привлекательна и стройна, а взгляд её огромных серых глаз магически завораживает и завлекает.

Хоть зовут её Лу фон Саломе и немецкий у неё абсолютно чистый, без акцента, оказалось, что родом она из Санкт-Петербурга. Я заговорила с ней на своем ломанном русском языке, и она просияла, когда узнала, что я перевела на немецкий “Былое и думы” Искандера. Оказывается, она даже читала отдельные выпуски этих мемуаров, так что я почувствовала к ней ещё большее расположение. А когда я, заполняя её формуляр, спросила, какой она религии, она строптиво вздернула верхнюю губку над прелестными жемчужными зубами и объявила:

“Никакой! Я давно поняла, что Бог умер!”

“Вы читали Фридриха Ницше?” – ахнула я.

“Кто такой Фридриха Ницше? Первый раз слышу!”

Это неудивительно – ни одна книга моего бедного Фридриха пока не была продана.

“Так откуда же вы взяли, что Бог умер?”

“Сама заключила – из чтения и размышлений. Вас это возмущает?”

“Напротив, меня радует, что вы мыслите самостоятельно”.

“Чудесно! Меня тоже радует, что вы мыслите самостоятельно, дорогая Мальвида”, – самоуверенно ответила эта дерзкая девчонка, и я не смогла на неё рассердиться. Ни одна из моих девиц даже в мыслях не посмела бы назвать меня просто Мальвидой без фрейлин фон Мейзенбург, а Лу даже не запнулась – мое имя слетело с её язычка естественно и мило.

Хотя Лу фон Саломе опоздала к началу семестра, она мне так понравилась, что я тут же записала её на курсы и пригласила прийти на следующий день, чтобы прослушать лекцию Поля Ре.

## МАРТИНА

И тут началась настоящая карусель!

## ЛУ

На лекции и семинары Лу обожала приходиться с опозданием. Её появление было тщательно продумано – стоило ей отворить дверь и на цыпочках войти в аудиторию, как все головы поворачивались к ней. На лекцию Поля Ре она тоже пришла с опозданием. И хотя все обернувшиеся к ней головы были женские, опоздание оказалось очень удачным: тому, ради кого стоило выполнить этот трюк, не нужно было оборачиваться – он стоял к ней лицом. И как стоял, так и застыл с открытым ртом, прервав свою лекцию на полуслове. В тот же вечер он попросил разрешения проводить её после лекции домой.

И она охотно согласилась – она мгновенно почувствовала, что этот элегантный молодой человек может стать её другом на многие годы. После лекции и чая они долго шагали по ночному Риму, увлечённые процессом знакомства и взаимопонимания, растущего с каждой минутой. Так легко, так волшебным просто было поверять свои заветные мысли собеседнику, готовому боготворить каждое её слово. Не то, чтобы у неё был недостаток в боготворящих каждое её слово поклонниках, но ничьи восторги не находили такого звенящего радостью отклика в её сердце.

Часто, запершись в своей спальне, Лу рассматривала себя в зеркале, чтобы понять, что именно производит столь оглушительное впечатление на всех мужчин, поднявших на неё взгляд. Она отлично изучила свои достоинства и недостатки, но это знание ничего не объясняло. Оставалось предположить, что от неё исходит какое-то невидимое излу-

чение, покоряющее каждого встречного. Постепенно Лу привыкала к своей удивительной привлекательности и начинала всё более умело ею пользоваться.

Но молодого профессора философии с изящным, словно выточенным скальпелем профилем она не обольщала ни с какой заранее поставленной целью, она искренне делилась с ним всем тем, что накопилось в её душе за годы вынужденного молчания. А с кем, с кем ей было обсуждать свои бунтарские взгляды? Не с мамой же, которая бы упала в обморок, если бы узнала, что её строптивая дочь думает о моральных принципах общества, которые добропорядочной маме никогда не приходило в голову оспаривать? Или с похотливыми козлами, изводившими её в Цюрихе утомительно стандартными комплиментами? Что толку было открывать им свою мятущуюся душу, если заранее было ясно, как ониотреагируют? Они плотоядно разденут её мысленным взором и воскликнут “Гениально!” – в надежде затащить её в постель.

Поль, конечно, тоже не прочь был бы затащить её в постель, но для него это не главное, он восхищается игрой её ума не меньше, чем её стройными ногами, осиной талией и высокой грудью. И вообще Поль не такой, как остальные – он ко всему относится с серьёзным юмором, какого она до сих пор не встречала ни у кого. Может быть, дело в том, что он еврей? Он и не подозревает, что она об этом знает, он скрывает от неё своё еврейство – непонятно зачем. Ей безразлично, еврей он или христианин, ей нравится его острый иронический глаз и беспощадный язык.

Как остроумно он недавно сказал о Мальвиде: “Недостатки интеллекта люди часто принимают за достоинства души”. Стоп, стоп, – при чём тут Мальвида? Поль ни словом, ни взглядом не упомянул Мальvidу, это она, непочтительная Лу, ему приписала. Наверно потому приписала, что слова “достоинства души” навели её на мысль о Мальвиде, душа которой полна достоинств, а не потому что... Хватит, вовсе не потому! “Я нисколько не хотела бросить тень на интеллект Мальвиды, – остановила себя Лу, – я её обожаю. Благодаря ей моя жизнь в Риме так прекрасна и полна смысла. Меня

просто раздражает, когда она то и дело повторяет “мы должны”, “нам положено”, “наша задача”, и я не понимаю, кто такие эти “мы”. Я понимаю только, что Я должна, что МНЕ положено, и в чем МОЯ задача, и никаких МЫ. А кроме того я подозреваю, что она молчаливо осуждает мои ночные прогулки с Полем. Какое ей дело? А впрочем, может быть она осуждает наши прогулки вовсе не из-за недостатка интеллекта, а просто из ревности? Ей, небось, кажется, что я слишком завладела её ненаглядным Полем”.

## МАРТИНА

А Лу и впрямь завладела им настолько, что он без спроса отправился к ее маме просить руки её дочери. Мама, не подозревая, что корректный вежливый профессор философии – еврей, готова была согласиться: он казался ей хорошей партией для её строптивой девочки, которую она мечтала поскорей пристроить, пока та не натворила бед. Тем более, что мама рвалась обратно в Петербург, а Лу отказывалась уезжать из Европы – Европа пришлась ей по вкусу.

“Мама, – чуть было не брякнула Лу, – ты же знаешь, что я вовсе не намерена выходить замуж!”

Но успела сдержаться и сказать совсем другое, хитро продуманное и обнадеживающее маму: “Так уже сразу и замуж! Нужно к нему присмотреться, я с ним ещё не достаточно хорошо знакома. Ты езжай в свой Петербург, а меня оставь на годик здесь, в Европе. А через годик мы этот вопрос решим с полным пониманием”.

Слово “годик” Лу употребила, чтобы было неясно, год это, два или больше. И мама, притворившись, что поверила Лу, предпочла согласиться, прекрасно понимая, что её строптивую девочку увезти из Европы удалось бы только в кандалах.

В надежде в скором времени избавиться от материнского надзора, Лу готовилась осуществить давно задуманный ею план-вызов обывательскому обществу. Она уговаривала Поля поселиться с ней в одной квартире, однажды увиденной ею во сне, где они будут жить в платоническом интел-

лектуальном содружестве – читать и обсуждать прочитанное, бродя среди музыки, книг и цветов. Бедный Поль готов был на всё, на книги, цветы и платонические восторги, только бы оставаться рядом с ней. Неизвестно, чем бы завершился этот недопустимый по тем временам план, если бы на сцене не появилось новое действующее лицо – пока ещё непризнанный гениальный философ Фридрих Ницше.

## ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ

Я в отчаянии: Фридрих просто сводит меня с ума своими метаниями по Италии, ни в одном городке он не задерживается надолго, – везде ему плохо и неудобно. Я бы хотела, чтобы он приехал ко мне в Рим, но боюсь, что римский климат будет ему вреден. И всё же сейчас, несмотря на свои тревоги о его здоровье, я решила пригласить его сюда. Дело в том, что последнее время он больше, чем на ужасные головные боли, жалуется на своё беспросветное одиночество – ему не с кем обсудить безудержный поток своих радикальных идей. Он умоляет меня найти ему друга, с которым он мог бы делиться своими мыслями. И добавляет: а еще лучше – подругу.

И я задумала познакомить его с Лу. В каком-то высшем смысле она ему под стать, она способна его слушать и понимать: она такая начитанная девочка и полна разных бунтарских идей, даже для меня слишком смелых. Она может стать подругой Фридриха – хоть он очень суровый философ, он самый нежный, самый преданный друг. Я часто перечитываю дарственную надпись мне, сделанную им на титульном его последней книги: “Лучшую часть приношу я на алтарь той, кто был мне другом, матерью, врачом”. Перечитываю и плачу – мысль о его одиночестве нарывает мне душу.

А кроме того, признаюсь, есть у меня в этом замысле свой интерес – я надеюсь, что Фридрих сумеет встать между Лу и моим дорогим Полем, которого я люблю как сына. Мне больно видеть, что эта сумасбродка совсем вскружила голову бедному мальчику. Он смотрит на неё, как кролик на

удава, и готов выполнить любое её требование, самое идиотское, а таких у нее полно.

Поскольку Фридрих, опасаясь за свое здоровье, не очень рвётся в Рим, я стараюсь заманить его, расписывая Лу самыми яркими красками. Я пишу ему, что у нее тонкий ум, богато одаренная натура, отважный характер, что она непримирима в своих исканиях и что с детства в ней уже видна героиня.

## МАРТИНА

Интересно, откуда Мальвида узнала про героизм Лу, проявленный ею еще в детстве? Как я понимаю – только из рассказов самой Лу. Возникает вопрос – насколько можно верить рассказам Лу?

## ЛУ

Лу еще с вечера продумала свой наряд для предстоящей встречи с новоявленным гением Фридрихом Ницше. За последние три недели Мальвида все уши ей прожужжала, расписывая достоинства своего любимца, но Лу не очень-то доверяла ее похвалам. Она давно уже поняла, что Мальвида принадлежит к широко распространенному типу “верующих без Бога”. Они, признавая, что Бог умер, населяют пустующие небеса неким абсолютным метафизическим Идеалом, представляющим сумму вечных нравственных истин. Лу было очень смешно наблюдать, как эти люди гордятся смелостью своих суждений, даже не замечая, что просто заменяют одного Бога другим.

Стоя в одной комбинашке, Лу задумчиво перебирала бесчисленные платья, многоцветной вереницей развешенные горничной Ирмой вдоль продольных стен ее гардеробной комнаты. Какое выбрать – соблазнительное или строгое? Зачем, собственно, ей соблазнять одинокого неприкаянного философа? Чтобы угодить Мальвиде или просто так, для испытания своих чар?

“Лёля, ужин подан!” – позвала мама из столовой, нарушая ход ее мыслей.

Не отвечая, Лу сняла с плечиков и покрутила перед собой густо-синее платье с удлинённой талией и высоким глухим воротом. Платье благодарно зашуршало шелком и прильнуло к ее щеке, оно нежно благоухало чайной розой – преданная Ирма не поленилась развесить во всех углах гардеробной марлевые машочки с розовыми лепестками.

“Лёля, где ты? Суфле сейчас осядет и потеряет вкус!”, – крикнула мама с легким раздражением.

Раздражать маму не стоило, а то она еще передумает и потащит Лу за собой обратно Петербург.

“Уже иду!” – Лу поспешно набросила платье и залюбовалась своим отражением в зеркале. Платье оказалось в самый раз, и соблазнительным и строгим, – его синева бросала небесный отсвет на ее серые глаза, а его покроем подчеркивал изящество ее осинной талии.

“Куда это ты так нарядилась на ночь глядя?” – удивилась мама, когда Лу синей бабочкой впорхнула в столовую.

“Никуда. Просто примерила наряд для завтрашней встречи”.

“А что за встреча? С кем-нибудь стоящим внимания?”

“Не думаю. С одним неприкаянным философом, подопечным Мальвиды”.

“Так чего ради ты так расфрантилась?”

“Хочу доставить удовольствие Мальвиде”.

## МАРТИНА

Лу даже предположить не могла, что подробности этой встречи, вроде бы не стоящей внимания, будут упомянуты во всех книгах по истории европейской культуры девятнадцатого века.

## ЛУ

Результат испытания чар Лу превзошел все ожидания. Она предвидела что угодно, только не это. Ей представлялось, как старого отшельника, – он был на целых семнадцать лет старше ее, – отпугнет аромат ее духов, или, наоборот,

как его очарует блеск ее ума, но то, что произошло при встрече, было совершенно непредсказуемо. Лу знала, что ни в одну женщину он еще не был влюблен, а в его книжоноке, навязанной ей Мальвидой, она прочла, что любой человек слишком противоречив, чтобы быть достойным любви.

Однако как только она появилась в дверях базилики Святого Петра, где Поль Ре назначил ей свидание со своим другом, этот неуклюжий человек со странно закрученными огромными усами содрогнулся, словно сраженный молнией, и воскликнул: “С каких звезд мы упали в объятия друг друга?”

Она подошла ближе, непроизвольно отмечая изящество его кистей и необычный, обращенный внутрь себя, взгляд его полуслепых глаз. Удивительно, как он безошибочно рассмотрел ее своими почти незрячими глазами?

Фридрих Ницше заговорил. Несмотря на то, что голос у него был глухой, его насыщенная скрытым напряжением речь была полна магнетического очарования. Завороженная необычным ходом его мысли Лу быстро уловила ее мелодию и включилась в разговор в правильном ключе. Она уже знала за собой эту способность включаться в мелодику любого интересного ей собеседника – с Мальвидой, проповедующей противоположные Фридриху взгляды, она пела дуэтом таки же складно, как и с ним.

И хоть Лу была увлечена своим умением верно отзываться на радикальные пророчества нового поклонника, краем глаза она успевала следить за старым. Не вмешиваясь в их беседу, Поль скромно наблюдал за выступающими перед ним солистами. Ему было и больно, и радостно – он понимал, что может потерять внимание Лу, но его радовал восторг его друга, обычно печального и никому не интересного. Таким счастливым и одухотворенным Поль не видел его никогда. Он не говорил – он декламировал, он пел, он разливался соловьем, он открывал пленившей его девушке не только объятия, но и душу.

Но Лу вовсе не намеревалась броситься в его объятия. Дело было не в его странности и даже не в его чудовищных усах, дело было в ней самой – она вовсе не собиралась выходить замуж. Она действительно была увлечена смелыми



идеями своего нового обожателя, идеями, столь похожими на ее собственные, но выраженными гораздо лучше.

“Пусть Бог умер, – говорил он, – зато в самом человеке есть нечто, что может соперничать с Богом. Но для того, чтобы добраться до этого сверхчеловеческого в самом себе, человеку нужно проделать путь поистине героический, воспарить над своими слабостями, пренебречь людским презрением, призвать на свою голову страдания и полюбить их. Разве все, что дано душе, – глубина, таинственность, величие, – дано ей не среди скорбей, не в школе великого страдания?”

Он, как и Лу, восхищался упругостью души в несчастье, ее стойкостью при виде великой гибели, ее изобретательностью и мужеством в море отчаяния, ее способностью смиряться с бедами и извлекать из них пользу.

Все эти увлекательные дни Лу говорила только о своем новом гениальном друге. “Пока не еще признанном”, – возражала ей благоразумная мама.

“Ну и пусть пока не признанном! – дерзко отвечала Лу, – Я провижу будущее и уверена, что его ждет великая слава”.

А про себя добавляла: “И этот гениальный человек влюблен в меня!”

Наконец, мама не выдержала.

“Лёля, – обеспокоенно спросила она, – не слишком ли ты увлеклась своим новоявленным гением?”

“С чего ты взяла, что я им увлеклась?”

“Я же вижу. Каждый день бегаешь с ним по Риму, а по ночам не спишь”.

“Меня увлекает не он сам, а его удивительные мысли”.

“Надеюсь, ты не собираешься за него замуж?”

“Ну мама! Ты же знаешь, что я собираюсь выйти замуж за Поля!”

“А мне показалось, что Поль вчера приходил, чтобы сделать тебе предложение от имени своего усатого друга. Странное поведение для человека, за которого ты собираешься замуж!”

“А тебе не показалось, что я отказала Полю, а вернее, Фридриху, под самым смешным предлогом, какой только можно придумать?”

“Чт же это за предлог?”

“Как, про предлог тебе ничего не показалось?”

“Лёлочка, неужели ты думаешь, что я подслушивала?”

“Ну конечно нет, мама! Я ничего такого не думаю. Просто я свой предлог высказала Полю очень тихо. Я сказала ему, что выйдя замуж, я потеряю право на папину пенсию”

“Слава Богу! Я всегда знала, что ты у меня умница!”

“Знаешь что, мама? Давай уедем из Рима на пару недель!”

“Куда?”

“Напрмер, в Швейцарию, в какой-нибудь красивый уголок!”

“Пожалуй, это неплохая идея! Здесь становится слишком жарко и пыльно”.

“Так ты согласна? Тогда вели Ирме уложить мои платья”.

“Как – все?” – ужаснулась мама. От своей взбалмошной Лёли она могла ожидать чего угодно.

“Нет, нет, только черные!”

“Почему только черные? Разве мы собираемся на похороны?”

“Ах, мама, как тебе это объяснить? Я решила создавать свой образ. С сегодняшнего дня я буду носить только черные платья с высоким воротом – и такой я останусь в истории”.

“Ты уверена, что останешься в истории?”

“Непременно! Я поставила это своей целью. А значит, так и будет!”

## **МАРТИНА.**

И она действительно осталась в истории. Пусть в истории не остались ее философские опусы и объемистые романы, но остались бесчисленные свидетельства ее бесчисленных возлюбленных, по списку которых – от Ницше до Фрейда – можно изучать культурную историю Европы периода belle-eroque.

## **ЛУ**

Собравшись в дорогу с помощью верной Ирмы, мама спросила Лёлю:

“А как же твои поклонники? Так вот уедешь и безжалостно их покинешь?”

“Так вот уеду и проверю их любовь! Помчатся они за мной или нет?”

Они, конечно, помчались – бросили все дела, лекции, врачей, работу над книгами и трактатами – и устремились за ней, как трутни устремяются за взлетевшей в небо пчелиной маткой. Фридрих кротко попросил Лу поехать с ним в прелестный город Люцерн, живописно раскинувшийся у подножия снежных Альп. Ницше хотел показать Лу Трибсхен – виллу Рихарда Вагнера, спрятанную на берегу Люцернского озера за колоннадой высоких тополей. Он часто гостил на вилле Вагнера во времена их дружбы и был свидетелем то радостного возбуждения своего великого друга, то неожиданных всплесков его грозного гнева. Рассказывая Лу об этих незабвенных счастливых днях, взволнованный Ницше заговорил вполголоса и отвернулся, чтобы она не видела его лица. Потом внезапно замолчал, и Лу заметила, что он плачет.

“Зачем, зачем он порвал со мной? – воскликнул он сквозь слезы. – Ведь у него не было и не будет друга более верного, чем я?”

“А Мальвида рассказывала, что ты жестоко оскорбил Вагнера в своей книге и даже показывала мне страницы, посвященные резкой критике его опер”.

“Я – оскорбил Вагнера? Я, я, так его боготворящий? Какая нелепость! Я просто сказал правду о его творчестве!”

“Но, миленький Фридрих, кто любит правду о своем творчестве, если она не состоит из сплошных похвал?”

Поль Ре, которого не взяли с собой на прогулку к дому Вагнера, одиноко шагал взад-вперед по берегу озера, наблюдая издали за оживленной беседой своих друзей. И терзался ревностью. К кому? К Лу или к Фридриху? Кого он больше боится потерять, кто был ему дороже? И вдруг его осенило.

“Лу! Фридрих! – крикнул он во весь голос. -Хватит бродить вокруг чужой виллы! Мы опаздываем!”

“Куда мы опаздываем? – удивилась Лу. – Мы ни с кем не договаривались”.

Но все же взяла упирающегося Фридриха за руку и повела к пришвартованной у берега яхте, снятой Полем специально для поездки в Трибсхен. Поль, выросший на берлинском озере Ванзее, отлично управлялся с этим грациозным корабликом. Пока Лу с Фридрихом дошли до яхты, он не только успел вскочить на палубу и перебросить легкий трап к причалу, но и обдумать свой блестящий замысел.

“Куда же мы опаздываем?” – повторила Лу, помогая Фридриху ступать по трапу осторожными шагами – яхта покачивалась на волнах, ноги Фридриха беспомощно скользили на мокрых дощечках.

“Мы опаздываем в фотографическую студию!” – объявил Поль, сильным рывком втаскивая Фридриха на палубу. Тот покачнулся, но не упал, а с облегчением плюхнулся на скамью: “Что за новости? Зачем нам понадобилась фотографическая студия?”

“Я во время утренней пробежки заметил эту студию и спросил у фотографа, делает ли он групповые портреты. Он сказал, что делает и показал мне разные реквизиты, на которых мы можем расположиться. И я договорился, что мы зайдем к нему до закрытия”.

Все это было правдой, кроме идеи совместного группового портрета, которая пришла Полю в голову только сейчас. Идея понравилась Лу – она соответствовала ее цели остаться в истории.

“Групповой портрет – это интересно. Но почему нельзя сфотографироваться завтра?”.

“Завтра суббота, а фотограф еврей. Так что рассаживайтесь по местам и помчались в Люцерн!”

“А откуда ты знаешь, что фотограф еврей?”

“А оттуда, что еврей еврея узнает издалека”, – ответил Поль, впервые в присутствии Лу произнеся это запретное слово.

## МАРТИНА

Групповой портрет философского трио прочно вошел в историю. Его участники украсили композицию отсветом

своей славы, его композиция украсила фигуры участников указательными знаками “Ху из Ху”, и окончательно определила место каждого в культурном процессе того времени. А к нашему времени цена этой черно-белой фотки весьма беспомощного качества взлетела на недосягаемые высоты, обратнo пропорциональные этому убогoму качеству.

## ЛУ

Благодаря изобретательности Лу групповой портрет получился на славу, – он выглядит вполне достойным той славы, которая ему досталась. Фотограф предложил тройке друзей несколько грубо сработанных реквизитов, на фоне которых можно было бы сделать их романтический групповой портрет, – фотограф был уверен, что портрет им нужен именно романтический. Но Лу с ним не согласилась. Решительно отвергнув лихих скакунов и взбитые сливки облаков, она обнаружила в темном уголке студии небольшую тележку и придумала отнюдь не романтический сюжет с ее участием.

Вместо лошадей она впрягла в тележку своих готовых на все поклонников, а сама, вооружившись кнутом, уселась на место кучера. Еще сподручней было бы ей усесться на облучке, но, к сожалению, в тележке облучок предусмотрен не был. Лица затиснутых в оглобли философов несколько неестественно направлены не по ходу тележки, а вбок, словно они намереваются везти ее наискосок, да и Лу глядит не на несуществующую дорогу, а на стоящую справа камеру. Зато фотограф, смирившись с заменой пары лихих скакунов на пару ординарных господ в сюртуках, все-таки исхитрился и добавил в синеву небес несколько ложек взбитых сливок, а кнут Лу украсил небольшой гирляндой цветов.

Получилось шикарно. Восхищенная своим изображением Лу заказала двадцать отпечатков и отправила всем, кому могла, чтобы картинка осталась в памяти на века.

## ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ.

Я этого не ожидала, не ожидала, не ожидала! Я всегда думала, что Фридрих не способен влюбиться в женщину. Я не

раз его упрекала за его презрение к женщинам. Он написал совсем недавно: “Слишком долго в женщине были скрыты раб и тиран. Поэтому женщина не способна к дружбе: женщины все еще кошки и птицы. Или, в лучшем случае, коровы”. Я спросила, а кто я – кошка или корова? Он ответил: “Вы не в счет. Вы – самый близкий мне человек на свете”.

А теперь он нашел себе другого близкого человека и забыл все, что до сих пор было ему дорого. Теперь он вообразил, что самый близкий ему человек – эта своенравная девчонка, которую я сама ему подсунула. Он говорит с нею без конца, говорит, говорит, говорит, а она ему поддакивает – она большая мастерица поддакивать. Набор знаний у нее не так уж велик, но набор нужных слов вполне достаточный, чтобы обвести вокруг пальца такого простодушного младенца как мой дорогой Фридрих. Тем более, что произнося эти слова, она обволкивает его своим неотразимым взглядом, запутавшись в паутине которого он может перепутать солнце с луной.

Он, словно подражая Полю, смотрит на нее как кролик на удава, и готов выполнить любое её требование, даже самое идиотское. Месяц назад ей вздумалось без всякой причины прервать занятия на курсах и уехать из Рима в Швейцарию. И мои мальчики, как верные собачонки, помчались вслед за ней. Я даже грешным делом подумала, что она для того и уехала, чтобы они за ней помчались.

А сегодня я получила от нее конверт с самой отвратительной фотографией, какую только можно себе представить. Вернее, какую человеку в здравом уме совершенно невозможно себе представить: Поль и Фридрих впряжены в убогую тележку, а в тележке, сидит Лу и погоняет их кнутом. Она намеренно позирует так, чтобы бросалась в глаза ее тонкая талия, и выражение лица у нее одновременно жестокое и надменное. Поль безучастно глядит в камеру, как всегда стесняясь, что он еврей, хоть это вовсе не заметно, а Фридрих, исступленно напрягаясь, стремится неведомо куда – его окрыляет надежда на великую любовь.

Но я отлично понимаю, что никакой великой любви ему не предстоит – Лу не птица и не корова, а настоящая кошка, она

играет с ним как кошка с мышкой. Он такой хрупкий и ранимый! Я боюсь, что она его изувечит и ломает, и я не знаю, как его спасти.

Я вижу только один способ, которого сама стыжусь: нужно втянуть в это дело его сестру Элизабет. Она такая мерзкая, я ее терпеть не могу, но только она может его остановить на пути к пропасти.

Итак, решено: я сейчас пойду на почту отправлять Элизабет эту чудовищную фотографию! А потом начну собираться в дорогу – завтра я уезжаю в Байройт на долгожданный фестиваль Рихарда. Мое сердце замирает при мысли, что я, наконец, увижу и услышу “Парсифаль” от начала до конца.

## **МАРТИНА.**

Что ж, трудно упрекнуть Мальвиду за ее предательское поведение – ее молодые друзья, все вместе и каждый в отдельности, обидели и предали ее многократно. Они даже умудрились предложить ей быть при их интеллектуальной коммуне “пожилкой компаньонкой”. У нее даже горло перехватило от обиды – она всегда гордилась тем, что играет с ними на равных, а они, оказывается, считают ее пожилой компаньонкой! Она, конечно, отказалась от должности пожилой компаньонки, но обиду свою скрыла и, как ни в чем ни бывало, пригласила Лу сопровождать ее на байройтский фестиваль Вагнера.

Поскольку желающих посетить фестиваль было гораздо больше, чем мест в новом театре Рихарда, туда впускали только по приглашительным билетам, за которые нужно было платить огромные деньги. Полю приглашение не прислали, а Фридриху Вагнер лично запретил появляться в театре. Напрасно Мальвида, пользуясь положением близкого друга семьи, умоляла Рихарда позволить ее подопечному сидеть хотя бы на последнем стуле в последнем ряду. Но Рихард был непреклонен – в ответ на просьбы доброй подруги он грозно взвыл, затопал ногами и выскочил из комнаты, сердито хлопнув дверью.

У Ницше не осталось никакой надежды хоть краем уха услышать исполнение лебединой песни его недавнего кумира. Он был безутешен – все умчались в Байройт и оставили его в одиночестве в деревушке Таутенбург тосковать и грызть собственные локти.

## ЛУ

Лу прикатила в Байройт из Штиббе, берлинского имения Поля, где она гостила несколько недель, пока Фридрих навещал свою мать. Байройт показался Лу вполне заурядным немецким городком, хотя в глазах Лёли, привыкшей к мощным и неухоженным русским деревням, он выглядел бы роскошным. Но Лу давно перестала быть Лёлей, и не сразу поняла, почему Рихард Вагнер выбрал этот скромный городок для столицы своей империи. И только когда Мальвида показала ей ничем с виду не примечательный трехэтажный домик в центре Байройта, ей стало ясно, как это произошло.

За скромным фасадом скрывался крупнейший в Германии XVIII века придворный оперный театр, который Вагнер поначалу наметил сделать своим собственным. “Невероятная красота! – воскликнула потрясенная Лу, войдя вслед за Мальвидой в зрительный зал, напоминавший вывернутую наизнанку резную шкатулку из позолоченного дерева. – Зачем же ему понадобилось строить новый театр, если ему предлагали такую роскошь?”

“Затем, что здесь ужасная акустика. Архитектор о красоте заботился больше, чем о музыке”.

“А новый театр тоже такой красивый?”

“Ничуть. Архитектор нового театра больше заботился о музыке, чем о красоте. Хочешь, поедем прямо сейчас и посмотрим?”

“А нас впустят?”

Мальвида с лукавым видом вынула из сумочки голубой листок: “У нас есть письменное разрешение самого Вагнера! Поехали, я тебя ему представлю”.

Новый театр был построен за городом на пологом возвышении, носящем имя “Зеленый холм”. Внутреннее устрой-



ство театра поразило Лу, привыкшую к оперному залу в Санкт-Петербурге, где у ее семьи была постоянная ложа. В отличие от общепринятого театрального зала, по форме подобного лошадиной подкове с партером в центре и ложами по бокам, зрительный зал в театре Вагнера повторяет форму древнегреческого амфитеатра. Там нет ни лож, ни ярусов, ни балконов, ни галерей, а оркестр расположен под сценой и скрыт от глаз публики, чтобы он не отвлекал её от представления.

Подготовка к спектаклю была в самом разгаре. Группа рабочих сосредоточенно передвигала по сцене большие ярко раскрашенные пластины с изображением роскошных тропических зарослей.

“Никогда не видела оперный зал без люстры...” – начала было Лу, но ее прервал истошный вопль, донесшийся из-за кулис. Мальвида вздрогнула и уставилась на сцену, куда с криком выбежал крошечный человечек, таща за руку высокого молодого bruneta в заляпанном краской сером халате. Крошечного человечка Лу узнала сразу – это был сам великий Рихард Вагнер, только седой, а не рыжий, как на многочисленных портретах, украшавших стены римской квартиры Мальвиды.

Он сердито тыкал в одну из пластин, изображающую небо над зарослями, цепко стискивая руку высокого bruneta, а тот послушно кивал и даже не пытался высвободиться из хватки великого человека. Проглотив изрядную порцию начальственной ругани, brunet обернулся к рабочим и отдал короткий приказ. Рабочие возмущенно загалдели, а один из них неожиданно возразил по-русски:

“Это никак не пройдет, она же свалится на головы артистов”.

“Делай то, что тебе велят, Петька, и не спорь. Ясно?” – по русски ответил brunet.

“Кто это?” – удивленно спросила Лу.

“Главный декоратор фестиваля, Поль Жуковский”.

“Он русский?”

“Ты же слышишь, кто он. Сын знаменитого русского поэта, – пояснила Мальвида и добавила. – Боюсь, сейчас не время

тебя представлять. Подождем до вечера. Ты помнишь, что сегодня в семь прием у мэра города? Там я тебя и представлю”.

На цыпочках, чтобы не стучать каблуками, они двинулись к выходу. Уже у самой двери Мальвида спросила:

“А какое платье ты собираешься надеть на спектакль?”

“Черное, как всегда. Других у меня нет”.

“Ты с ума сошла! Все твои черные платья похожи на школьную форму!”

“Вы же знаете, что я избрала себе стиль на всю жизнь – только черные платья с высоким воротом. Других у меня нет”.

“Что значит – нет? Ты же привезла с собой в Европу роскошный гардероб”.

“Мама увезла его обратно в Петербург”.

“Что ж, поздравляю, в твоей черной форме тебя не впустят в зрительный зал. У Рихарда устав строгий – дамы должны быть только в вечерних туалетах”.

“Как же быть?”

“Не знаю, что тебе посоветовать. В Байройте ты вряд ли сумеешь за один день добыть вечернее платье”.

Лу прикусила губу и задумалась. Заметив, что в зале стало тихо, она поглядела на сцену и увидела, что Вагнер ушел за кулисы, а Жуковский расхаживает среди декораций, отдавая распоряжения рабочим. Решение пришло мгновенно. Шепнув Мальвиде: “Подождите несколько минут”, она быстрым шагом направилась к сцене.

“Павел Васильевич, – крикнула она по-русски. – Я умоляю вас о помощи!”

Жуковский обернулся, посмотрел на Лу и взгляд его застыл, как у рыбы, попавшейся на крючок. Когда папа ездил на рыбалку, он частенько брал Лу с собой, и она насмотрелась на глаза испуганных рыб, выдернутых папиной удочкой из воды. Не спуская с Лу зачарованного рыбьего взгляда, Жуковский подошел к рампе.

“Кто вы, прекрасная незнакомка?” – спросил он.

“Это моя студийка, Лу фон Саломе, – вмешалась по-немецки кстати подоспевшая Мальвида. – У нее есть билет на фестиваль, но нет вечернего платья”.

“И это вся проблема? Мы ее решим немедленно! – засмеялся Жуковский и перешел на русский. – Мадемуазель фон Саломе, вы можете приехать в театр завтра к девяти утра?”

“Конечно, могу”, – отозвалась Лу, слегка потрясенная произведенным ею впечатлением.

“Как ты узнала отчество Поля Жуковского?” – спросила Мальвида, когда они вышли из театра.

“Очень просто. В России есть только один знаменитый поэт с такой фамилией”.

## МАРТИНА

“Итак, еще один Поль”, – подумала Лу, загибая пальцы на левой руке. Она уже начала понимать, что одной левой руки ей не хватит.

## ЛУ

“Поднимите ручки, мадемуазель Лу, – проворковал Жуковский, перехватывая рулон бирюзового шелка у нее подмышкой.– Вот так. А теперь стойте ровно и не дышите”.

Затаив дыхание Лу следила, как он одним неуловимым взмахом ножниц отсек кусок шелковой ткани и сбросил рулон на пол.

“А теперь повернитесь лицом к окну. Боже, какая дивный изгиб талии!”

“Мы кроим платье или оцениваем мои достоинства?” – дерзко спросила Лу.

“И то, и другое. – Жуковский перебрал бирюзовый водопад шелка через плечо Лу и, ловко повернув ее лицом к себе, начал собирать податливую ткань в складки. – Если бы не ваши достоинства, стал ли бы я кроить вам платье за три часа до премьеры?”

Он опять покрутил Лу из стороны в сторону и объявил:

“Я одену вас в сари, как индийскую богиню. Вся публика будет потрясена”.

“Нет, нет! Великий Рихард Вагнер этого не одобрит, – испуганно воскликнула Лу, припоминая гневные речи Фридриха о вагнеровском национализме. – Лучше оденьте меня как фею сумрачных германских лесов”.

Жуковский упал на колени и стал подкалывать подол. “Добрую или злую?” – уточнил он и сам себе ответил: “Впрочем это не важно. Важно, что ножки у вас еще изящней, чем талия”.

“Милые мои, – взмолилась Мальвида, терпеливо наблюдавшая за созданием платья Лу, – хватит лопотать по-русски. Переходите на немецкий, чтобы я не подумала, что вы флиртуете”.

“Мы вовсе не флиртуем, – возразил Жуковский. – Я просто предлагаю мадемуазель фон Саломе выйти за меня замуж”.

“Это такая шутка?” – уточнила Лу.

“Нисколько не шутка, а вполне серьезно. Подумайте, сколько преимуществ – во-первых, вы будете со мной на передовой линии искусства, во-вторых, наши дети будут говорить и по-русски, и по-немецки”.

“Но я пока не собираюсь замуж...” – начала Лу, но откуда-то из темноты грянул пронзительный гневный голос:

“Позор! Я сегодня же напишу брату, что его возлюбленная стоит нагишом перед чужим мужчиной!”

В мастерскую Жуковского ворвалась женщина неопределенного возраста – то ли девица, то ли старуха, – с острым птичьим клювиком над карминово-красным ртом, странно не вяжущимся ни с ее черной монашеской хламидой, ни с ее круглой шляпкой, похожей на монашеский клобук.

“Вы что, подслушивали под дверь, Элизабет?” – рассердилась Мальвида. Как она ни старалась, ей так и не удалось побороть в себе неприязнь к сестре Фридриха, она по-прежнему терпеть ее не могла, хоть и надеялась на ее сотрудничество. Как ужасно все перепуталось из-за новой причуды Фридриха, подумала Мальвида, – ей, благородной и порядочной, пришлось натравить отвратительную Элизабет на симпатичную Лу, которую она полюбила как родную. И преодолев себя, она улыбнулась через силу:

“Знакомься, Лу, это сестра Фридриха”.

“О, Элизабет, я так рада вас видеть, Фридрих много рассказывал о вас!” – расслаилась улыбкой Лу, словно не слышала злобных выкриков Элизабет. Упустив из виду, что сестра Фридриха не мужчина, она не сомневалась в силе своего очарования. И напрасно.

“Ты что, при живом женихе намереваешься выйти замуж за Жуковского?” – продолжала атаку Элизабет.

“Во-первых, я пока не собираюсь замуж, – пожалала плечами Лу. – А во-вторых, у меня нет никакого жениха”.

“А мой брат? Разве он не сделал тебе предложение?”

“Он-то сделал, да я ему отказала”.

“Ты отказала Фрицци? Почему же он написал мне, что собирается жениться?”

“Это вы у него спросите”

И Лу решительно повернулась к Жуковскому:

“Итак, в кого вы меня нарядите – в индийскую богиню или в германскую фею?”

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Меня охватывает ужасная печаль, когда я думаю о Фридрихе. Мы тут веселимся, кружимся в вихре света, особенно Лу, – я вижу, как она наслаждается, как упивается царящей здесь атмосферой праздника, – а он, бедняга, томится в одиночестве в далекой деревушке, где ему не с кем даже словом перемолвиться. Зачем, зачем он рассердил Рихарда, который так его любил, так его ценил? А ведь я его предупреждала, я умоляла его не публиковать свою злобную критику на “Кольцо Нибелунгов”!

Особено расстроила меня сегодняшнее появление Элизабет в мастерской Жуковского. Честно говоря, я почувствовала свою вину: несомненно именно посланная мною фотография так ее взвинтила. Ведь она взвинтила даже меня. Лу все еще не понимает, как велика может быть ревность сестры, отвергнутой ради молодой возлюбленной. Особенно сестры единственной и незамужней. Я не в счет – я никогда не ревновала своих братьев к их женам, возможно потому, что между нами не было той интимной связи, какая

с детства была у Фридриха с сестрой – они очень рано остались сиротами и брат заменил Элизабет отца.

Однако Лу продолжает уверять меня, что Элизабет питает к ней симпатию – она так уверена в своем обаянии, что не замечает язвительных выпадов разъяренной сестры ее друга. Боюсь, что их дружба обречена – Элизабет не упустит ни малейшего предлога, чтобы восстановить Фридриха против Лу. Небось, она уже отправила брату подробное описание возмутительной с ее точки зрения сцены раскрытия платья в мастерской Жуковского. Посмотрим, как он отреагирует!

## ЛУ.

“Садись же, наконец, Лу! – зашипела из соседнего кресла Мальвида. – Действие начинается”.

Хотя действие еще не начиналось – из оркестровой ямы доносились звуки настраиваемых инструментов, – но Мальвида заранее волновалась, как бы Лу чего не натворила. Она была права – Лу и не собиралась пока садиться. Во-первых, кресла были жесткие, деревянные, без обивки, да еще и откидные, а во-вторых, а может и во-первых, ей нравилось, что все на нее смотрят, особенно мужчины. Это было удивительно – в зале было полно нарядных дам в драгоценностях и в роскошных туалетах, но почти все взгляды были прикованы к Лу.

Конечно, ни на ком, кроме нее, не было платья, скроенного самим главным художником вагнеровского фестиваля, но, похоже, дело было не в платье. Она уже начинала к этому привыкать и даже этим наслаждаться, хоть сама ценила себя не за внешность, а за остроту и силу своего интеллекта. И поэтому всеобщее восхищение не вскружило ей голову.

Правда, она совсем забыла о Фридрихе, и, кажется, сейчас была даже рада, что его нет рядом и что он не угнетает ее своей ревнивой неотступностью. Вот о милом друге Поле Ре – Поле Первом, – она не забыла: она, как и обещала ему, записывает в дневник все события прошедшего дня. Поль совсем другой человек, терпеливый, заботливый и нежный, не то, что Фридрих, который думает только о себе. А Поль

всегда думает не о себе, а о ней. И поэтому она в конце концов примет приглашение Поля Первого, но не сразу, а, расставшись сначала с Полем Вторым, а потом и с несносным Фридрихом, к которому она поклялась приехать сразу после фестиваля. Вообще-то ее раздражает необходимость выполнять чужие требования и, подчиняясь чужим капризам, тащиться неведомо куда. На этот раз она выполнит обещанное, но потом с этим придется покончить – она будет ездить только туда, куда сама захочет и только с тем, с кем сама захочет.

Тут занавес к удивлению Лу начал медленно раздвигаться в стороны – такого она еще не видела. Дойдя до краев сцены занавес одумался и двинулся вверх, как в нормальных театрах. Грянула музыка, – такая громкая, что Лу сделала было рывок заткнуть уши, но вовремя одумалась и сдержалась, ощущая на себе взгляды многих глаз. Она понимала, что ей предстоит трудное испытание – она с детства была глуха к музыке и невыносимо скучала на оперных спектаклях в Мариинском театре, куда регулярно водили ее родители.

Она так и не призналась в этом Мальвиде, которая шумно радовалась, что ей удалось добыть для Лу билет на фестиваль. Лу несколько не беспокоило, что ее место оказалось последним в шестом ряду – или первым, смотря откуда считать. А поскольку в зале не было центрального прохода, в этом было даже некоторое преимущество: не нужно было протискиваться на свое место между креслами переднего ряда и коленями следующего.

Мальвида радовалась не напрасно – фестиваль и вправду оказался большим удовольствием, и Лу с восторгом окунулась в водоворот богемного коловращения, приемов, обедов, веселых завтраков и чудесных прогулок. Единственным отягчающим обстоятельством стала безумно длинная и скучная вагнеровская опера, ради которой этот фестиваль был затеян. Но все остальное было так прекрасно, так увлекательно, так головокружительно, что стоило пострадать несколько часов, притворяясь, будто бесконечно долгие речитативы и нелепые повороты сюжета доставляют ей невыразимое удовольствие.

И Лу терпела, стиснув зубы, пока не почувствовала, как в шею ей вонзается что-то острое. В первую секунду она чуть не вскрикнула, но сдержалась, а лишь провела рукой по обожженному болью месту. И хоть она не нащупала ничего, кроме собственной бархатистой кожи, пронзенный участок шеи продолжал саднить и жечь.

Стараясь не привлечь внимания Мальвиды, Лу осторожно обернулась в сторону источника непонятного беспокойства. За спиной была напряженная тишина и мерцающая темнота. И вдруг взгляд Лу натолкнулся на сверкающий глаз, излучающий такую ненависть, какой Лу не доводилось встречать до сих пор никогда. Она подавила нарастающую в душе панику и, откинувшись на жесткую спинку кресла, отвела взгляд обратно на сцену. Там летучая стайка девушек в розовом порхала среди непомерно крупных искусственных цветов.

“Надо спросить Поля Второго, из чего эти цветы сделаны”, – зачем-то подумала Лу, просто чтобы не думать о страшном ненавидящем глазе.

“Чудо, как прекрасно, не правда ли?” – беззвучно выдохнула Мальвида, благоговейно прижимая ладони к груди. К счастью, ее вздохи не требовали ответа, – она не сомневалась, что Лу восхищается спектаклем так же, как она. А Лу, потрясенная силой вызванной ею ненависти, напрочь потеряла нить сюжета и так и не сумела ее опять подхватить.

Но это было не важно, главное, нужно было, как только закроется занавес, опознать этот искрящийся злобой глаз. Опознать его оказалось нетрудно, потому что и после спектакля он продолжали яростно сверлить Лу. На этот раз прямо в лицо, потому что Лу сразу вскочила с места и повернулась спиной к сцене. Вся публика кроме нее, заходясь от восторга, неистово аплодировала, и только одна маленькая косая женщина в черном вечернем платье смотрела не на сцену, а на Лу.

“У кого я недавно видела эти косые глаза? – пронеслось в голове Лу. – Ах, да, вспомнила: эта особа с карминово-красными губами под монашеским клобуком – сестра Фридриха! Что с ней? За что она меня так?”

Опознала, отвернулась и тут же о ней забыла, увлеченная новым действием, происходящим на сцене.



## МАРТИНА.

И напрасно забыла, потому что в мире нет силы, более могущественной, чем ненависть. А ненависти Элизабет Ницше к Лу хватило на все последующие пятьдесят с лишним лет их жизни.

## ЛУ.

На просцениум, держась за руки, цепочкой вышли актеры и долго кланялись ликующей публике, а потом дружно обернулись направо и сами начали аплодировать. Зал взвыл еще громче. В ответ из-за кулис вышел Вагнер и тоже стал кланяться публике. Поклонившись несколько раз он тоже обернулся направо и размеренно захлопал в ладоши. Зал взвыл бы еще громче, если бы это было возможно, и две розовые девушки вытащили на просцениум притворно упирающегося Жуковского, очень красивого в расшитом золотыми нитями малиновом камзоле.

Вагнер подхватил Жуковского под локоть, вывел к рампе и поднял руку. Зал затих. За спиной Вагнера сначала раздвинулся, а потом пополз вверх занавес, открывая взгляду искусно подогнанную мозаику из декораций разных сцен оперы.

“Перед вами человек, который создал всю эту красоту!” – выкрикнул Вагнер, указывая на Жуковского.

Тут из глубины зала начали выбегать к сцене нарядные дамы и господа с букетами цветов в руках. Подойдя ближе, они бросали букеты на просцениум.

“Где они все время прятали букеты?” – спросила себя Лу, наблюдая, как крошечного Вагнера почти с головой засыпали цветами. Жуковский подхватил букет белых роз, сразбегу соскочил со сцены и, не отрывая глаз от Лу, стал протискиваться к ней сквозь обезумевшую толпу любителей Вагнера. Добравшись, наконец, до нее, он вручил ей букет.

“Это вам от всего сердца”, – продекламировал он по-русски и галантно поднес ее руку к губам.

“Лу! – упрекнула ее Мальвида. – Что ты ему позволяешь? Ведь весь зал за тобой следит!”

“Пускай следит, если ему так нравится!” – пожала плечами Лу и назло Мальвиде пошла с Жуковским за кулисы. Пока они поднимались по лесенке на сцену весь зал действительно за ними следил, – господа во фраках завистливо облизывались, дамы в роскошных туалетах нервно перешептывались, обмахиваясь веерами. В воздухе повис запах скандала.

## ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ

Вечером после спектакля ко мне ворвалась Элизабет и произнесла гневную речь о том, что Лу затеяла европейский скандал. Наверно она хотела сказать “скандал на всю Европу”, но я боюсь, что это преувеличение – Фридрих еще не такой знаменитый, чтобы похождения его предполагаемой невесты могли заинтересовать всю Европу.

Хотя, конечно, в Байройте откровенный флирт Лу с Жуковским вызвал много пересудов – здесь Жуковский достаточно для этого знаменит. По-моему, он вьется вокруг Лу всерьез, а она играет с ним, как кошка с мышкой. Это уже третий случай ее кошачьей игры у меня на глазах – она начала с того, что поработила Поля, потом свела с ума бедного Фридриха, а теперь нашла себе третью жертву. При этом мне кажется, что она ко всем своим поклонникам равнодушна, ей просто нравится чувствовать свою власть над такими выдающимися умами. Она упивается своей ролью извозчика, погоняющего кнутом запряженных в пролетку профессоров философии и художников. Но все ее игры еще очень далеки от европейского скандала.

Сегодня утром на прогулке по парку я встретила Жуковского – он спешил в театр подправить декорацию какой-то сцены для очередной репетиции. Рихард не щадит ни актеров, ни оркестрантов, – и после премьеры он изводит их многочасовыми репетициями. И не терпит опозданий. Но все же я осмелилась задержать Жуковского на минутку, чтобы спросить, зачем он так демонстративно афиширует свой интерес к Лу.

“Ваш откровенный флирт может бросить тень на репутацию молодой девушки. Тем более, что вы часто разговари-

вае между собой по-русски, а это усиливает впечатление интимности ваших отношений”.

“Дорогая фрейлен фон Мейзенбург, – обиделся он. – Я не могу бросить тень на репутацию очаровательной Лу. Я сделал ей предложение и собираюсь на ней жениться”.

Я спросила его, приняла ли Лу его предложение.

“Пока нет, но я надеюсь, что примет. Мне кажется, она меня любит”.

“Вы льстите себе, молодой человек. Лу любит только себя и свою свободу”.

“Все-то вы знаете!” – засмеялся Жуковский и зашагал по дорожке к театру.

Я смотрела ему вслед с сочувствием – пусть не все, но кое-что я знаю.

## МАРТИНА

Мальвида не ошиблась – Лу ему отказала, объяснив, что больше всего на свете она дорожит своей свободой. Сегодня она бы сказала ему: “Мечта миллионов не может принадлежать одному человеку” .

## ЛУ

“Нет, нет! Не может быть!” – воскликнула Лу, открыв телеграмму от Фридриха. Она не могла поверить своим глазам – он, который так умолял ее обязательно приехать к нему после фестиваля, он, который так жаждал хоть пару недель побыть с нею наедине, теперь телеграфно объявлял, что отказывается ее видеть. Она никак не могла понять, что с ним стряслось – ведь когда она согласилась навестить его в лесной деревушке Таутенбург, где он прятался от мира, он написал ей: “Теперь небо надо мной надолго стало безоблачным!” Какие же облака затмили ему солнце?

Он, правда, намекает на какой-то известный ему европейский скандал, но она никакого скандала не могла припомнить, а если такой и был, то при чем тут она? И почему из-за какого-то скандала, пусть даже европейского, он хочет

лишить себя ее общества, которым совсем недавно так дорожил?

Лу терпеть не могла, когда от нее чего-то требовали, но еще больше она не терпела, когда ей в чем-нибудь отказывали. Кроме того, она похвасталась многим в Байройте, что сразу после фестиваля отправляется на встречу с Ницше, вызывая этим, как ей казалось, всеобщее уважение. Ей льстило, что такие признанные авторы философских трактатов как Ницше и Ре ищут ее общества.

А теперь, как только распространится весть о том, что Фридрих не желает ее видеть, – а такие вести распространяются быстрее лесных пожаров, – она станет объектом жестоких насмешек. Как будут радоваться завистливые дамы, и без того готовые выцарапать ей глаза за внимание к ней Жуковского! Как будут хихикать за ее спиной их пустоголовые мужья, умирающие от зависти при виде красавчика Жуковского, ведущего ее под ручку!

Этого нельзя допустить. Ни в коем случае нельзя! И она решила действовать. Быстро, четко и безотказно, как могла только она.

Она немедленно отправила Ницше телеграмму, в которой красочно описала ту страшную боль, которую испытала, получив его отказ от ее приезда. И, утерев слезы, скромно вопрошала, чем она заслужила столь суровую немилость. При виде такого смирения сердце Ницше дрогнуло и он ответил, что ему больно от боли, которую он причинил ей. И он, так и быть, позволяет ей приехать к нему на пару недель. И она кротко согласилась приехать, хоть поклялась в душе, что больше это не повторится.

Мало понимая психологию женщин, Фридрих предложил Лу отправиться к нему в компании его сестры Элизабет. Худшего варианта он придумать не мог.

Жуковский все же пошел провожать Лу на вокзал, несмотря на ее твердый отказ выйти за него замуж. Пока носильщик вносил в вагон ее чемодан, она стояла в тамбуре и махала Жуковскому левой рукой, правой прижимая к груди подаренный им на прощанье букет белых лилий. Когда поезд тронулся, она задумчиво открыла дверь в купе, все еще при-

жимая к груди душистый букет, заботливо обернутый Жуковским в мокрую марлю и вставленный в большой стакан. Она вошла и чуть не упала, сраженная сверлящим взглядом Элизабет, затаившейся в полутьме вагона.

Не говоря ни слова, Лу поставила цветы на столик и опустилась на сиденье рядом с Элизабет. Хоть ей было неприятно напряженное соседство сестры Фридриха, это было лучше, чем, сидя напротив нее, то и дело встречаться с нею глазами. Так в полном молчании они доехали до Иены, где им предстояло назавтра пересесть на другой поезд, направлявшийся в Таутенбург.

Поднявшись с места, Элизабет потянулась за своей дорожной сумкой и как бы нечаянно смахнула букет на пол. Стакан разлетелся на мелкие осколки, и Элизабет, притворно покачнувшись, растоптала цветы каблуками.

“Ты мне за это заплатишь, подлая тварь!” – тихо сказала Лу по-русски. Опустив окно, она подозвала носильщика и быстрым шагом пошла за ним, оставив на перроне Элизабет с ее тяжелой сумкой.

Война была объявлена.

## **МАРТИНА**

Война была объявлена, но воюющие стороны, как Сиамские близнецы, были неразрывно связаны между собой. До того, как они отправились утром одним поездом в Таутенбург, им пришлось остановиться на ночь в заказанном ими зараннее номере иенского отеля.

Там разразился их первый бой.

## **ЭЛИЗАБЕТ**

“Какая наглость! Какое бесстыдство! – Элизабет яростно заскрежетала зубами, наблюдая из окна вагона, как эта русская дылда, прижимая к груди букет белых лилий, подает Жуковскому руку для поцелуя. – И это по дороге к моему дорогому брату, перед которым она будет притворяться недотрогой! Не могу понять, что мужчины находят в этой рус-

ской обезьяне? А главное, что нашел в ней мой бедный Фрицци, такой чистый, такой нежный, такой ранимый?”

В конце концов, она не выдержала и напрямик спросила русскую обезьяну, каким приворотным зельем оно опоила ее Фрицци, такого чистого, такой нежного, такого ранимого? Это было уже в отеле, где она вынуждена была спать в одной комнате с этой бесстыжей девкой, которая рассылает по всему миру мерзкую фотографию, порочащую Фрицци.

Услышав, каким чистым и нежным выглядит Фрицци в глазах его сестры, девка захохотала так громко, что огонек в газовом рожке замигал и чуть было не погас.

“Чистый, говоришь? Ну уж нет! – выкрикнула она, бесцеремонно переходя на ты. – Не ты ли в юности пробралась однажды в его постель, чтобы лишить его чистоты?”

Элизабет задыхнулась от возмущения – откуда она знает? Кто мог рассказать ей великий секрет, который знали только она и Фрицци? Небось, гнусный еврей Ре, много лет притворявшийся другом ее брата – наивный Фрицци вполне мог поделиться с ним своей тайной.

“Заткнись, гадюка!” – прохрипела она, сама пугаясь своего голоса.

Но гадюка и не подумала заткнуться.

“Я бы могла рассказать тебе кое-что о чистоте твоего Фрицци! Хочешь послушать?”

Элизабет картинно заткнула уши и завизжала как можно громче, чтобы заглушить противный голос русской обезьяны:

“Врешь ты все! Врешь! Хочешь его запачкать? Так не выйдет! Не выйдет! Не выйдет!”

И затопала ногами. И топала, топала, топала, пока снизу не постучали в потолок. Она испуганно затихла, руки ее упали вниз и сама она безвольно рухнула на постель, обесиленная собственным визгом. А Лу продолжала:

“Он делает вид, что говорит со мной о высоких материях, а сам все тянется прикоснуться ко моей груди. А когда я стою у окна, он подходит сзади, вроде хочет взглянуть через мое плечо, дышит мне в затылок и все норовит прижаться как бы невзначай.”

“Ты смеешь говорить такое о моем брате, о великом философе, который снизошел до тебя и одарил своей дружбой?”

“Знаем мы эту дружбу философов – все они делают вид, будто интересуются моими мыслями, а сами только и мечтают уложить меня в постель”.

Элизабет стало обидно до боли, что никто не интересуется ее мыслями и не мечтает уложить ее в постель. Она бросила в Лу подушку, не попала и зарыдала:

“Тебе не напрасно кажется, будто все только и мечтают затащить тебя в постель! Это твой мерзкий умишко тебе подсказывает, потому что не Фрицци старается затащить тебя в постель, а ты его”.

“Что я буду делать с ним в постели? Я могу провести с ним ночь в одной комнате и не почувствовать ни малейшего желания с ним переспать!”

“Зачем же ты к нему едешь?”

“Чтобы поговорить о высоких материях!”

“Едешь поговорить и не боишься погубить свою репутацию?”

“Это тебе нужна репутация, а я со своей внешностью как-нибудь обойдусь и без нее”.

## **МАРТИНА**

И она обошлась без. Вернее, она создала себе другую репутацию – репутацию смелой женщины, безнравственной, но неотразимой. Женщины, не подвластной общепринятой морали, не боящейся чужого осуждения и всегда остающейся в выигрыше.

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Тогда, в Байройте, я не поехала на вокзал провожать Лу в Таутенбург, потому что с нею поехал Жуковский. Все эти дни она вела себя возмутительно, – она открыто флиртвала с Жуковским, громко афишируя при этом свою власть над Фридрихом. Я чувствовала себя ответственной за ее пове-

дение, потому что именно я устроила ей приглашение на фестиваль Рихарда.

Да и вообще, мне горько думать, что именно я пригрела Лу на своей груди, именно я ввела ее в круг философов и поэтов, и в результате лишилась своих любимых мальчиков – и Фридриха, и Поля. Оба они покинули меня ради нее, и я опять осталась одна. Фридрих за это время не написал мне ни слова, хотя знал, как я вступалась за него перед Рихардом, а Поль, правда, писал мне из Берлина, но кратко и только о Лу.

Единственным другом, все большеверяющим мне свои чувства, как ни странно, оказалась Элизабет – а ведь я так невзлюбила ее с первого взгляда! Подумать только, как человеку свойственно ошибаться!

Вчера я получила от нее пространное письмо, в котором она с горечью рассказывает о своем визите к любимому брату. Меня очень поразил красочно описанный ею скандал с Лу в иенском отеле, и уже окончательно доконала отвратительная сцена на перроне таутенбургского вокзала.

После ссоры в Иене они с Лу ехали в Таутенбург в разных купе. По прибытии поезда Лу выскочила из вагона раньше Элизабет, потому что ее чемодан вынес на перрон кондуктор, а Элизабет замешкалась, стаскивая по ступенькам свою дорожную сумку. Воспользовавшись этим, Лу подбежала к встречающему их Фридриху и стала поспешно жаловаться ему на его ревнивую сестру.

Фридрих слушал ее с таким напряженным вниманием, что даже не пошел навстречу Элизабет, чтобы взять из ее рук тяжелую сумку. К моменту, когда его родная сестра добралась, наконец, до него, он уже был полностью настроен против нее. В ответ на ее попытку поцеловать его, он резко отстранился и начал громко бранить ее за стремление поссорить его с Лу.

Если Фридрих впадает в бешенство, голос его становится пронзительным до визга, но, к счастью, его визга никто не слышал – поезд уже ушел и перрон опустел. Даже не поздоровавшись с сестрой, он поднял чемодан Лу и зашагал к снятой им пролетке, Лу налегке шла рядом с ним. Элизабет,



глота слезы, потащилась за ними, волоча за собой сумку. В пролетке он всю дорогу держал Лу за руку и сиял от счастья, он не говорил, а пел, и мысли его взлетали всё выше и выше.

## МАРТИНА

За это Лу посвятила ему свою любимую поэму “К жизни”, написанную ею за год до их встречи:

“Я люблю тебя, увлекательная жизнь, как только друг может любить друга; я люблю тебя, когда ты даришь мне радость или горе, когда я смеюсь или плачу, наслаждаюсь или страдаю... И если у тебя даже не останется для меня радости, пусть! Ты подаришь мне страдание”.

Ницше так восхитился этой поэмой, что заболел и слег в лихорадке. Лежа в своей одинокой комнате с задраенными шторами, защищавшими его несчастные больные глаза, он излил свой восторг и отчаяние в музыку, которую написал к этим стихам. Его песню “К жизни” разок исполнила парижская подруга Ницше певица Отт, обладательница поразительно сильного и выразительного голоса. Слушая её пение Ницше плакал от восторга.

Его друзья были уверены, что ему принадлежат и музыка и слова, но он снова и снова повторял, что слова написала прекрасная русская, смелая, как львица, которая точно знает, чего хочет, не спрашиваясь ничьих советов:

“Стихотворение «К жизни» принадлежит не мне. Это одна из тех вещей, которые обладают надо мной полной властью, мне еще никогда не удавалось прочесть его без слез; как будто звучит голос, которого я бесконечно ждал с самого детства. Это стихотворение моего друга Лу, чуткость которой к моему способу мыслить и рассуждать поразительна”.

Меня подмывает нарушить хронологию и рассказать продолжение трогательной истории о взаимном гимне Лу и Фридриха “К жизни”. Во-первых, через несколько месяцев после Таутенбурга Ницше, отчаявшись добиться любви Лу, наполнился к ней отвращением и написал ей, что её стихотворение “К жизни” – неискреннее притворство. Во-вторых, в 1894 году, через двенадцать лет после несостоявшегося романа с

Ницше, который к тому времени из гениального безумца превратился в безумного гения, Лу дала исчерпывающую характеристику своего отвергнутого обожателя:

“Чем выше поднимался он как философ в своей страсти к жизни, тем более глубоко он страдал как человеческое существо от собственных учений о жизни. Эта битва в его душе – истинный источник философии его последних лет – весьма несовершенно представленная в его трудах и книгах, наиболее глубоко, пожалуй, звучит в его музыке на мои стихи “К жизни”, которую он сочинил летом 1882 года, когда гостил у меня в Таутенбурге”.

Для тех, кто сходу не осознал смысл этого абзаца, перескажу его своими словами: “Бедный Ницше, которого я знаю лучше, чем другие, страдал от собственных учений о жизни, но был косноязычен и не умел это выразить. Удалось ему это только в музыке к МОИМ стихам”. После такого смелого утверждения не стоит обращать внимание на такие мелочи, как кто у кого гостил в Таутенбурге – она у него или он у неё.

## ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ

Вот что написала мне Элизабет о трудных трех неделях, проведенных ею в обществе Фридриха и Лу.

“Они говорят и говорят, перебивая друг друга, русская гадюка и мой Фрицци. Не понимаю, о чем можно столько говорить. Когда они сидят в креслах на балконе, я, тихонько затаившись в своей комнате, пытаюсь подслушать их бесконечную болтовню. Клянусь, можно подумать, что это два дьявола замышляют против рода человеческого:

– Что такое ложь? – Пустяк, ерунда.

– Как назвать клятвopеступника? – Отважный человек.

– Можно ли бесстыдно обсуждать постыдные вопросы? –

А почему бы нет?

– Что сказать об исполнении долга? – Идиотизм.

– Как назвать злоязычие о друзьях? – Справедливое суждение.

– Что сказать о сострадании? – Что оно достойно презрения.

И дальше в том же духе с утра до вечера, просто уши вянут их слушать. А они собой так довольны, так гордятся друг перед другом своей смелостью, своей непохожестью на других!

И все же мне часто кажется, что эта наглая девка не так довольна Фрицци, как он доволен ею. Она притворяется, что понимает его речи, а сама просто хорошо угадывает, где надо засмеяться, где восторгнуться, а где только поддакнуть. Но его она так охмурила, что он не замечает ни ее притворства, ни того, как она устает от его настойчивости”.

Элизабет закончила письмо горькой жалобой на Фридриха: он так и не простил ей ссоры с Лу и отказался поддерживать с нею дальнейшие отношения. Для нее это страшный удар, она со дня рождения привязана к нему, он всегда был для нее центром жизни.

“В тоске я уезжаю в Наумбург к маме. Я не знаю, как мне теперь жить, без Фрицци свет для меня погас”.

А сегодня пришло коротенькое письмишко от Лу. Она – девочка сообразительная, и, несомненно, почувствовала перемену моего отношения к ней. Она довольно сухо сообщает, что расстанется с Фридрихом – он отправляется в Лейпциг в надежде получить место профессора в тамошнем университете, а она в Берлин по приглашению Поля Ре. А сам Фридрих пока не написал мне ни слова.

Перечитала последние страницы и огорчилась еще больше. Как это случилось, что меня покинули мои поэты и философы, и я осталась в заговоре со страшной акулой Элизабет, которая называет Лу русской обезьяной? А я не смею возмутиться и возразить из страха потерять даже ее.

## МАРТИНА

Элизабет не донесла до Мальвиды замечательный афоризм, сочиненный Лу и отредактированный Фридрихом:

“Большую совесть часто венчают маленькие мозги”.

А могла бы донести, ведь они полдня хохотали, обсуждая многочисленные варианты этого универсального утверждения, пока не приняли окончательный. Вряд ли она могла это забыть, разве что не поняла.

Любопытно – я вдруг заметила, что Элизабет занимает всё больше и больше места в моем повествовании. Из-за нее весь мой замысел преобразился. Позабыв, что мир покоится на трех китах, я задумала сплести европейские кружева вокруг образа двух замечательных женщин. А теперь их всё чаще затмевает третья, по сути своей мелкотравчатая, но по роли в мировой истории куда более значительная – можно сказать, что её роль обратно пропорциональна ее личной незначительности. А может быть, я недооцениваю, сколь значительным делает человека целеустремленная воля к власти?

### **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Сегодня, наконец, пришло письмо от Фридриха, уже из Лейпцига. Он огорченно сообщает об отказе ректора университета предоставить место профессора человеку, отвергающему Бога.

Это обидно, пишет он, но зато остается больше времени для работы над его собственными проектами, которых у него множество. Особенно вдохновили его беседы с Лу, в результате этих бесед его голова просто лопается от обилия новых идей. Лу тоже уехала вдохновленная и полная замыслов. Она будет жить в берлинском имении Поля Штиббе и обещала осенью приехать ко мне в Лейпциг. Мысль о том, что не только я её друг, но и Поль тоже, неизменно делает меня счастливым. Для меня истинное наслаждение представлять себе их совместные прогулки и беседы.

### **МАРТИНА**

А о бедной отвергнутой Элизабет ни слова!

### **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Подумать только – новое письмо от Фридриха, всего через неделю после прошлого. Он, кажется, решил восстановить нашу погубленную было дружбу. Всё письмо наполнено присутствием Лу и только вскользь упомянута Элизабет.

“Завтра я напишу нашей дорогой Лу, моей вновь обретенной сестре – после того, как я потерял сестру по естеству, должна же мне быть ниспослана сестра сверхъестественная! Я так жду свидания с ней в Лейпциге!”

Поль тоже готовится к встрече в Лейпциге. Его не смущает, что Фридрих не подозревает о его приезде – он верит, что его появление будет для Фридриха приятным сюрпризом.

“На самом деле, именно теперь и уже навеки ничто не сможет нас разлучить, поскольку мы соединились в третьем лице, которому мы подчинены – не без некоторого сходства со средневековыми рыцарями, но с лучшими основаниями, чем были у тех”.

## МАРТИНА

Неужели никто из них не мог предвидеть, чем закончится эта романтическая дружба средневековых рыцарей?

## ЛУ

Хоть Лу не осуждала нарушение обещаний, она выполнила свое обещание Фридриху и приехала к нему в Лейпциг. С одной только поправкой – она приехала в сопровождении Поля Ре. Она знала, что Фридрих снял квартиру в надежде жить там с нею наедине, и именно чтобы избежать этого, она попросила Поля поехать с нею в Лейпциг.

Трудно было не заметить, как изменился в лице Фридрих при виде Поля, выходящего вслед за ней из вагона. Поэтому она поспешила радостно воскликнуть:

“Теперь, наконец, мы заживем интеллектуальной коммуной, как давно мечтали!”

На это Фридриху нечего было возразить – три месяца назад он был в восторге от идеи интеллектуальной коммуны втроем. Но три месяца назад, а не сейчас. Квартира, снятая Фридрихом в старом доме старого города, отлично соответствовала первоначальному замыслу Лу, мечтавшей о жизни втроем среди музыки и цветов. Чтобы порадовать Лу, Поль тут же обеспечил музыку и цветы – он купил фонограф и за-

казал в цветочном магазине несколько горшков с фуксией и азалией. Но несмотря на его усилия, а может быть, именно благодаря им, совместная коммунальная жизнь не заладилась. Все будто бы было хорошо – дни состояли из свободных индивидуальных занятий, переходящих постепенно в совместные чтения и интеллектуальные беседы. И все же вместо спокойного благополучия воздух в квартире был наэлектризован враждебностью.

## ЛУ

Сидя перед зеркалом в своей комнате, Лу наносила тонкой кисточкой темные тени вокруг ноздрей. Этому трюку, уменьшающему нос, научили ее примерши в Байройте. Вообще-то она была довольна своей внешностью, вот только нос был немного великоват. Однако сегодня это было несущественно, потому что оба обожателя и так были от нее без ума. А стоило ли стараться ради взглядов случайных прохожих, восхищенно оценивающих ее с головы до пят во время прогулок по дорожкам соседнего парка? Конечно, не стоило. Так зачем же она старается?

Честно говоря, она старается чтобы отвлечься от гнетущего чувства усталости, навалившегося на нее из-за постоянного присутствия Фридриха. Предлагая ему свою дружбу, она и представить себе не могла, как утомительна станет ей его агрессивная настойчивость – даже в недолгие часы индивидуальных занятий его трубный голос не умолкал в ее ушах. Он требовал внимания, он требовал соучастия, он требовал признания, он требовал восхищения, он требовал, требовал, требовал... Ей стало трудно скрывать, как она от него устала!

Хотя, впрочем, его ревность слегка щекочет ей нервы. Приятно сознавать, что такой великий ум, – а это нельзя у Фридриха отнять, – готов признать ее своим альтер эго. Кроме того, ревность Фридриха несомненно подогревает любовь Поля, очень для нее важную и дорогую.

В гостиной зазвенел колокольчик. Лу со вздохом отставила зеркало – пора было вливаться в совместную коллек-

тивную жизнь. Из-за двери уже доносилась громогласная речь Фридриха.

## **МАРТИНА**

Все случилось стремительно и неожиданно. Впрочем, так ли уж неожиданно? Отрицательное электричество копилось на кончиках нервов и у Фридриха, и у Поля. И в один момент вырвалось наружу, – без всякой видимой причины, просто накопилось и прорвалось.

Лу и Польша стояли у окна, любуясь желтеющими кронами деревьев парка, а Фридрих, сидел за столом и, готовясь к докладу, листал лежащий перед ним толстый трактат. Лу засмеялась какой-то шутке Поля, Польша присоединился к ней. Фридрих, услышавши их смех, поднял голову и увидел их склоненные навстречу друг другу головы. Горячая волна ревности обожгла его – он не сомневался, что они смеялись над ним.

Он давно подозревал, что они предают его, целуются за его спиной и смеются над ним. Часто по ночам, мучимый жестокой бессонницей, он прислушивался к шорохам и скрипам, представляя, как Польша на цыпочках крадется в спальню Лу. Все это время он терпел, стиснув зубы, терпение его лопалось все быстрее, и сегодняшний смех был последней каплей. С диким рычанием он смел со стола драгоценные книги, общие и свои, ворвался в свою спальню, запихнул в чемодан все, что попало под руку, и, как ошпаренный, чертыхаясь, выскочил из квартиры.

Больше они его никогда не видели, – ни Польша, ни Лу.

## **ПИСЬМО НИЦШЕ ПОЛЮ РЕ – после Лейпцига**

Уходя, я полагал, что Вы будете радоваться моему уходу. В этом году можно насчитать добрую сотню мгновений, когда я ощущал, что дружба со мной дается Вам чересчур дорогой ценой. Я уже более чем достаточно натерпелся от Вашей римской находки – я имею в виду Лу. Я связан с Вами обоими самыми сердечными чувствами, – и думаю, что доказал это

своим уходом больше, чем своей близостью. Мы ведь будем видеться время от времени, не правда ли? Я внезапно стал беден любовью, и следовательно очень нуждаюсь в любви.

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Итак, любовная драма Фридриха закончилась страшным взрывом, чего и следовало ожидать. Наша прелестная девочка никогда и не собиралась связывать свою жизнь с ним. Она вообще не собирается хоть как-то связывать свою жизнь, она хочет быть свободна от всего – от любви, от правил, от морали, от обязательств, от чужого мнения. И я думаю, что она в этом преуспеет, даже если ей придется шагать по трупам – ведь ей ничто не дорого и никто не дорог. В этом, к сожалению, права Элизабет. Вот что пишет мне Фридрих:

“Моя сестра считает Лу ядовитым червем, которого нужно любой ценой уничтожить, – и поступает соответственно. Мне больно это видеть”.

И несмотря на боль, которую она ему причинила, он пытается защитить её от моего осуждения:

“И все же я прошу Вас от всего сердца сохранить для Лу то чувство нежного участия, которое Вы к ней испытывали”.

Он прав, давно уже ни одна юная девушка не внушала мне при первом знакомстве такой нежной симпатии, как Лу Саломе. Однако после Байройта я уже не знаю толком, что мне и думать о ней... Я так еще и не поняла, отчего распался их союз, но радуюсь, что Фридрих не остался на севере. Быть может, ему в его одиночестве вновь предстанут древние боги?

## **ПИСЬМО ФРИДРИХА МАЛЬВИДЕ ИЗ ИТАЛИИ**

Я не смог задержаться в Генуе – там тоже холодно, как и в Лейпциге, и тоже одиноко. Меня понесло на юг, я сам напоминаю себе сорванный с ветки осенний лист, гонимый ветром. И наконец принесло в маленькую рыбацкую деревушку Рапалло. Там я снял комнатку на втором этаже местного



трактира, стоящего так близко к морю, что шум набегających на берег волн мешает мне спать.

Я совершенно одинок, и даже если я однажды, пойдя на поводу у аффекта, случайно лишу себя жизни – даже и тут не о чем особенно будет сожалеть. Кому есть дело до моих причуд! Даже и до моих “истин” никому до сих пор не было дела. Я в конечном счете – просто измученный головной болью полупомешанный, которого длительное одиночество окончательно свело с ума.

Дорогая подруга, неужели же нет ни единого человека на свете, который бы меня любил?

## МАРТИНА

Почему он жалуется, что нет ни единого человека на свете, который бы его любил? Элизабет наверняка его любила до самого своего смертного часа в далеком от того судьбоносного года тысяча девятсот тридцать пятом. Она доказала свою любовь, создав за эти годы новый образ покойного брата, столь не свойственный истинному, что сам великий фюрер Адольф Гитлер почтил своим присутствием ее похороны. К тому времени все забыли, как она относилась к Фридриху в затяннутом паутиной лет тысяча восемьсот семьдесят втором:

“Моя сестра со всей силой обратила против меня свою врожденную враждебность, объявив, что рвет со мной всякие отношения – из отвращения к моей философии и «потому, что я люблю зло, а она – добро”.

Впрочем, настоящую враждебность она направила не на брата, а на ту, которая пыталась похитить у неё его любовь.

## ПИСЬМО ЭЛИЗАБЕТ НИЦШЕ БРАТУ

(в отличие от многих других приведенных здесь писем – абсолютно подлинное)

*Мой дорогой Фрицци. Ни мама, ни я уже несколько недель не получали от тебя известий. Сейчас не время тебе исчезать! Твоя русская обезьяна продолжает лгать о тебе.*

*Она показывает всем эту фотографию, где ты и этот еврей, Ре, запряжены ею, и шутит, что ты любишь испробовать ее кнут. Я говорила тебе, что ты должен забрать у нее эту фотографию, иначе она до конца наших дней будет нас шантажировать! Она везде и всюду выставляет тебя на посмешище, а ее любовник, Ре, поет под ее дудку. Она говорит, что Ницше, всемирно известного философа, интересуется лишь одна вещь — ее ... — часть ее тела, я не могу заставить себя повторять ее слова, уподобляться ее развращенности. Догадывайся сам. Сейчас она открыто живет во грехе с твоим другом, Ре... Разумеется, в ее поведении нет ничего неожиданного, по крайней мере для меня уж точно, но игра заходит все дальше... Ты можешь молчать, я нет: я собираюсь потребовать официального полицейского расследования ее отношений с Ре! Если удача мне улыбнется — и мне нужна твоя поддержка, — она в течение месяца будет депортирована за аморальное поведение. Фриц, сообщи мне свой адрес.*

*Твоя единственная сестра,  
ЭЛИЗАБЕТ*

## **МАРТИНА**

После этого письма Фридрих окончательно поссорился с сестрой, но не пощадил и Лу, тем более, что она, ничуть не стеснясь, согласилась поселиться в берлинском имении Поля Ре.

### **“ПИСЬМО ФРИДРИХА ЛУ – ДЕКАБРЬ 1882 ГОДА**

Дорогая моя Лу, я считал тебя видением, воплощением моего земного идеала. А теперь никто не думает о тебе лучше, чем я, но и хуже о тебе никто не думает. Я не могу ни единым словом обмолвиться о том, что происходит у меня в сердце. Но я никогда не встречал человека, которого мне было бы так же жаль, как тебя: хищницу в шкуре домашней киски, несведующую, но пронизательную, умело использующую всё, уже известное, но с плохим вкусом, бессовестную,

бездуховную, неблагодарную, ненадежную и плохо воспитанную, не любящую людей, зато любящую Бога”.

## МАРТИНА.

Разоблачая таким обидным образом Лу, Фридрих, подстёгиваемый Элизабет, словно позабыл, кому принадлежала идея сфотографироваться в упряжке, погоняемой Лу. А принадлежала она именно ему – он был так влюблен, что даже прикосновение кнута Лу было ему сладостно. Но после Лейпцига у него не осталось ничего, кроме “отвращения, отчаяния и одиночества”. Он порвал со всеми, кто был ему дорог – с сестрой, с матерью, с Лу Саломе и с Полем Ре. У него осталась только одна верная подруга – Мальвида. Обливаясь слезами, он написал ей:

“Вчера я прервал всякое письменное общение со своей матерью: это становилось попросту невыносимым, и было бы лучше, если бы я давно уже перестал это выносить. Насколько далеко расползлись за это время враждебные суждения моих близких и насколько они опорочили мое имя... Мои чувства к Лу находятся в состоянии последней, мучительной агонии: по крайней мере, мне сейчас верится в это. Я не знаю, что мне делать. Несколько раз я подумывал о том, чтобы снять комнатку в Базеле, ходить в гости к друзьям, слушать лекции. Иногда же мне представляется наоборот: довести свое одиночество и отречение от мира до последней грани”.

И именно в отчаянии, одиночестве, и отречении от мира до последней грани, на горной дороге, ведущей из Рапалло в Портофино, ему пришло в голову всё начало Заратустры, “и даже более того – Заратустра сам, как тип, явился” ему. И вместе с Заратустрой явилась ему идея Сверхчеловека, героя, пережившего полное падение морали и преодолевшего Ресентимент. Ницше первый ввёл в обиход понятие Ресентимент?нт или озлобление — чувство враждебности неудачника к тому, кого он считает причиной своих неудач, и тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус. Ресентимент?нт – это бессильная зависть к преуспев-

шему, это чувство слабости и неполноценности, непрерывно гложущее душу неудачника. Чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи, он вступает в бой с воображаемым виновником этих неудач на основе собственной системы ценностей, отрицающей систему ценностей преуспевшего. Своими новыми идеями Ницше поделился с Мальвидой – именно с нею, с единственной, с которой он не порвал.

## ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ

Итак, Лу поселилась в имении Поля под Берлином. Что ж, это удобно и комфортабельно! Она поселилась у Поля и начала кампанию по завоеванию Европы. И преуспела. Поль представил её своим многочисленным приятелям – у него отличные связи в берлинских артистических кругах. Этого оказалось достаточно – стоит только представить её философам, поэтам и драматургам, как начинает действовать ее необъяснимое сверхъестественное очарование: каждый встреченный ею мужчина становится её обожателем.

Очень быстро она сама стала признанным философом, поэтом и драматургом. Я пытаюсь читать ее сочинения – их перепечатаывают разные газеты и журналы – и не могу понять, что их редакторы там находят. Возможно, в присутствии Лу им все серое кажется розовым и голубым.

Мне кажется, что мой дорогой Фридрих достойно пережил крушение романа с Лу и даже вышел победителем из-под обломков своей рухнувшей любви – в результате он подарил человечеству новую книгу “Так говорил Заратустра”. Несмотря на излишнюю резкость некоторых его утверждений, вроде окончательного заключения “Бог умер”, я считаю, что это великая книга. Я так и написала ему:

“Вы стремитесь к высокой цели. Трогательно и прекрасно думать об одиноком путнике, который трудным путем решительно устремляется к высотам, на которых дышится чистым эфиром духа!”

## МАРТИНА

Ницше пришел в восторг от этой возвышенной похвалы и написал кому-то из друзей:

«Честная Мальвида, которая благодаря своей розовой поверхностности на протяжении всей жизни держалась на поверхности, написала мне, к моему горчайшему удовольствию, что она различает в моем “Заратустре” “контуры светлого храма”, который я построю на этом фундаменте. Можно умереть со смеху, но я как раз доволен, что никто не замечает, что за “храм” я строю!».

Но самой Мальвиде он отписал не так резко.

### “ПИСЬМО ФРИДРИХА МАЛЬВИДЕ – 1883 ГОД

“Всякий убежит от меня, догадайся он только, какого рода обязательства вытекают из моего образа мыслей!.. И – вы! и вы тоже, мой глубокоуважаемый друг!.. Возможно, что для всех грядущих поколений я – рок, и очень возможно, что в один прекрасный день я онемею – из человеколюбия!”

### ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ

Письмо Фридриха меня сперва расстроило и даже испугало, но я снова перечитала его рассказ о бродячем пророке по имени Заратустра и успокоилась. В его идее Сверхчеловека нет ничего пугающего. Напротив, явление Сверхчеловека обещает людям грядущее правление разума и просвещения. И я отправила Фридриху утешительные строки:

“Мой героический страстотерпец, усталый борец, ты можешь теперь отдохнуть, потому что ранний Ницше, кротко улыбающийся в своей первичной гармонии, будет жить века”.

## МАРТИНА

Мальвида оказалась удивительно плохим пророком. Сам Ницше значительно лучше понимал, какого рода слава уго-

тована ему в веках: “Я знаю свою судьбу. С моим именем будет связано воспоминание о чем-то чудовищном, о таком кризисе, которого мир еще не знал, о глубочайших коллизиях совести, о принципах, направленных против всего, во что до сих пор люди верили, чего требовали, что считали священным”.

## ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ

Сегодня ни свет, ни заря меня разбудил дверной колокольчик. Он позвонил, позвонил и умолк. Я зарылась головой в подушку и постаралась заснуть снова, предположив, что кто-то дёрнул его по ошибке – за окном стоял предрассветный февральский сумрак и я в такую рань не ждала никаких гостей. Но едва я смежила веки, как колокольчик затрезвонил с новой силой, на этот раз непрерывно. Смирившись с неизбежным, я натянула халат и побрела к входной двери, наткаясь спросонья на стулья и острые углы.

Все это время колокольчик продолжал звонить с упорством отчаяния. Не снимая цепочки, я приоткрыла дверь и увидела встрепанную Элизабет в комнатных тапочках на босу ногу и в полузастегнутом пальто, наброшенном поверх ночной сорочки. Я не уверена, писала ли я, что она сбежала от матери и пристроилась в Риме при мне, как когда-то пристроилась в Байройте при Вагнерах. Мне было жаль бедняжку и я позволила ей оказывать мне мелкие услуги за небольшую плату – она была так бедна и так тяжело переживала разрыв с братом, который был её опорой с раннего детства. В благодарность за это она всегда вела себя со мной кротко и вежливо.

Сердце моё оборвалось при виде взъерошенной Элизабет, бьющейся о мою дверь спозаранку, – конечно, неспроста она решилась разбудить меня ни свет, ни заря. Я сразу подумала, что с Фридрихом случилась беда, и, поспешно сбросив цепочку, распахнула дверь. Элизабет не вошла в прихожую, а ворвалась в неё вихрем и, по-детски рыдая, бросилась мне на шею.

“Рихард! Рихард умер!” – выкрикнула она сквозь рыдания. “Что значит, умер?” – спросила я, не доверяя своим ушам. Не

мог же он умереть среди бела дня в разгар подготовки к новой постановке “Парсифаля”! Конечно, у него было слабое сердце, но не настолько слабое, чтобы остановиться без предупреждения!

“Вот! Вот!– прорыдала Элизабет, протягивая мне скромную газету с портретом Рихарда на первой странице. – Прочтите сами и расскажите мне, тут по-итальянски!”

Я быстро пробежала глазами статью под портретом. В ней говорилось, что композитор Рихард Вагнер, большой ненавистник великой итальянской музыки, был вчера на закате найден в своей спальне лежащим поперёк кровати без признаков жизни. Автор статьи не отрицал заслуг немецкого композитора в деле усовершенствования постановочной техники, но не желал признавать его вклад в мировую музыкальную культуру. Наспех перечислив самые известные оперы Рихарда, обозначив их смертельно скучными, он перешел к сплетням.

Злые языки говорят, что за обедом у Вагнера произошла отчаянная ссора с его супругой Козимой – она, как обычно, приревновала его к одной из предполагаемых солисток новой оперы и угрожала немедленным отъездом. В ответ композитор оттолкнул тарелку с недоеденным десертом и убежал к себе в спальню, громко хлопнув дверью. Козима за ним не побежала, но когда он не вышел к чаю, забеспокоилась и послала лакея проверить, всё ли в порядке. Через минуту лакей вернулся и дрожащими губами пролепетал, что сеньор Вагнер лежит поперек кровати бледно-голубой и бездыханный.

Прочитавши эту гнусную статейку, я поверила ужасной правде: Рихард умер! Умер и оставил нас в темном пустом пространстве, до сего дня озаренном присутствием великого гения.

Пока я читала, Элизабет впивалась в моё лицо безумным взглядом, от чего особенно бросалось в глаза, как сильно она косит. Её сверкающий левый глаз смотрел прямо на меня, в то время как правый устремлялся к далёкой точке над моим левым плечом. Это несоответствие всегда странно нервирует и обостряет напряжённость её присутствия. Когда

я кончила читать, она выхватила у меня газету и уткнулась мокрым носом в рукав моего халата.

“Мали, дорогая, жальтесь надо мной, дайте мне адрес моего Фрицци! – взмолилась Элизабет, – Куда я теперь денусь, без Рихарда и без Фрицци?”

Я подумала: “А куда я денусь, без Рихарда и без Фрицци?”. И на дав себе времени на размышления написала на листке почтовый адрес Фридриха.

## ЭЛИЗАБЕТ

Какое счастье! В ответ на моё отчаянное письмо Фрицци сжалился надо мной и приехал ко мне в Рим, хотя здешний климат ему вреден и здешнее культурное общество его раздражает. Они все очень милые люди, счастливые и беспечные, а он весь в напряжении – он с нетерпением ждет выхода своей книги о Заратустре, которая их нисколько не интересует. Честно говоря, я их понимаю, – зачем им этот странный бродячий пророк, судящий обо всём слишком резко?

Издатель Фрицци, Шмейцнер, не торопился издавать книгу о Заратустре, ссылаясь на то, что он должен выполнить большой заказ на брошюру, описывающую мерзкие черты и обычаи немецких евреев. Прочитав письмо Шмейцнера, Фрицци пришел в ярость и уволил его, объявив, что издаст свою великую книгу за свой счёт. Но поскольку на счёту у Фрицци денег почти нет, он смог напечатать всего только сорок экземпляров, – не на продажу, а чтобы разослать их своим друзьям.

Я прикусываю язык, когда мне хочется сказать, что больше сорока и не стоило печатать – всё равно, эту книгу никто не купит, зато все бросятся покупать брошюру о мерзости евреев, потому что евреи их интересуют, а Заратустра нет. Но я молчу, – я так люблю Фрицци и не хочу его огорчать. И всё не решаюсь рассказать ему о важном событии, происшедшем в моей жизни. Я вся дрожу, когда представляю себе, как он может прореагировать на мое сообщение, но понимаю, что придется посвятить его в мою тайну.



Может быть не стоит откладывать? Я смотрю в окно и вижу, как он подходит к моему дому, чуть прихрамывая и опираясь на трость. Наверно, опять болит спина. Может, вот так решиться и всё ему рассказать честно, как на духу?

Звонок! Бегу открывать.

“Фрицци, это ты? Какая сегодня чудная погода! Не хочешь ли пройтись со мной по парку?”

## МАРТИНА

Элизабет мало понимала в философии, но, как оказалось, была великим знатоком человеческой природы, особенно низменных ее сторон. Её диагноз поражает точностью: за семнадцать лет, прошедших со дня выхода Заратустры до смерти её автора, было продано всего семь экземпляров книги. Но зато через семнадцать лет, прошедших со дня его смерти до первой мировой войны, в немецких окопах самыми читаемыми книгами были Библия и “Так сказал Заратустра”. Интересно, достиг ли бы гениальный Фридрих Ницше такой популярности, если бы его не раскрутила его ограниченная, узколобая, но гениальная сестра?

## ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ

Только что от меня вышел Фридрих. Он ворвался ко мне, задыхаясь и с трудом сдерживая слёзы. Таким потрясенным я его не видела никогда, – впрочем, я ведь не видела его после бегства от Лу Саломе.

“Подумать только, Мали, – воскликнул он, даже не поздоровавшись, – моя Элизабет уже почти год, как вышла замуж! И никому об этом не сказала, ни маме, ни мне!”

Он рухнул на поломанный стул у окна и разрыдался. Стул закачался, но, к счастью, не упал.

“Что в этом плохого? Почему вы рыдаете вместо того, чтобы поздравить её и пожелать ей счастья?”

“Потому что она не случайно держала своё замужество в тайне! Если бы вы знали, какого монстра моя сестра выбрала себе в мужья! Даже наша не так уж либерально на-

строенная мамаша пришла в ужас, когда узнала, под чьё влияние попала её дочь!”

Своими отчаянными воплями Фридрих пробудил моё любопытство:

“Кто же это чудовище?”

“Зовут его доктор Бернхард Фюрстер. Несколько лет назад он был уволен из должности учителя берлинской школы за пропаганду расизма – представляете, как надо отличиться в пропаганде расизма, чтобы наши мягкотелые либералы тебя уволили?”

“Ну, уволили, так что? Из-за этого он не годится в мужья?”

“Как вы думаете, почему наша замужняя дама ютится в Риме на ваши подаяния вместо того, чтобы благополучно жить со своим супругом?”

“У супруга денег нет, что ли?”

“А вот и не угадали! Не денег нет у супруга, а самого супруга нет! Он бродит по южноамериканским джунглям в поисках дешёвого земельного участка для аграрного поселения! Не для себя, а для лучших представителей арийской расы”.

“Почему в Южной Америке?”

“Потому что немцам нужно срочно бежать из Европы, захваченной и загаженной евреями! Фюрстер мечтает создать в джунглях Новую Германию, свободную от евреев. Нынешнюю Германию он называет не родиной, а мачехой, где истинные германские ценности опорочены еврейской скверной”.

“И причём тут Южная Америка?”

“Он надеется создать там новое германское гнездо, из которого разовьётся новая Германия, свободная от еврейского засилья”.

“А Элизабет согласна бросить всё и всех и уехать с ним в такую даль?”

“Она не просто согласна, она в восторге от этой безумной перспективы. Её зачаточный антисемитизм сильно развился и укрепился в семье Вагнеров, в которой он был кредо”.

Я подумала, что антисемитизм его сестры был сильно подогрет историей с Лу и Полем Ре – она даже утверждала, что и Лу тоже еврейка, её на этот путь завлекали особенные

глаза Лу, её пышный бюст и ее имя Саломе. Но я не стала напоминать об этом Фридриху – он и так был безутешен.

“Какой ужас! Какой ужас! – причитал он. – Моя родная сестра, моя маленькая Ллама собирается ехать в джунгли, чтобы сберечь чистоту арийской расы!”

“Что еще за Ллама?”

“Я так называл ее в детстве по имени героини её любимой сказки. Тогда я так любил её, свою Лламу, – когда отец умер, мне было шесть, а ей четыре. Мы были как два маленьких звереныша, брошенных на произвол судьбы, и крепко держались друг за друга. А теперь она помешалась на бородатом пророке, который строит свою жизненную программу на ненависти!”

Он вскочил со стула, который, наконец, осознал свою судьбу и с грохотом рухнул на паркет. Но Фридрих этого даже не заметил, а продолжал исступлённо перечислять свои беды.

“Эта зима была во многих отношениях самая суровая и мучительная в моей жизни, – я потерял свою первую любовь, своего лучшего друга, свою единственную сестру и своего обожаемого Вагнера”.

“Положим, Вагнера вы потеряли много лет назад”.

“Нет, нет! Пока он был жив, всё ещё оставалась надежда на примирение. Его смерть вошла в мои утраты завершающим аккордом, подобным глухим раскатам грома!”

Тут он к моему ужасу бросился передо мной на колени и зарыдал: “У меня остались только вы, Мали, только вы! Хотя вы не предавайте меня!”

Я растерялась, не зная, что ему ответить, но он и не ожидал ответа: “Нам больше нет нужды говорить друг другу какие-то слова – мы знаем, что мы значим друг для друга и будем значить вечно”.

## МАРТИНА

С годами Фридрих повел себя как настоящий мужчина – он не сдержал своего слова. Позабыв, что он называл Мальвиду другом, матерью, врачомателем, он отрекся и от неё,

как отрекся раньше от Рихарда, Поля, Лу и Элизабет, но только Элизабет, только ей одной, вернул он свою милость. И Элизабет, отплатила ему сполна, – извратив его мысли и слова, она сделала его знаменитым.

## ЭЛИЗАБЕТ

Сжимая в потных ладонях тарелочку для сбора пожертвований, она сидела на маленькой скамеечке под деревом и ожидала, когда Бернард закончит свою речь. Она уже не вслушивалась в его слова, она знала из наизусть, но её всё ещё восхищали гулкие переливы его голоса и плавные взмахи его руки. Был он высокий, бородатый, сверх меры худой – на вид настоящий пророк.

“Германия-мачеха погибла, – донеслись до неё его заключительные слова. – Братья арийцы, поднимайтесь и идите! От вас зависит, сумеет ли немецкий народ построить в далёком Парагвае новую родину-мать, свободную от еврейской скверны”.

Подхватив ключевое слово “Парагвай”, она вскочила и быстрым шагом двинулась к расходящейся толпе. Подходя к каждому из слушателей с тарелочкой в вытянутой руке, она смотрела ему прямо в глаза. Она уже хорошо изучила покоящую силу своего косоного глаза – недаром его называли в народе “Сильверблик”, что означает “Серебряный взгляд”.

Стоило ей вонзиться в чьё-то лицо пронзительно-черным взглядом своего здорового глаза, как человек, озираясь на пустое серебристое поле косоного, впадал в панику и дрожащими пальцами выкладывал на её тарелочку монеты без счета.

“Много сегодня набрала?” – спросил Бернард, когда они остались одни.

“Не слишком щедро, но нормально. Зато там стоят трое, которые хотели бы к нам присоединиться”.

“Ты говорила с ними?”

“Не подробно. Перекинулась парой слов”.

“И что ты о них думаешь?”

“Двое в порядке, у одного даже есть ферма, которую он готов продать. Но третий показался мне сомнительным – он не выглядит чистым арийцем, слишком кудрявый и глаза навывкате”.

“Думаешь, он еврей?”

“Нет, не еврей. Скорей серб или итальянец”.

“Тогда что его тянет к нам?”

“Нищета. У него нет ни дома, ни земли, он батрачит на чужой ферме и живёт в сарае с дырявой крышей”.

“Когда ты успела всё это разузнать? У тебя глаз алмаз!”

“Нет, глаз у меня серебряный!”

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

В конце концов Фюрстеры действительно уехали в Парагвай. Когда я гостила у Ольги в Париже, я получила письмо от Элизабет, в котором она сообщала, что их группа уже в Гамбурге, где они зафрахтовали пароход для путешествия в Южную Америку. Всё у них в порядке, пишет она, – они собрали достаточно денег на первое время и везут с собой около ста истинных арийцев, вдохновлённых их идеей. Элизабет была бы вполне счастлива, если бы не Фрицци: к сожалению, их с Бернардом замысел ему настолько отвратителен, что он даже отказался приехать в Гамбург, чтобы пожелать ей счастливого пути.

Мне стало её жалко, – воистину обидно, отбывая в далёкое опасное путешествие, не увидеть на пристани ни одного знакомого лица и ни одной знакомой руки, машущей тебе на прощанье. И я решила поехать в Гамбург поцеловать Элизабет и помахать ей рукой на прощанье.

В Гамбурге моросит мелкий дождик, какой обычно моросит в этом порту, когда там не идёт ливень. Я стою под зонтом на пристани и наблюдаю, как унылая процессия переселенцев с детьми, узлами и чемоданами медленно поднимается по трапу на борт обшарпанного судна. Судно это такое старое, что кажется, будто оно вот-вот развалится, и меня охватывает сомнение, сумеет ли оно пересечь грозный Атлантический океан.

На случай, если сомнение охватывает не только меня, но и кое-кого из переселенцев, Фюрстер, стоя у подножия трапа, обращается к своей пастве с речью, от которой у меня мороз пробегает по коже. Поскольку его слова никак не укладываются в моей бедной голове, попробую изложить суть его речи: “Пускай вас не пугают предстоящие трудности. Вы должны понимать, что принимаете участие в великой миссии очищения и возрождения человечества и сохранения его культуры, осквернённой еврейским вторжением. Запомните – вопреки всем препятствиям вы должны быть верны своей цели”.

После такой речи мне было нелегко при прощании коснуться губами его колючей бороды – борода у него лопатой, не хуже, чем у правоверного религиозного еврея, которого он так ненавидит. И даже Элизабет мне было трудно поцеловать, хоть я за последнее время слегка привязалась к ней – она для меня уже не просто Элизабет, а Ллама, одна из последних ниточек, связывающих Фридриха с жизнью.

Элизабет нисколько не подавлена ни речами своего мужа, которого она считает пророком, ни предстоящими их группе трудностями. Напротив, она сияет от восторга, что им удалось организовать экспедицию в Парагвай, где Бернард купил по дешёвке большой кусок необустроенной земли. Она уверена, что Парагвай – это земной рай, где роскошные фрукты падают с деревьев прямо в рот. А поскольку все участники проекта – вегетарианцы, они намерены питаться только фруктами.

Накануне Элизабет посвятила меня в подробности их будущего маршрута. Они пересекут Атлантику и высадятся в уругвайском порту Монтевидео, – по её мнению на это путешествие уйдёт месяц плюс-минус несколько дней. В Монтевидео им придётся провести несколько дней, чтобы зарегистрировать документы и зафрахтовать речной пароход, который повезёт их вверх по полноводной Паране в столицу Парагвая Асунсьон.

Из Асунсьона на другом пароходе, не столь глубоко сидящем, они отправятся дальше по реке Парагвай и её притокам в затерянный среди тропического леса городок

Сен-Педро. Городок Сен-Педро можно найти только на одной единственной карте этих сказочных мест, которую составил и начертил в середине XIX века покойный министр иммиграции Парагвая полковник Моргенштерн де Визнер.

## МАРТИНА

Полковник Франциско Моргенштерн де Визнер вполне заслуживает стать героем романа, посвященного лично ему. Однако для рассказа о проекте Новая Германия важно только, что он был военным советником диктатора Солано Лопеса, затеявшего и проигравшего безумную войну против тройственного союза Аргентины, Бразилии и Уругвая. А после войны стал министром иммиграции, и, чтобы завлечь в разорённый Парагвай иностранцев с деньгами, начал распродавать дикие девственные джунгли, заполняя европейские газеты лживыми рассказами об их несуществующих преимуществах.

Именно на такую приманку клюнул псевдо-пастор и псевдо-пророк Бернард Фюрстер – он заочно купил огромный участок Кампо Кассаккия, неровным треугольником затиснутый между руслами двух илистых рек. Однако, показывая Мальвиде карту будущей Новой Германии, начертанную рукой полковника Моргенштерна, Элизабет не подозревала, что участок Кампо Кассаккия вовсе не земной рай, где фрукты падают с деревьев прямо в рот, а непригодная для сельского хозяйства цепь непроходимых болот.

Но зато она знала то, о чём даже не подозревали отбывающие в неведомый дальний край колонисты – земельный участок, на котором они собирались поселиться, им вовсе не принадлежал. Фюрстеру не удалось его купить – с него запросили слишком высокую цену. И он вынужден был подписать кабальный договор с правительством Парагвая, согласившимся принять от него скромный аванс в 2000 марок. Правительство субсидировало продажу при условии, что через два года в колонии будут двести семей – поначалу их было 14 – иначе деньги назад. Уверенный в успехе Бернард непредусмотрительно сунул голову в петлю и подписал

договор. А потом, совсем как презираемый им пресловутый еврей, начал продавать доверчивым арийцам не принадлежащие ему участки земли.

## ЭЛИЗАБЕТ

Качало несносно и голова кружилась – может быть, от непрерывной качки, а может, от гнилостного запаха рвоты, пота и экскрементов, намертво въевшегося во все поры дряхлого корабля. Но даже тошнота и головная боль не снижали градус радостного возбуждения Элизабет. Вот уже который день она торжествовала победу над Фрицци – он только говорил и говорил, а она действовала, он только мечтал изменить жизненный порядок, а она задумала проект изменения и сумела его осуществить.

Больше всего она гордится тем, что задумала этот проект не одна, а вместе с Бернардом. Она гордится тем, что Бернارد избрал ее своей спутницей и соучастницей его великого марша к созданию новой Германии. Напрасно Фрицци вообразил, что она никогда не оправится от удара, который он нанёс ей, лишив её своей любви. Это правда, что сначала ей хотелось умереть от горя, она даже подумывала наложить на себя руки, чтобы он тоже умер от осознания своей вины перед ней. Но Господь милосердный вовремя остановил её от этого безумного шага, и, не зная куда себя девать от тоски, она отправилась в соседнюю деревню послушать проповедь Бернарда.

Как только она увидела Бернарда на кафедре, высокого, стройного, облаченного в долгополый чёрный сюртук, как только она услышала его голос, чуть хрипловатый мощный голос пророка, она поняла, что её место рядом с ним. И добилась своего – она стала его женой и соратницей, несмотря на отчаянное сопротивление своей матери, пришедшей в ужас, что единственная дочь покинет её и уедет в Южную Америку. Ведь бедняжка мать не подозревала, что дочь готова была покинуть не только её, но и весь этот пустынный мир, мир без Рихарда и Фрицци. Зато теперь она счастлива – она с радостью покинула и прогнившую Европу, и отверг-



нувшего её Фрицци, но покинула не одна, а об руку с Бернадом.

Неожиданно судно взлетело на высокую волну и круто ринулось вниз в пучину. В трюме заплакал ребёнок, его плач подхватило эхо ещё десятка детских голосов, но его перекрыл рокот следующей волны, и следующей, и следующей, и следующей. Кажется, начинался шторм, но Элизабет не боялась ни шторма, ни океанской пучины, она верила, что Бог не допустит их гибели на пути к исполнению высокой миссии очищения.

## ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ

Я получила подряд несколько писем от Фридриха, но никак не могу ему ответить – он с такой скоростью носится по Европе, что почта за ним не поспевает. Его письма отправлены не только из разных городов, но даже из разных стран. Из них видно, что, гонимый одиночеством, он ищет пристанище не столько для тела, сколько для души.

С одной стороны, он нуждается в читателях и собеседниках: “Я один дерзновенно берусь за разрешение громадной проблемы. Мне нужны помощники, мне нужны ученики”. С другой, зная, какие страдания причиняет людям его образ мысли, он боится завлекать их в свои сети: “Я не хотел бы, чтобы этот человек читал мои книги – он слишком чувствителен, я причиню ему зло”.

В конце концов он поселился в Венеции и начал работу над новой книгой “Воля к власти, опыт переоценки всех ценностей”. Пока трудно назвать это книгой – он присылает мне отдельные афоризмы и удачные фразы, но это всё лишь обрывки и целое ещё не просвечивается сквозь хаос. Но будущее покажет.

Порой мне кажется, что он неприкаянно мечется с места на место не для того, чтобы убежать от болезни, а чтобы скрыть от себя самого, как он страдает из-за отъезда Элизабет на край света. Тоска по ней гонит его из города в город, от отчаяния к отчаянию. Она не даёт ему собрать свои разобщённые афоризмы хотя бы в одну цельную страницу, по-

тому что мысль его всё время стремится вслед за любимой сестрой в далёкий Парагвай.

## МАРТИНА

В 1886 году Парагвай, куда Фюрстеры увезли на утлом пароходе сотню своих доверчивых последователей, лежал в руинах. Он ещё не оправился от тяжких последствий разрушительной войны с Тройственным альянсом, затеянной безумным парагвайским диктатором Франциско Солано Лопесом. Вообразив себя Наполеоном Бонапарте, он возмечтал покорить себе всю Южную Америку и в 1864г. объявил войну сразу трём соседним державам – Аргентине, Бразилии и Уругваю.

Наполеоном он вообразил себя не случайно – за несколько лет до этого его отец, президент Карлос Антонио Лопес, отправил молодого, склонного к романтике сына в Европу, назначив его своим дипломатическим представителем. Бурлящая нарядная европейская жизнь покорила воображение юноши, только-только вырвавшегося из объятий диких южноамериканских джунглей. Особенно сильно потряс его воображение образ всё ещё воспеваемого великого французского императора Наполеона Бонапарте. Потряс настолько, что он, готовясь стать у себя на родине военным министром, избрал для парагвайской армии униформу наполеоновских солдат.

Домой из Парижа он вернулся не с пустыми руками, он привёз с собой выкованную по его заказу копию короны Наполеона и красавицу-блондинку Элизу Линч, роскошную куртизанку ирландского происхождения. Элиза Линч приехала в Парагвай тоже не с пустыми руками – кроме сундуков с ослепительными парижскими туалетами она прихватила с собой рояль знаменитой фирмы Плейель. До начала войны Элиза часто услаждала слух императора и его придворных, исполняя на этом рояле фуги Баха и сонаты Моцарта во время пышных приёмов и концертов классической музыки. Она утверждала, что пожертвовала ради Солано Лопеса блестящей музыкальной карьерой, которую предрекал ей в Па-

риже сам великий Франц Лист. Во времена правления Лопеса главным советником Элизы по организации балов и концертов был всё тот же полковник Моргенштерн де Визнер, чьи завлекательные призывы втянули Бернарда Фюрстера в парагвайскую авантюру.

Ужасная смертоносная война с Тройственным альянсом прекратила не только концерты, приёмы и балы, но и постройку грандиозного императорского дворца на берегу реки Парагвай, спроектированного многоликим полковником Моргенштерном де Визнер. Судя по фотографиям дворца, восстановленного через четверть столетия после окончания войны, он был чудо как хорош. Похоже, что полковник Моргенштерн де Визнер был не только авантюрист, спекулянт и лучший знаток придворных церемоний, но так же и замечательный архитектор и военный инженер. И к тому же блестящий финансист – ведь именно он после разрушительного военного проигрыша пытался спасти экономику Парагвая умелой распродажей бесконечных просторов этой вконец разорённой страны. Воистину, можно поверить, что он и вправду был не барон Моргенштерн де Визнер, а австрийский еврей Моргенштейн.

К началу войны новый президентский дворец был почти готов и декорирован дорогой живописью и парижской мебелью, его залы были украшены прелестными бронзовыми статуэтками и огромными зеркалами в драгоценных рамах. Но страшное военное поражение заставило Солано Лопеса бежать вместе с Элизой от наступающей бразильской армии, артобстрелы которой нанесли дворцу непоправимые повреждения. Позже союзные войска разграбили дворец. Украшения, картины, статуэткі, зеркала, шкафы и многие другие ценные вещи были конфискованы и увезены в Бразилию. Все семь лет, что Асунсьон был оккупирован, дворец служил штаб-квартирой бразильских вооруженных сил, после чего он превратился в запущенного монстра, зияющего пустыми глазницами выбитых окон и сорванных с петель дверей.

Война с Тройственным альянсом отличалась чудовищной жестокостью, в ней погибло более 80% мужского населения Парагвая. Победоносные бразильцы, опасаясь эпидемий,

вынуждены были сжигать горы трупов – их невозможно было предать земле, так много их было. Для этого бразильцы попытались складывать специальные слоистые костры – так, чтобы слои дерева перемежались слоями тел убитых. Однако все усилия были напрасны – трупы парагвайцев были такие тощие, что не сгорали даже в самом жарком огне.

Испуганные жестокостью победителей, Элиза Линч и Солано Лопес бежали из обречённого на сдачу Асунсьона, и опять не с пустыми руками. Они увозили с собой телеги, нагруженные золотом и драгоценностями казны, и в придачу специально изготовленную для бегства телегу с роялем Плейель. Неясно, на что они надеялись, углубляясь со своим грузом в непроходимые джунгли, где дорог не было, а были только узкие тропки, и то далеко не везде.

## ЭЛИЗАБЕТ

Обшарпанный речной пароход со скрипом пришвартовался к обшарпанной пристани, приютившейся под центральной набережной столицы Парагвая, носящей гордое имя – Асунсьон. Пароход был слишком мал для плотно набившейся в нём сотни переселенцев, но томительное путешествие против течения многоводной реки Парагвай продолжалось недолго, всего пять дней. Можно было и потерпеть ради великой миссии сохранения культуры человечества. Так отвечала Элизабет на жалобы усталых спутников, а жалоб было много – на тесноту, на духоту, на жару, на здоровье детей, а главное – на москитов. Кто бы мог предвидеть, что такие крошечные, почти невидимые существа, собравшись в миллионные рои, могут причинить людям столько страданий? Часто от одного укуса одного маленького москита всё тело человека вспухает и покрывается волдырями, его начинает знобить и трясти, сознание ускользает, глаза воспаляются, губы пересыхают.

Но Элизабет знала своё дело: она ловко и умело отбивалась от особо настойчивых жалобщиков, продолжая краем глаза следить за разгрузкой парохода. Из трюма выволакивали и сбрасывали на землю горы мешков, узлов и чемода-

нов, и, наконец, она дождалась – шесть мощных носильщиков-индейцев потащили вниз по трапу зеницу её ока, её любимый рояль Плейель, тщательно упакованный в плотные слои мешковины и защищенный от всех передряг надёжным ящиком из пружинистых досок. Элизабет выскользнула из окружавшей её толпы и поспешила к выбранному заранее местечку для хранения драгоценного груза.

Прислонясь к ящику с роялем, она, наконец, свободно вздохнула и огляделась вокруг. Прямо перед ней дюжина покосившихся деревянных ступенек вела к набережной, но саму набережную заслоняла от глаз шеренга высоких деревьев. Над их верхушками видны были руины какого-то чудовищного здания, зияющего пустыми глазницами выбитых окон и сорванных с петель дверей. Элизабет вспомнила рассказ переводчика Эрнесто, нанятого Бернардом ещё в Монтевидео, когда оказалось, что невозможно ориентироваться в сложном пространстве Южной Америки без знания местного языка.

По пути из Монтевидео в долгие часы утомительного полдневного зноя Эрнесто посвящал Элизабет в подробности драматической истории падения империи безумного парагвайского диктатора Франциско Солано Лопеса, вообразившего себя Наполеоном Бонапарте. Затеявшего идиотскую войну, потерпевшего позорное поражение и погибшего в болоте где-то возле бразильской границы, оставив недостроенным президентский дворец невиданной красоты. Значит, это он и есть, тот самый дворец, разорённый и разграбленный двадцать лет назад. И до сих пор не восстановленный, не достроенный, брошенный на произвол солнца, ветра и дождя.

Элизабет прямо задыхнулась от возмущения при виде такой бесхозяйственности – она даже представить себе не могла, чтобы такое безобразие могло случиться в одном из приличных немецких городов. Вот что значит – низшая раса! В том, что окружающие её туземцы принадлежат к низшей расе, она не сомневалась. Достаточно было посмотреть на их небрежную одежду! Даже не небрежную, а прямо-таки недостаточную – многие из них, ничуть не стесняясь, ходили

вокруг почти голые! А с какой жадностью они пожирали мясо! За ужином и обедом её тошнило при виде матросов их парохода, впивающихся зубами в окровавленные куски тел жаренных на открытом огне животных. И всё же при всём своём убожестве эти дикари были лучше оставшихся в Европе евреев, пускай даже одетых с иголки в чуждые их племени немецкие сюртуки и манишки.

Однако из всех баек Эрнесто больше всего потряс Элизабет рассказ о любовнице Солано Лопеса Элизе Линч, которая привезла с собой из Парижа божественный рояль фирмы Плейель. Можно ли считать случайным такое удивительное совпадение – для Элизы, так же, как для Элизабет, главной ценностью, доставленной из заокеанской Европы, был рояль фирмы Плейель! Нет ли в этом совпадении тайной угрозы для Элизабет, если поверить, что парагвайская авантюра её тёзки Элизы кончилась печально для её рояля? Эрнесто рассказал, что где-то на прибрежной тропе в джунглях лошади, везущие телегу с роялем, рухнули под его тяжестью и уронили свою драгоценную ношу в реку Парагвай. Нет, нет, слава Богу, Элизабет это не касается, её роялю ничего не угрожает – Бернард не император, он не собирается объявлять войну ни Аргентине, ни Бразилии, ни Уругваю!

Лёгкий порыв ветра, не принося с собой прохлады, чуть колыхнул листву на деревьях, заслоняющих от Элизабет площадь перед дворцом. Зато он принёс на пристань запах улиц Асунсьона, запах разрухи, гнили и распада. Элизабет отвернулась от дурного запаха и решительно отмахнулась от дурных мыслей – пора было готовиться к дальнейшему путешествию против течения всё той же реки Парагвай на другом речном пароходике, хоть и менее просторном, но не менее обшарпанном.

За её спиной нестройно взвились сердитые мужские голоса, их почти заглушил пронзительный женский визг. Элизабет поспешила в направлении скандала. Это уже случилось: отец какого-то семейства опять сцепился с отцом другого семейства, а их жёны готовы выцарапать друг другу глаза, выясняя, кто поставил чей-то ящик на чей-то чемодан. И невозможно их осуждать – они раздражены и измучены из-

нурительной морской качкой и невыносимой жарой. Остаётся только одно средство – напомнить им о предстоящей высокой миссии, ради которой они покинули свою бывшую родину и приехали в страшный неведомый край. Конечно, Бернард сделал бы это гораздо лучше, но он вынужден был оставить Элизабет следить за разгрузкой, а сам помчался в посольство выправлять документы переселенцев. Элизабет быстрым шагом взбежала по трапу на палубу и поднесла к губам висящий у неё на груди свисток. Как только она заговорила, в толпе на пристани стало тихо. Голос у неё был высокий и звонкий.

“Братья и сёстры, – сказала она, подняв глаза к небу. – Стыдитесь! Мы приехали сюда не для того, чтобы ссориться друг с другом. Мы приехали сюда, чтобы объединиться ради выполнения нашей великой задачи!”

## ФРАНЦИСКА

Франциска Ницше всегда недолюбливала свою соседку, фрау Монику Штамм. В Моники ей не нравилось всё – громкий голос, нескромный покррой платьев, крикливые шляпы, в которых она приходила в церковь, игривый тон в присутствии посторонних мужчин. Но в последнее время Франциска вынуждена была терпеть визиты Моники и даже ждать их с нетерпением. После прихода почтальона она то и дело выглядывала в окно, надеясь увидеть, как Моника выплывает из ворот своего дома с белым конвертом в руке.

В конверте наверняка было письмо от сына Моники Генриха, который вместе с женой Хельгой и двумя маленькими детьми присоединился к группе ненавистного Бернарда Фюрстера, похитившего у Франциски её единственную дочь. У Элизабет очевидно не было времени и желания писать матери так часто и подробно, как это делал Генрих.

В то утро Моника так долго не появлялась после прихода почтальона, что Франциска потеряла всякую надежду и снова начала волноваться – даже письма от Генриха не приходили уже давно. И всё-таки дождалась: когда она устала выглядывать в окно и занялась шитьём, неожиданно зазвонил

нил дверной колокольчик. Моника неспешно вплыла в гостиную семьи Ницше, высоко неся свою пышную грудь, подпертую непристойно откровенным корсажем.

“Вот, полюбуйтесь, – объявила она, вынимая из конверта толстое письмо, – до чего затея вашей дочери довела моих детей!” – и разложила на столе измятые листки.

Франциска села в кресло, надела очки и придвинула листки поближе, отметив про себя, что половинка одного из них аккуратно отрезана. Почерк у Генриха был чёткий и ясный. “Не то что у моего бедного Фрицци”, – промелькнуло в голове Франциски прежде, чем она приступила к чтению.

“Дорогая мама, не волнуйся, что ты давно не получала от меня писем. Ведь мы уже не только по другую сторону огромного Атлантического океана, но вдобавок мы уже больше недели, как покинули его недружелюбный берег и углубились в еще более недружелюбные дебри чужого континента, так не похожего на Европу.

Ты же знаешь, что я всем сердцем разделяю веру в высокое значение нашей благородной миссии, но всё в этой новой чужой стороне внушает мне страх и опасение за судьбу парагвайского прожекта. Я уже писал тебе, каким ужасным было наше морское путешествие – порой мне даже кажется, что если бы я знал, как тяжело перенесут его мои девочки, я может быть и не отправился бы с ними на край света.

На третий день пути из Монтевидео в Асунсьон случилось ужасное несчастье – маленькая девочка, дочка одного из наших, архитектора Дитера Чагги, неожиданно умерла, совершенно непонятно, почему. Держать её труп в переполненном пароходе на этой жаре было невозможно, пришвартоваться к берегу было негде, и её, запеленатую в грубую мешковину, пришлось бросить за борт в мутные воды реки Парагвай. Жена Дитера совершенно потеряла разум – осыпав Бернарда и его затею бессильными проклятиями, она объявила, что не поедет с нами дальше, а сойдёт на берег в Асунсьоне и вернётся домой в Европу. Мы с ужасом наблюдали, как она бьётся в истерике и прокликает Бернарда и Дитера – нам было жалко её до слёз, но главное, каждого терзал страх, что такая беда может постигнуть любого из нас.



Позавчера мы с облегчением сошли на берег в столице Парагвая Асунсьон. И хоть мне раньше не понравилась столица Уругвая Монтевидео, теперь она кажется мне вершиной комфорта и благополучия по сравнению со столицей Парагвая. Её имя Асунсьон – единственное, что есть в ней достойное её звания. Это просто огромная зловонная свалка, под которой погребены руины поверженных дворцов и домов, а судя по запаху, ещё немало останков людей и животных.

Но, слава Богу, мы задержались на этом чудовищном кладбище всего на два дня и уже плывём на другом, ещё менее пригодном для нашей группы судёнышке вверх по течению ещё более недружелюбной, чем раньше, реки Парагвай.

Я пишу тебе, сидя на грязной палубе под навесом из грязной мешковины, который хоть немного защищает меня от невозможно палящего здешнего солнца. Я не знаю, когда и откуда я смогу отправить тебе это письмо, но в Асунсьоне я не нашёл времени тебе написать – ведь надо было за два дня разгрузить наш первый корабль и погрузиться во второй. Хоть мы взяли с собой минимум вещей, но при таком переселении из Старого света в Новый дорога каждая мелочь, а мелочей оказалось слишком много. Я уже не говорю, что дочь твоей любимой подруги умудрилась притащить с собой за океан огромный рояль, который вытеснил кое-какие необходимые предметы, принадлежащие другим, более скромным людям.

Вчера ночью нас разбудил несущийся из темноты сатанинский хохот. Многие выскочили на палубу, пытаюсь понять, откуда он доносится. Переводчик Эрнесто объяснил нам, что с пустоши Гран Чако в реку ныряет злой гном Помберо, которого нельзя увидеть, но можно услышать, когда он, хрюкая и рыгая, скользит по воде, чтобы отвязывать с пароходов лодки и пускать их по течению. Гном всю ночь хохотал над рекой и болотами Гран Чако, а наутро мы обнаружили, что в темноте исчез мальчик-матрос, бездомный бродяга, подобранный капитаном год назад в Асунсьоне. Наши матросы верят, что Помберо сперва заманил мальчика на верхнюю

палубу, а потом поманил из воды к себе, и тот упал за борт. Тем более, что всю ночь над пустошью сверкали молнии и погрохатывал гром. Полдня команда искала тело несчастного мальчика, но так и не нашла – матросы считают, что тело мальчика съела громадная водная змея, которая водится только в реке Парагвай.

Вообще река Парагвай ничуть не похожа на милые и прозрачные немецкие реки Рейн или Эльбу, она мутно-желтая, сердитая и очень быстрая, так что нашему утлому судёнышку весьма трудно бороться с её бурным течением. И берега её тоже не выглядят зазывно – хотя и мучительно часами торчать под палящим солнцем на раскаленной палубе, еще меньше хочется сойти в неприветливую чашу, откуда то и дело доносятся вой и рычание неведомых диких зверей.

Вот и сейчас, пока я дрожащей рукой пытаюсь выводить буквы на разогретом солнцем листке, я внезапно слышу бие-ние сердца джунглей. Я озираюсь, пытаюсь понять, откуда доносится этот надсадный размеренный стон, и в поле моего зрения всплывает бесконечная отвесная стена восточного берега, увитая переплетенными лианами, о которую равномерно бьются речные потоки. Я бы не хотел покинуть наш уютный пароход, чтобы сойти на сушу у подножия этой стены.

Ища утешения, я перевожу взгляд на западный берег и вижу необозримую болотистую пустошь Гран Чако, тут и там поросшую колючим кустарником и усеянную редкими одиночными деревьями. Переводчик Эрнесто рассказывает, что пустошь Гран Чако кишит всеми сортами змей, так что и на западный берег у меня нет никакого желания сойти.

(Через два дня)

Ещё два дня томления на воде и, наконец, мы пришвартовались у покосившегося причала, за которым виднеется жалкая горсточка хижин. Вся эта роскошь называется Порт Розарио. Я схожу по трапу на дощатый помост, земля слегка качается у меня под ногами. Или это моя голова качается после пяти дней качания на воде. На палубу выходит Хельга и выводит за собой детей, они плачут и не хотят сходить на берег. Жара дикая, вокруг пусто, только маленькие серые птички клюют что-то в камнях.

Я надеюсь, что отсюда мне удастся отправить тебе письмо – Эрнесто уверяет, что письма подберёт первый же пароход, плывущий вниз по течению в Асунсьон”.

В этом месте конец письма был отрезан и подписи на нём не было.

## ЭЛИЗАБЕТ

Почтальон принёс Франциске письмо Элизабет с утренней доставкой, так что у неё было время прочитать его, пока Моника допивала утренний кофе.

“Мама, только что наш корабль миновал маленький городок, со всех сторон зажатый джунглями. Это не первый такой городок на нашем пути, и я бы не обратила на него особого внимания, если бы Эрнесто не напомнил мне, что он называется Пьяно. Поверь мне, мама, – от этих слов моё сердце закатилось куда-то вбок и меня прошиб холодный пот: именно здесь утонул роскошный Плейель Элизы Линч! Я невольно рванулась было к трюму, чтобы убедиться, что Плейель Элизабет Ницше в порядке, но силой воли остановила себя – я не бегу от вражеской армии, чего мне бояться?

Люди здесь приветливые и доброжелательные, они за гроши помогают нам при частых погрузках и разгрузках – я должна признаться, что переправить сто человек за тысячи километров через океаны и джунгли оказалось делом не простым. Наш корабль движется всё медленней и медленней, а река обтекает его всё быстрее и быстрее – с каждым днём она становится всё уже и стремительней. Вдоль её высокого правого берега колышется дивный тропический лес, за низким левым берегом простирается неоглядная степь, украшенная то одинокими развесистыми деревьями, то разноцветным кустарником дивной красоты. Ах, мама, если бы ты только увидела эти радужные краски и вдохнула этот ароматный воздух, настоенный на роскошных цветах, гирляндами свисающих с ветвей!

Завтра мы должны прибыть в городок Антикуэра, где кончается речная часть нашего путешествия и начинается сухопутная. Дальше нам придётся передвигаться по джунглям

или верхом на лошадях или на телегах, запряженных волами. Наши братья и сёстры стойко переносят трудности и не жалуются ни на жару, ни на москитов.

Мама, прошу тебя, одевайся потеплей, ведь у вас уже осень, и не тревожься обо мне, я чувствую себя отлично и нахожу в себе всё новые и новые способности. Кто бы мог подумать, что твоя дочь рождена руководить людьми! И поверь, она неплохо с этим справляется.

Я постараюсь отправить тебе письмо из Антикуэры.

Твоя любящая Лизбет.

А что наш Фрицци? Здоров ли он? Почему он до сих пор не написал мне ни строчки?”

По непонятной ей самой причине Франциска решила не показывать Монике это письмо Элизабет. Она быстро сложила его и спрятала в ящик прикроватной тумбочки, а на столе расстелила недавнее письмо Фрицци. И как раз вовремя: Моника ворвалась, как ураган, и бросилась к столу, выкрикивая на ходу:

“Почему ты не пришла ко мне сразу после прихода почтальона?”

И остановилась как вкопанная, увидев одинокий листок, неровно исписанный несчастными каракулями Фрицци, которые кроме Элизабет могла прочесть только Франциска.

“Так это письмо от Фридриха? Не балует тебя твоя дочь! А вот мой сынок опять написал мне”, – и она торжествующе протянула Франциске новое письмо Генриха. Франциске стало обидно и она на миг пожалела, что скрыла от Моники письмо Элизабет, но сознаваться было уже поздно.

“Мамочка, дорогая, как ты была права, когда отговаривала меня увозить моих любимых девочек в такую даль! Как я страдаю, видя, что они страдают, и всё по моей вине. Вчера Ирму укусил москит, а боль от укусов парагвайских москитов ужасна. Ну зачем я её увёз, зачем? Я так скучаю по нашим прохладным лесам и озёрам с прозрачной водой. Красота здешнего леса обманчива – стоит подойти поближе к ослепительно-зелёному дереву, как оказывается, что его листья жёсткие и колючие, а яркие плоды ядовитые.

Вчера мы, наконец, выбрались из своего вонючего парохода на твердую землю в город Антикуэра и счастливы, что наш пароход не развалился по дороге. А мог бы! Но тут же обнаружили, что город Антикуэра – это всего лишь ряд домиков из глиняных кирпичей, который воняет не меньше, чем трюм нашего парохода. Но бог с ним, пусть воняет – ведь мы надолго тут не задержимся. Отсюда мы как можно скорее отправимся на восток, но уже не по воде, а по суше, хоть настоящих дорог в джунглях нет. Тропы, по которым мы потащимся на запряженных волами телегах, проложены солдатами бывшего диктатора Солано Лопеса, убежавшими от победоносной бразильской армии.

Вот ужас! Похоже, что скоро мы отсюда не уедем. Хозяин фермы, который обещал сдать Фюрстерам телеги с волами, вдруг заломил ужасную цену, заявив, что теряет из-за нас две недели работы фермы. И требует плату вперед. Он кричит: “Кто заплатит мне, если вы утонете в болоте?” А кроме того без проводника он своих волов не отпускает, а проводником должен быть его племянник, очень опытный и жутко дорогой. Фюрстеры не сдают и торгуются, так что неясно, когда мы тронемся в путь. А жара, жара – я даже представить себе не мог, что бывает такая жара! Тощий цыпленок клюет что-то в грязи, мимо уныло плетется усталая корова.

Не надрывай себе сердце, мама, может быть, всё ещё обойдётся – мы прибудем на место, оно окажется райским садом и дети будут наслаждаться райскими плодами, падающими с деревьев прямо в рот.

Твой Генрих”

## ЭЛИЗАБЕТ

Наконец караван переселенцев готов тронуться в путь – вовсю идёт тяжелая работа погрузки вещей на запряженные волами телеги, грузчики потеют, волы сердятся, упираются и не подчиняются командам. Чтобы остановить такую телегу, нужно выбежать на дорогу и изо всех сил махать руками перед сонными мордами волов. Часть мужчин едет верхом на здешних лошадках, больше похожих на мулов, чем на ло-

шадей. Пока всадники приторачивают сумки к сёдлам, лошади дружно какают – вонь стоит ужасная, над вонью тучами кружат мухи.

Но всё это не огорчает Элизабет, ничто не может омрачить ее радость: остался последний этап их трудного пути к осуществлению мечты. Это победа Бернарда, но и её победа тоже! Она готова терпеть вонь, жару и москитов ради этой победы, ради неё она даже в эту жару не отказалась от своих чёрных платьев, потому что она чувствует себя символом общей мечты и должна выглядеть как подобает символу.

Она решила ещё раз просмотреть по карте предстоящую им дорогу, устроилась в тени подозрительно пахучего дерева – запах был странный и головокружительный, но ничего лучшего она не нашла поблизости – и разложила на траве карту де Визнера. Задача была нелёгкая, им предстояло пройти по лесным тропам семьдесят миль, чтобы добраться поджидającego их участка между реками Агуарья-уми и Агуарья-гуазу. Налегке это означало бы три дня верхом на лошади. Никому не известно, сколько дней потребуется для тяжелых возов, на одном из которых должен прорваться сквозь джунгли её ненаглядный рояль.

Наконец процессия тронулась, вокруг неё сомкнулся тропический лес, лианы густо обвивают деревья по обе стороны тропы. Стоит странная глухая тишина, лесная чаща поглощает все звуки. Иногда на выкорчеванной среди деревьев прогалине встречается хижина, по траве бродят козы, порой корова. Чем дальше караван удаляется от Антикуэры, тем уже становится тропа. Стайки ярко-красных птичек порхают и чирикают в придорожных кустах. Становится всё жарче, лошади потеют не меньше, чем люди. Тропу пересёк быстрый ручей – лошади и люди дружно бросились к нему и стали окунать в воду кто морду, кто лицо. За ручьём открылась большая поляна.

“Привал! – отдаёт команду проводник – Прочесать кнутами траву, в лесу много змей”.

Люди со стонами сваливаются с лошадей, вываливаются из телег, высаживают детей и в изнеможении падают в траву.

Перекусив, они двинулись дальше. Перед заходом солнца караван спустился в просторную безлесную долину, в кото-

рой можно было свободно вздохнуть после душного мрака чащи. Над высокими травами кружились птички-ткачи, охраняя свои замысловато сплетённые гнезда. Вся долина была исчерчена затейливым узором ручьёв и ручейков, устремляющихся в реку Парагвай.

По пути Эрнесто подсел в телегу Элизабет и закончил рассказ о судьбе Лопеса Солано и Элизы Линч. Где-то в сплетении таких ручейков они решили избавиться от груза золота и драгоценностей, чтобы быстрее убежать от преследующей их бразильской армии. Все ценности империи Парагвай покоятся где-то здесь, на дне одной из многочисленных речек. Для сохранения тайны четырнадцать свидетелей были расстреляны – в надежде, что после победы диктатор со своей возлюбленной вернётся за сокровищами.

Но они никогда не вернулись: хотя Лопес не снижал активности даже в бегах. Он успел создать образец медали победы, казнил нескольких офицеров и подписал смертный приговор своей маме, не ладившей с Элизой, но это не помогло – его конь застрял в болоте и, отбиваясь от окруживших его бразильских солдат, он был смертельно ранен и скончался на руках Элизы. Она похоронила его на речном берегу, была захвачена бразильцами и под конвоем выслана в Европу. Там она вернулась к прежней профессии.

## **МАРТИНА**

Элиза Линч умерла в 1886 году – надо же, именно в год отбытия команды Фюрстеров в Парагвай! Умерла в парижском благотворительном доме для обедневших благородных дам и унесла с собой тайну захороненных под водой сокровищ империи Лопеса. Есть легенда, что их охраняют души жертв семьи Лопес.

## **ЭЛИЗАБЕТ**

Легенда об Элизе заворожила воображение Элизабет. Ей опять показалось, что есть какая-то мистика в совпадении их имён, какое-то смутное пророчество, которое необходимо

разгадать. В джунглях было невыносимо тихо и оттого вдвойне страшно. И вдруг кто-то впереди запел любимую песню переселенцев, напоминающую им об оставленных навеки прелестях покинутой родины:

Не знаю, что случилось со мною:  
В душе моей прячется грусть,  
И сказку из раннего детства  
С утра я твержу наизусть.

Песню подхватили десятки голосов, и от их слаженного пения льдинка в груди Элизабет стала постепенно таять.

### **МАРТИНА**

Великий Боже – это же “Лорелея” Генриха Гейне! Какая на-смешка, – именно стихотворение немецкого еврея Гейне было гимном парагвайских колонистов, убежавших в заокеанскую даль от еврейского засилья Германии.

### **ЭЛИЗАБЕТ**

Сухопутный переход от Антикуэры до Кампо Кассаккия оказался гораздо дольше, чем Бернард предполагал. Сначала Элизабет пыталась считать дни, но вскоре сбилась со счёта – дни были так похожи один на другой! Сперва то тут, то там им встречались одинокие хижины, по лужайке бродили козы, изредко где-то мычала корова. Через пару дней хижины стали мелькать всё реже и реже, а потом и вовсе исчезли. Осталась только непроглядная стена джунглей, наполненная жуткой знойной тишиной – лесная чаща, не давая прохлады, поглощала все звуки.

После полудня наступала самая жаркая пора дня. Элизабет исподтишка огляделась и осторожно расстегнула две верхние пуговицы платья, надеясь, что никто этого не заметит. Никто и не заметил, никому до неё не было дела, все были заняты собой – телеги трясло, дети плакали, волы мычали, требуя воды, всадники, сморённые жарой, время от



времени падали с лошадей. Пора уже было остановиться для передышки, но проводник почему-то медлил, хотя порой в чаще мелькали светло-зелёные прогалины.

Когда Эрнесто, подхлестывая лошадь, попытался обогнать её телегу, она окликнула его и спросила, почему не сделать привал, чем плохи эти прогалины? Он ответил: “Здесь нельзя ни на шаг сойти с тропы. Тут сплошные болота”.

“Болота! – ужаснулась она. – Значит, привала долго ещё не будет?”

Эрнесто пожал плечами и двинулся вперёд, осторожно удерживая лошадь на самом краю тропы. Следом за ним, так же осторожно удерживая лошадь на краю тропы, к телеге Элизабет приблизился Бернард и спросил: “Устала?”

Элизабет поспешно застегнула пуговицы, ведь она обещала ему соблюдать форму, невзирая на трудности:

“Не то чтобы устала, но хорошо бы хоть ненадолго сойти на твёрдую землю”.

Он наклонился и ласково коснулся её щеки: “Вот твёрдой земли здесь как раз и нет. Так что терпи”.

Она прижалась щекой к его ладони, ладонь слегка пахла дымом, потом и конским навозом.

“Я и терплю. Ведь цель уже близко. И мы победим!”

Бернард помедлил, прежде чем высвободить ладонь из её пальцев, и двинулся дальше в голову колонны. Пегая лошадка его была такая низкорослая, что, если бы не стрелена, длинные ноги Бернарда волочились бы по земле.

## **ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ**

Фридрих становится всё более странным и непостижимым! Недавно в Индонезии произошло страшное землетрясение, которое уничтожило двести тысяч человек. И вот что он мне об этом написал:

“Как это прекрасно – в один миг уничтожено двести тысяч человек! Это великолепно! Вот конец, ожидающий человечество, вот конец, к которому оно придёт!”

Душа моя содрогнулась, когда я прочла эти строки – я боюсь, что мой несчастный друг все быстрее и быстрее ли-

шается разума. Страшно подумать, что с ним будет, если мои страхи не напрасны. Он уже рассорился с большинством своих друзей, может быть, скоро придёт и моя очередь.

Но хватит о грустном, ведь кроме Фридриха есть ещё другие люди и другие интересы. И есть что новенького записать в дневник.

Я вчера вернулась из Версаля, где почти месяц гостила у моей дорогой Ольги. Странное дело – я так люблю мою девочку, я счастлива видеть, как прекрасно сложилась её жизнь, как дружно она живёт с Габриэлем и какие прекрасные у них дети. И всё же я быстро устаю от их благополучия и рвусь обратно в свою одинокую римскую квартиру к своей одинокой римской жизни – без дружеского тепла и без детского смеха. А ведь у меня были дорогие друзья, Поль и Фридрих, которых я потеряла по собственной оплошности, впустив в нашу славную дружескую компанию великую разрушительницу Лу Саломе. Я была так наивна, так слепа, когда поддалась её коварному обаянию!

Я не виделась с Лу почти пять лет. Наша переписка увяла и прервалась ещё в тот драматичный год, когда она поссорилась Фридриха с Полем, и я знала о ней только по многочисленным её публикациям. Я уже писала о том, какое жалкое впечатление производит на меня её литературное творчество, но, как видно, её обаяние пересиливает у многих способность к критической оценке.

И вот неожиданно я опять встретила её, на этот раз в Париже. По какой-то непонятной мне причине Ольга настаивала, чтобы я посетила их именно в январе. Я долго отнекивалась, потому что терпеть не могу парижскую зиму – с лондонских времён мои легкие плохо переносят холодный воздух. Но Ольга продолжала настаивать со странным упорством и мне пришлось согласиться.

Оказалось, что моя девочка приготовила мне потрясающий сюрприз: ей удалось заказать билеты на премьеру спектакля в театре Комеди Франсез с Сарой Бернар в главной роли. Великая актриса пару лет назад покинула труппу Комеди Франсез и стала гастролировать по всему миру. В январе она всё же согласилась выступить в Париже в пьесе

Сарду “Тоска”, и в публике началось безумие. Билеты расхватывали задолго до премьеры, и к началу гастролей Сары Бернар целые семьи ценителей актёрского мастерства стали стекаться со всей Европы в Париж. Отели были переполнены так же, как рестораны и кафе. Это был настоящий праздник искусства!

В этом году зима в Париже выдалась суровая, но, несмотря на мороз и глубокий снег на тротуарах и мостовых, толпы продрогших людей томилась в день премьеры у окошка закрытой кассы театра в надежде на распродажу невостребованных заказов. А перед началом представления эти же толпы выстроились вдоль ведущего к театральным дверям тротуара, выпрашивая лишние билеты.

Оленька задумала устроить мне настоящий праздник. Мы с ней заехали за Габриэлем в Сорбонну за несколько часов до начала спектакля и отправились обедать в заранее облюбованный ею ресторанчик, где встретились с её друзьями Надин и Анри, тоже удачливыми обладателями билетов. Мы впятером заняли свою ложу ещё до того, как зал заполнился такими же счастливыми, как мы. Предвкушая предстоящее удовольствие, мы весело болтали. Надин, страстная поклонница Сары Бернар, посвящала нас в неизвестные нам подробности жизни великой актрисы, настоящее имя которой было Генриетт Розина Бернар.

С интересом слушая рассказ Надин о куртизанке еврейке Юдифи Бернар, матери Генриетт Розины, я краем глаза следила за втекающим в зал потоком нарядно одетых людей. Воздух вокруг был наэлектризован пересекающимися всплесками радостных приветствий и весёлого смеха – мне редко случалось встретить враз такое количество счастливых людей. Поскольку все, опасаясь опоздать, стремились попасть в театр как можно раньше, ряды партера и ложи заполнились публикой задолго до начала спектакля. Это было странное зрелище, совсем как в церкви – свет в зале горел, никто не вскакивал со своих мест и даже не разговаривал, разве что шёпотом.

И вдруг зал зашевелился и зашелестел, как будто по рядам прокатилась волна. Со всех сторон к противополож-

ному нашей ложе углу зала стали стекаться элегантные господа в чёрных фраках и белых манишках, внезапно напомнившие мне пингинов, которых я видела в венском зоопарке. Дойдя до невидимой мне цели, они останавливались и теснились вокруг какой-то светловолосой головы, по всей вероятности, женской, склоняясь иногда так, словно целовали этой голове руку. Зазвенел пронзительный звонок, и свет в люстре под потолком начал постепенно меркнуть. Стайка галантных пингинов поспешно рассеялась по залу, так что мне удалось рассмотреть в ложе напротив знакомое лицо моей потерянной, но не забытой курсистки Лу фон Саломе.

Странно, почему я заранее не предположила, что Лу обязательно будет в этом зале, куда стеклись самые сладкие сливки европейского культурного сообщества? И всё же я не могла предположить, что эти сладкие сливки дружно, как по команде, стекутся к её ложе для совершения обряда целования руки. Как и когда она умудрилась обольстить целое стадо этих элегантных пингинов?

Занавес медленно пополз вверх, давая мне возможность поискать глазами лицо моего дорогого Поля, место которого должно было быть рядом с Лу. Но рядом с ней сидел кто-то другой, незнакомый, чернокудрый и бородатый. Воспользовавшись затянувшимся музыкальным вступлением, я спросила всезнающую Надин, знакома ли она с Лу Саломе.

“Со знаменитой Лу фон Саломе? – живо откликнулась Надин. – Лично я с нею не знакома, но знаю всё, что о ней говорят. А о ней говорят все – ведь имя её на слуху”.

Значит, моя бывшая ученица добилась того, чего хотела!

“А кто этот бородатый господин, сидящий рядом с нею в ложе?”

“Это её муж, профессор-востоковед Карл Андреас”.

Вот это новость – Лу вышла замуж! Никогда бы не поверила – может быть, это ошибка?

“Вы уверены, что Лу вышла замуж?”

Глаза Надин возбуждённо вспыхнули: “Конечно, уверена. Свадьба была совсем недавно и о ней писали все газеты”. Она вдохнула воздух, чтобы что-то добавить, но увертюра закончилась и началось действие. Надин шепнула: “Поговорим в антракте”, – и поднесла к глазам бинокль.

В антракте мы с Надин вышли из зала, оставив мужчин и Ольгу увлечённо обсуждать достоинства и недостатки пьесы Сарду. Публика в фойе вращалась упорядоченным стройным кольцом, таким образом, что два потока, не смыкаясь, текли навстречу друг другу в противоположных направлениях. Надин подхватила меня под руку и страстно зашептала мне в ухо, стараясь перекрыть гул множества голосов, которым было заполнено пространство фойе:

“О браке Лу с профессором Андреасом ходят самые невероятные слухи. Представляете...”

Едва Надин успела произнести последнее слово, как из марширующей навстречу колонны выступила героиня нашей беседы и бросилась мне на шею:

“Мальвида, дорогая, как я рада видеть вас здесь! Ну конечно, можно ли было представить, что вы пропустите такое театральное событие!”

Мы остановились в центре фойе, создавая вокруг себя бурлящую воронку. Строй колонны Лу смешался, так же, как и строй нашей. Лу осталась верна себе: её нисколько не заботило удобство окружающих и не задевало их недовольство. Впрочем, в отличие от Байройта, недовольства я на этот раз не заметила – напротив, все уставились на нас с нескрываемым любопытством. Похоже, что за время, протекшее с вагнеровского фестиваля, Лу и впрямь стала знаменита.

Она представила мне своего супруга, а я в ответ прямо осведомилась, куда она девала Поля. Она отмахнулась от моего вопроса так небрежно, что у меня сердце оборвалось, – я поняла, что, поднимаясь на следующую ступеньку, она отставила Поля так же бессердечно, как когда-то отставила Фридриха и меня. К этому времени сопровождавшим Лу пингвинам надоела созданная нашей встречей заминка, и они начали оттеснять её от меня в текущий мимо поток.

Когда мы двинулись дальше по магическому кругу фойе, Надин вцепилась в мой локоть: “Вы! Вы! Как я сразу не сообразила, что вы та самая знаменитая Мальвида фон Мейзенбург!”

“Чем же я знаменита?”

“Вы первая ввели Лу Саломе в закрытый клуб великих мира сего! Вы познакомили её с самим Рихардом Вагнером и с философом Фридрихом Ницше! Неизвестно, чего бы она достигла, если бы не вы!”

“А чего она достигла? Вышла замуж за профессора-востоковеда? На моих глазах ей делали предложение многие профессора, и она всем им отказала. Чем же этот Карл Андреас так отличился?”

Надин облизнула губы острым язычком: “Говорят, она согласилась выйти за него замуж при условии, что он никогда к ней не прикаснётся, и он с этим смирился. Представляете себе этот брак? Посмотрим, как долго он способен соблюдать такое соглашение!”

## **МАРТИНА**

Биографы Лу Андреас фон Саломе сходятся на том, что профессор Карл Андреас выполнял соглашение с ней до самой смерти, все сорок два года их брака.

## **ЭЛИЗАБЕТ**

Всю ночь Элизабет не могла уснуть. Она читала, читала и в сотый раз перечитывала полученное вчера письмо от Фрицци, пока раздражённый Бернард не потребовал, чтобы она погасила лампу. Она долго лежала в темноте, и слёзы текли у неё из глаз так обильно, что заливали ей уши. Обычно она радовалась письмам Фрицци, какой бы вздор ни был в них написан. Но сейчас это был уже не вздор, а какой-то кошмар, какой-то...она не могла подыскать слово, какое-то святотатство, что ли, или просто бред сумасшедшего.

“Козима Вагнер – лучшая из женщин, – пишет Фрицци, – только благодаря ей Рихарду удалось создать “Кольцо Нибелунгов”. А после “Кольца” она сделала остальное – она воздвигла Байройтский фестиваль и написала “Парсифаль”, а Рихард всё присвоил. Он командовал ею, угнетал её и унижал, непрерывно заводя интрижки со своими певичками. А Козима страдала и терпела – ради детей, не ради Рихарда. Ведь она давно его не любила, а любила меня”.

Дойдя до этого места, Элизабет начинала так сильно дрожать, что строки путались и буквы прыгали у неё перед глазами. Только полный безумец мог написать такую чушь. Многократно осушив застилавшие глаза слёзы, она делала новую попытку читать дальше.

“Ещё в ту пору, когда я приезжал к Вагнерам в Трибсхен, Козима была ко мне очень внимательна, она терпеливо выслушивала мои мнения, она читала мои рукописи и искала случая остаться со мной наедине под видом их обсуждения. Конечно, Рихард терпеть не мог наши уединения. Терзаемый ревностью, он всегда находил предлог, чтобы прервать наши интимные беседы”.

Читать дальше не было сил, такой страх охватывал душу Элизабет – у неё не оставалось сомнений, что её дорогой Фрицци потерял разум. Уж кому как не ей, прожившей несколько лет при доме Вагнеров, было знать, кто кого в этом доме любил и кто кого ревновал. Чтобы не разбудить Бернарда, она стиснула зубами угол подушки, но и это не помогло – рыдания сотрясали её тело. В конце концов Бернард проснулся и потребовал дать ему поспать хоть еще пару часов, так как завтра ему предстоит тяжёлый день. Элизабет знала, что он собирается объехать участки нескольких колонистов, недовольных положением дел в колонии.

На эти встречи ему понадобится потратить уйму времени. Он сам в этом виноват – ведь когда-то в начале пути он зачем-то потребовал, чтобы строящиеся дома отстояли друг от друга не меньше, чем на милю. А теперь ему предстоит проскакать эти бесконечные мили по едва протоптаным лесным тропинкам.

Конечно, Бернард тяжело переживает свалившиеся на колонию непреодолимые трудности. Когда рассеялся туман восторга от того, что колонисты благополучно добрались до места назначения, они к своему ужасу обнаружили, какая каторжная работа их ожидает. Строительство домов продвигается крайне медленно, ведь сначала строить было негде – первым делом нужно было выкорчевать лес. А лес не давался – могучие корни вставали дыбом, но из земли не выходили. При этом срочно нужно было выкорчевать лес для

посевов и вскопать землю под поля, но земля тоже не давалась. Почва оказалась ужасно тугой и вязкой, практически не поддающейся плугу. И главное, быстро выяснилось, что семена, привезённые из Европы, не всходят в здешней почве, а если и всходят, то не плодоносят.

Хоть Элизабет непрерывно пишет родным и близким, что у них в Парагвае земной рай, на деле земля не приносит ни урожаев, ни доходов, а скудные сбережения утекают, как вода из решета. Она расхваливает немецким друзьям замечательный парагвайский климат, а он воистину ужасен – постоянную невыносимую жару сменяют краткие периоды невыносимых проливных дождей, сметающих мосты и протекающих сквозь соломенные крыши тесных глинобитных хижин, в которых пока уютятся колонисты. Долги растут, сбережения тают, но, к счастью, некоторые люди всё ещё продолжают верить в осуществление мечты. А некоторые начинают бунтовать. Именно таких бунтовщиков собирается навестить завтра Бернард в надежде убедить их, что временные трудности не должны сломить их волю к победе.

Ах, как некстати пришло это безумное письмо от Фрицци, полностью поглотившее внимание Элизабет! Из-за Фрицци она не может быть Бернарду опорой и поддержкой в трудную минуту, она может быть ему только обузой и бременем. Выбравшись после бессонной ночи из духоты хижины, она сквозь слёзы следила, как слуга-индеец Игнацио неумело готовит завтрак Бернарду на кое-как слепленной глиняной печке.

Игнацио то и дело ронял в траву то ложку, то нож, то тесто для лепешек. И нисколько не смущался своей неуклюжестью, которую, не моргнув глазом, объяснял вмешательством злых духов. Элизабет давно уже перестала упрекать Игнацио за нерадивость – за эти полтора года она хорошо изучила характер здешних индейцев. И усвоила главное правило: с ними нужно обращаться как с детьми – держать в строгости и дарить маленькие подарки.

“Лепёшки подгорели как всегда?” – спросил Бернард, присаживаясь к шаткому столу, приютившемуся в тени хижины. В тесной хижине для стола не было места, а в тени деревьев ничего нельзя было поставить – с их веток непрерывно сы-



пались самые разные ядовитые твари, от красных блох до зелёных змей. Однажды к ногам Элизабет упала даже крошечная обезьянка, вслед за которой с ветки соскочила ее разъярённая мамаша и, оскалив зубы, бросилась защищать своё дитя, на которое никто не покушался.

Поднеся к губам чашку кофе, Бернард, наконец, изволил заметить заплаканные глаза жены:

“Может быть, ты расскажешь мне, что стряслось? У ненаглядного Фрицци опять неприятности?”

Элизабет стало до боли обидно. Она, конечно, знала, что Бернард и Фрицци терпеть друг друга не могут, но всё же рассчитывала хоть на маленькое снисхождение со стороны мужа. Ведь она с самого начала взвалила на свои плечи тяжкое бремя организации их общего великого проекта, она вела их запутанную бухгалтерию, в пути она организовывала погрузки и разгрузки, а на месте следила за распределением строительных материалов. И вот, пожалуйста, стоило упомянуть имя брата, как все её заслуги забыты и Бернард оцетинился не хуже рассерженного ежа.

Пока она напряжённо сдерживала подступающие к горлу рыдания, Бернард изловчился и выхватил у нее зажатое в кулаке письмо Фрицци. Он расправил измятые листки и начал читать вторую, не читанную ею страницу:

“Мы с Рихардом начинали вместе, гениальные и непризнанные, ...тут неразборчиво, как ты его читаешь? Та-та-та, он ухитрился выскочить на сцену впереди меня та-та-та, и похитил у меня всё – восторг толпы, мировую славу и любимую женщину”.

“Это Козиму, что ли? – грубо захохотал Бернард, скомкал письмо Фрицци и швырнул его Элизабет. – На, забери эту мерзость и не смей больше произносить при мне имя своего никчемного братца, у которого великий Рихард Вагнер похитил мировую славу!”

Справедливые слова Бернарда обожгли Элизабет еще сильнее, чем если бы они были несправедливы, и она выкрикнула:

“Разве ты не понимаешь, что мой бедный брат просто сошел с ума?”

Но Бернард уже её не слушал – бросив на стол кусок обгоревшей лепёшки, он спешил навстречу Игнацио, который вёл на поводке его любимого белого скакуна. Скакуна он купил несколько недель назад и страшно им гордился, хотя колонисты шептались за его спиной, что он истратил кучу денег на покупку этого коня, а они вынуждены довольствоваться унылыми низкорослыми лошадаками, похожими на мулов. Наблюдая как Бернард вскидывает ногу в стремя, Элизабет необдуманно спросила, поздно ли он вернётся.

“Откуда я знаю!” – огрызнулся Бернард и, не прощаясь, поскакал по узкой тропке, извилисто струящейся в лесную чащу. Элизабет прикусила губу и обругала себя за неуместный вопрос – зачем спрашивала, ведь заранее знала, что Бернард огрызнется. Последнее время отношения с Бернардом стали очень напряжёнными. От непрерывных неудач и неурожаев Бернард стал груб и раздражителен не только к нею, но и со всеми остальными. Он объявил, что каждый наездник при встрече с ним должен спешиться и стоять на краю тропы, пока Бернард не минует его на своём скакуне. И объяснял Элизабет, что только жестокая дисциплина может удержать колонистов от бунта.

Отгоняя грустные мысли, Элизабет нерешительно топталась на краю поляны, которая ещё совсем недавно была частью джунглей. Выбор был небольшой. Если спрятаться в тени дерева, с веток начинают сыпаться крошечные красные блошки, от укусов которых всё тело покрывается гнойной сыпью. Если выйти из-под дерева на тропу, беспощадное солнце кусает не хуже, чем блошки, и оставляет на коже коричневато-красные пятна.

Возвращаться в духоту своей глинобитной хижины тоже не хотелось. Элизабет, забыв, что она без шляпы, необдуманно вышла на поляну и под прицелом палящего солнца направилась в сторону своего будущего дома. Дом этот она спроектировала сама – она так долго о нём мечтала, что представляла его себе до мельчайших деталей. И назвала его Фюрстеррот. Уже почти год полдюжины индейцев строят её Фюрстеррот под присмотром одного из колонистов, архитектора Дитера Чагги. Это будет прохладный дом с высокой

крышей, прикрывающей стены сверху донизу для защиты от жары и солнца. Когда дом будет готов, в центре гостиной она поставит свой белый рояль, на котором будет играть произведения Вагнера.

Мысль о Вагнере вернула её к письму Фрицци. Она оставилась, вынула письмо из кармана и стала перечитывать тот абзац, который Бернард прочёл вслух. Солнце палило нестерпимо и, чтобы разобрать слова, нацарапанные корявым почерком брата, ей пришлось прикрыть страничку ладонью. Ужас того, что она прочла, пронзил её сердце, солнечный луч пронзил ее темя, мир поплыл у неё перед глазами, и она без сознания упала на траву.

Очнулась она от странного чувства, будто она плывёт по воздуху, плывёт, но не падает, потому что её крепко держат чужие мужские руки. Определённо чужие, не Бернарда. Бернард, хоть и высокий, но костлявый, хлипкий и гладкий, а эти руки показались ей мускулистыми и волосатыми. Она чуть-чуть повернула голову и уткнулась взглядом в могучую волосатую грудь.

“Очнулась? – спросил знакомый голос, хоть она сразу не могла припомнить, чей. – Стать на ноги можешь?”

“Попробую”, – прошептала она и вспомнила, что это голос архитектора Дитера Чагги, того самого, маленькая дочка которого умерла по дороге из Монтевидео в Асунсьон. Пока он её нёс, она, боясь упасть, инстинктивно обхватила руками его крепкую шею, ничем не похожую на хрупкую шею Бернарда.

“Лучше я тебя посажу”, – сказал Дитер и, сделав несколько шагов, опустил её на что-то твёрдое. Уже сидя, она разомкнула руки и огляделась – перед ней был её любимый Фюрстеррот, под ней его парадное крыльцо. Дитер сел на крыльцо рядом с ней и быстрым движением расстегнул три верхних пуговицы её черного платья.

“Будешь и дальше ходить в этом дурацком наряде, опять упадёшь в обморок в лесу и тебя кто-нибудь съест. Твоё счастье, что я тебя случайно заметил”.

Ей вдруг захотелось быть откровенной с ним, она так устала вечно носить маску и притворяться.

“Я бы и рада это платье сбросить, но не могу себе позволить. Люди перестанут меня уважать”.

“А ты сбрось и проверь – может, и не перестанут, – сказал Дитер и, ловко расстегнув еще три пуговицы, коснулся её горла кончиками пальцев. – Какая у тебя кожа белая! Ни разу солнца не видела”.

Его прикосновение к её коже обожгло её изнутри, словно он коснулся какой-то неизвестной до этого мига чувствительной точки в глубине её тела. Она затаила дыхание и стала лихорадочно придумывать слова, которые нужно сказать, чтобы он этого не заметил. Первое, что пришло на ум, был вопрос о доме – скоро ли он будет готов? Вопрос был глупый, ведь она почти каждый день обсуждала с Дитером сроки окончания работ. Но он сделал вид, будто вопрос его не удивил, и ответил точно, как вчера, что дом будет готов к сдаче через месяц.

И тут она расплакалась, как маленькая. Она заходила в рыданиях и билась головой о деревянный столбик, подпирающий дощатый навес над крыльцом, а Дитер испуганно оттаскивал её голову от столбика и спрашивал, в чём дело, чем он её огорчил? Через бесконечное число судорожных всхлипов она выдавила из себя, что он ни при чем, просто у неё стряслось большое горе, а Бернарду нет до этого никакого дела и ей не с кем своим горем поделиться.

“Поделись со мной”, – щедро предложил Дитер и бережно положил её голову к себе на голое плечо. От плеча пахло потом и ей вдруг захотелось слизнуть этот пот языком. Но она, разумеется, ничего подобного не сделала и сделать не могла – она была порядочная замужняя женщина и ей было бы негоже слизывать пот с плеча чужого мужчины. Вместо этого она рассказала чужому мужчине, что её единственный любимый гениальный брат Фридрих, которому врачи давно пророчили безумие, действительно и окончательно сошел с ума.

“Откуда ты знаешь?” – разумно спросил Дитер.

“Из его письма, – она всё ещё зажимала в кулаке скомканный листок, исписанный неровными каракулями Фрицци, расплывшимися от обильно пролитых на них слёз. – Такое письмо мог написать только безумец”.

“Ты знаешь, сколько времени идёт письмо из Европы сюда?”

“Конечно, знаю. Около двух месяцев”.

“Так зачем огорчаться? Может, твой брат за эти два месяца уже давно пришёл в себя. Мало ли что человек сгоряча напишет”.

Элизабет вспомнила о разных причудах Фрицци, о странных его капризах и нелепых выходках, и спросила неуверенно:

“Ты думаешь, он мог написать сгоряча?”

“Конечно, мог! – Дитер решительно разорвал письмо и бросил обрывки в мусорный бак со строительными отходами. – Забудь об этом письме и жди следующего”.

Из джунглей выехала запряженная пегой лошадкой телега с большим чаном краски и остановилась у крыльца. Сидевший на облучке индеец крикнул что-то на гуараньо, в ответ из дому неспешно вышел другой индеец и, облокотясь на облучок, завёл с первым неторопливую беседу.

“Удивительные люди, – пожал плечами Дитер, – никогда никуда не торопятся. Похоже, они не знают, что такое время”.

“Они правы – в джунглях время не идёт. Это краска для гостиной?” – Элизабет попыталась встать на ноги, но голова у неё закружилась и она схватилась за деревянный столбик, чтобы не упасть. Дитер подхватил её и, легко нажав на плечо, усадил обратно:

“Не спеши вскакивать! Ты ведь знаешь, что в джунглях время не идёт, вот и живи как индеец!”

Она не ответила, потрясённая тем, как её опять обожгло лёгкое прикосновение его ладони к её плечу. Пока она беспомощно молчала, Дитер скомандовал что-то на гуараньо и махнул рукой в сторону дома. Индейцы послушно прервали беседу и, подхватив чан за обе ручки, потащили его в дом.

“Посиди ещё десять минут и я провожу тебя домой”, – пообещал Дитер и пошел вслед за индейцами вглубь дома. Элизабет обхватила руками столбик и прижалась к нему щекой. Голова невнятно кружилась, и ноги были как ватные. Ей не хотелось идти обратно в душную хижину, но ещё меньше хотелось седлать лошадку, чтобы отправиться в кон-

тору и заняться обычными делами колонии. Сбитая с толку всем происшедшим, она зачем-то вспомнила, что от огорчения выскочила из дому, забыв подкрасить губы. Она с юных лет подкрашивала губы карминово-красной помадой, чтобы отвлечь внимание встречных от своего косоного глаза, а вот сегодня как раз забыла. Надо же, именно сегодня! А, собственно, что такое – именно сегодня? Она не успела додумать эту мысль до конца, как Дитер вышел на крыльцо.

“Ну как, отдышалась? – спросил он, стирая с пальцев следы краски. – Тогда пойдём. Я задал индейцам работу на весь день и могу проводить тебя домой”.

“Можно, я тут ещё немножко посижу? Дома такая духота, а у меня голова кружится”.

“Можешь сидеть сколько хочешь, это твой дом. Но через четверть часа тень отсюда уйдёт и станет жарко как у чёрта на сковороде”.

Элизабет слегка содрогнулась от той легкости, с какой Дитер упомянул чёрта, но промолчала: она уже давно поняла, что он поехал в Парагвай не из идейного порыва, а из любви к приключениям – в Европе ему было тесно.

“Куда же мне деться?” – спросила она жалобно.

“Знаешь что, поехали ко мне – у меня почти прохладно!”

Элизабет слегка заколебалась, но деваться было некуда. И она согласилась, хоть и почувствовала в его предложении какой-то подвох. По колонии ходили легенды о домике Дитера, который он сам спланировал и построил, но она никогда его домик не видела. Он отказался от земельного участка, не пахал и не сеял, зарабатывал строительством и жил одиноко, никогда никого к себе не приглашая.

Дитер сел на облучок телеги, а Элизабет пристроилась на охапке сена, брошенной на дно, и они двинулись в путь. Ехать было недалеко, и хоть в джунглях стояла страшная духота, зато солнце не проникало сквозь глухую листву. По дороге они обсуждали предполагаемое новоселье Фюрстеров – Элизабет была против больших торжеств, опасаясь, что люди станут злословить из зависти. А Дитер утверждал, что люди всё равно будут завидовать и злословить, так не лучше ли порадовать их праздником и даровым угощением?

Не успела Элизабет возразить или согласиться, как они уже подкатили к домику Дитера – снаружи он был маленький и симпатичный. Но внутри он оказался совсем не маленьким, так остроумно он был спланирован. А главное, окна в нем были расположены так хитро и в ставнях просверлены такие особые дыры, что комнаты всё время продувал лёгкий сквозняк.

“Господи, как тут прохладно!” – восхитилась Элизабет, оглядывая крошечный салон, освещенный сумеречным светом, сочащимся сквозь полуприкрытые ставни. Дитер вошёл вслед за ней, запер за собой дверь и сказал:

“Первым делом освободись от своего монашеского наряда!”

Она даже не успела сообразить, о чём он, как он одним ловким движением сдернул с неё полурасстёгнутое душное платье и застыл в изумлении – она в растерянности стояла посреди комнаты совершенно нагая, если не считать ступней, прикрытых соскользнувшим с бедер платьем. Хоть статус обязывал её носить наглухо закрытое чёрное платье, он не обязывал её надевать под платье нижнее бельё.

Тут ей бы следовало возмутиться, дать нахалу пощёчину и выскочить вон. Но куда можно выскочить без платья и как добраться до дома? Впрочем, в эту минуту ей и в голову не пришло возмущаться и высказывать вон. Ей почему-то было радостно стоять обнажённой посреди его комнаты в его доме и чувствовать на себе его восхищённый взгляд. На неё никто никогда так не смотрел, а уж Бернард и подавно. А смотреть стоило – она хорошо сохранилась, не рожала и не кормила грудью, не располнела, не сохлась и выглядела не хуже, чем двадцать лет назад.

“Никогда б не подумал – настоящая фарфоровая статуетка!” – воскликнул Дитер, подхватил её на руки и понёс в крошечную спальню, затаившуюся за индейской шторой из разноцветных деревянных бусин. И вместо того, чтобы вырваться из рук этого наглеца, она сделала то, что давно хотела сделать – слегка повернула голову и слизнула капли пота с его голого плеча.

## ДНЕВНИК МАЛЬВИДЫ

Трудно поверить в то, что случилось. Последнее время я каждую ночь просыпаюсь в холодном поту, надеясь, что этот кошмар мне просто приснился. Но нет, это не страшный сон, это явь, чудовищная, уму непостижимая явь – я навсегда поссорилась с Фридрихом, вернее, Фридрих навсегда поссорился со мной. Навеки, окончательно и бесповоротно! После шестнадцати лет такого тесного содружества, такого глубокого взаимопонимания, какое редко встречается между людьми! Сколько страниц его неразборчивых рукописей я прочла и подправила! Сколько раз за эти годы я бросала всё и мчалась спасать его в любое место Европы, где его постигла беда! А беда постигала его не реже двух раз в год. И после этого он посмел написать мне, что я никогда не понимала ни одного его слова, ни одного его шага.

Наша ссора началась из-за его непостижимой ненависти к Рихарду. Уже почти пять лет прошло со дня смерти Рихарда, а ненависть Фридриха всё ярче разгорается, и он не стесняется обнародовать её в самых резких выражениях.

“Я далек от того, чтобы безмятежно созерцать, как этот декадент портит музыку! Человек ли вообще Вагнер? Не болезнь ли он скорее? Он делает больным всё, к чему прикасается, и музыку он тоже сделал больной”.

Прочитав эти мерзкие слова в эссе “Случай Вагнера”, я не сдержалась и упрекнула Фридриха – возможно, слишком резко. Я написала ему, что найдутся люди, которые заподозрят его в зависти к славе нашего великого покойного друга. На что он ответил претензией, нелепой до смешного:

“При чём тут зависть? Меня просто предали – за десять лет никто из моих мнимых друзей не счёл своим внутренним долгом защитить моё имя от абсурдного замалчивания, под которым оно было погребено”.

Написать это мне, мне, которая все эти годы только и делала, что рассылала его книги всем, кому могла! Я лучше других знаю, как он страдает от своей незаслуженной неизвестности, но я также знаю, что это страдание только повышает уровень его гордыни. Вот выдержка из его письма:



“Я побежал в библиотеку и просмотрел все философские журналы за год. Какой ужас – меня никто не цитирует и не упоминает! И это – в тот момент, когда на мне лежит несказанная ответственность, когда слова, обращённые ко мне, должны быть нежны, а взгляды – почтительны как никогда. Ведь я несю на своих плечах судьбу человечества!”

Я позволила себе подшутить над этими словами – написала, что бедное человечество пока еще не осознало, кто несёт на своих плечах его судьбу. И получила, так сказать, по заслугам:

“Я постепенно порвал почти все отношения с людьми из чувства отвращения. Теперь очередь дошла и до вас... Вы “идеалистка” – я же считаю идеализм лживостью, ставшей инстинктом, упорным нежеланием смотреть в лицо действительности”.

Трудно поверить, что десять лет назад мой бывший любимый друг Фридрих Ницше, захлебываясь от восторга, писал мне после прочтения моих “Воспоминаний идеалистки”:

“Я давно не читал ничего, что бы так перевернуло меня и так оздоровило. Ощущение чистоты и любви не покидало меня, и природа в тот день была лишь отражением этого ощущения. Вы стояли передо мной как лучшая часть меня самого, самая лучшая, скорее ободряя меня, чем пристыжая: я мерил свою жизнь, взяв вас за образец, и искал, чего мне в себе не хватает...”

Я с трудом сдерживаю слёзы, но иногда мне это не удаётся и тогда я рыдаю отчаянно и безудержно, как рыдала только в детстве. Я оплакиваю не только моего бедного Фридриха, зачем-то отвергнувшего своих лучших друзей, но и себя, отвергнутую и одинокую.

## МАРТИНА

Но одинокой Мальвида осталась ненадолго: заботливое Провидение в сговоре с её мощным материнским инстинктом привело её в версальский дом Ольги именно тогда, когда там гостил молодой студент Габриэля Моно Ромен Роллан. И у

них началась многолетняя игра в дочери-матери – ей было семьдесят два, ему двадцать семь, в точности как Фридриху Ницше, когда она подобрала того в гостиной Вагнеров.

Ромен Роллан собирался на несколько лет поселиться в Риме, чтобы работать там в музыкальных архивах над своей докторской диссертацией по истории европейской оперы. Мальвида сходу пригласила молодого человека посетить её в её римской квартире на улице Польшверьере, куда он и пришёл сразу по приезду в Рим. Пришёл с визитом вежливости, зашёл мимоходом, на минутку, и остался на долгие годы. В какой бы стране он ни жил, он всегда о ней помнил, он всегда с ней переписывался, он всегда обсуждал с ней проблемы особо его волнующие. А в 1901 году выдвинул её на Нобелевскую премию по литературе, которую она, правда, не получила.

Ромен Роллан так часто и надолго засиживался у Мальвиды, что стал отставать в своих музыкальных занятиях в римской консерватории. Тогда Мальвида взяла напрокат пианино, чтобы в паузах между их страстными спорами о судьбах культуры он мог готовиться к своим фортепианным концертам. Роллан тогда готовился стать концертирующим пианистом и вовсе не помышлял о писательской карьере. Но однажды ему захотелось записать для Мальвиды какую-то позабавившую его сценку. Прочитав его рассказ, она сказала ему: “Оставьте музыку своим хобби. Вам суждено стать великим писателем”. И он им стал.

## ФРАНЦИСКА

Франциска, стоя у окна, поспешно распечатала конверт с письмом Элизабет. Письмо начиналось отчаянными вопросами о здоровье Фрицци и ещё более отчаянными жалобами на то, что Бернарду нет никакого дела до болезни её дорогого брата.

“А письма идут так долго, так долго! Я понятия не имею, что происходит с Фрицци в тот момент, когда я с трудом разбираю его несчастные каракули. Мне даже кажется порой, что его уже нет в живых. Мама, дорогая мама, я схожу с ума

от беспокойства! Напиши мне всю правду – где он, кто следит за его состоянием. Мальвида недавно прислала мне короткую записку, в которой жалуется, что Фрицци порвал с нею навсегда. Это сообщение потрясло меня больше, чем безумные письма самого Фрицци. Что теперь с ним будет – ведь у него нет и не было более верного друга, чем она?”

Глаза Франциски заволокло слезами, – она догадывалась о временных расстройстве рассудка сына, но всё же и мысли не допускала, что он может даже в помрачении отказаться от многолетней дружбы Мальвиды. Что греха таить, она, Франциска, поначалу вскипала от ревности к этой посторонней нахалке, захватно усыновившей её непокорное дитя, но с годами примирилась с ней и даже признала всю важность её влияния на Фрицци. Кто же теперь позаботится о нём? Ведь заботу матери он отверг уже лет десять назад, она не смеет просто поехать к нему и предложить свою помощь. Тем более теперь, когда его так стремительно носит по свету, что неясно, где его можно отыскать в данную минуту. Он даже своего адреса ей не дал, и она пишет ему на адрес какого-то базельского профессора, которого никогда в глаза не видела, но которому сын доверяет больше, чем родной матери.

Из-за слёз, Франциска не сразу заметила, как по дорожке, ведущей к дому, поспешно семенит Моника, призывно помахая ей письмом Генриха. Она так торопилась поделиться с Франциской какой-то новостью, что даже не потрудилась аккуратно сложить письмо и вернуть в конверт, как она делала обычно. Франциска наспех сунула письмо дочери в первую попавшуюся книжку, но даже не успела поставить книжку обратно на полку, как в гостиную ворвалась Моника и сразу заметила забытый на столе конверт.

“Ну, прочла? И что ты скажешь об успехах своей дочурки? Надо же – мать Новой Германии! А ведь притворялась скромницей!” – возбуждённо выкрикнула Моника. Франциска растерялась – было ясно, что скрыть письмо Элизабет уже не удастся, но и показать его Монике было невозможно, – она вовсе не хотела, чтобы та узнала про болезнь Фрицци. Востроглазая Моника сама предложила ей выход:

“Ты плачешь, что ли, подруга? От радости или от горя?”

Отпираться не имело смысла – слёзы всё ещё струились по щекам Франциски:

“Честно говоря, сама не знаю, от радости или от горя. Лиззи на целых двух страницах изливается, как она по мне скучает и как страдает, что покинула меня надолго одну. И мне стало страшно – а вдруг я не доживу до встречи с ней? Мы ведь никогда надолго не разлучались! Я так расстроилась, что даже письмо её до конца дочитать не успела”, – тут Франциска заплакала совершенно искренне, и Моника также искренне заплакала вслед за ней:

“Мы с тобой несчастные одинокие старухи. Нам только и остаётся, что читать письма наших детей. Вот послушай, что Генрих пишет”. И она развернула кое-как сложенный листок:

“Вчера мы с большой помпой отпраздновали новоселье Фюрстеров. Элизабет прикатила к своему новому дому на элегантных дрожках, специально сконструированных для этого случая архитектором Дитером Чагга. Наши уже шепчутся – не слишком ли усердно Дитер Чагга старается угодить Элизабет? Правда, ему хорошо заплатили за постройку дома, но только ли ради денег он окружает её таким вниманием?”

А Бернарду, похоже, всё равно – вот и вчера он позволил Дитеру сидеть по другую руку своей жены за праздничным столом. Стола, собственно, никакого не было – просто Дитер соорудил на поляне перед домом большую платформу на восьми ножках, которую слуги устали угощениями, приобретёнными, как сказал Бернард, “на последние гроши”. Угощения, честно говоря, были не Бог весть какие – индейские лепёшки, свежие фрукты, печеные овощи и сыры из магазина Фюрстеров – интересно, кому он заплатил за них последние гроши? Наши оголодавшие колонисты быстро всё расхватили в надежде, что хозяева выставят ещё, но надежда оказалась напрасной – ничего больше не выставили.

Мы сидели вокруг стола на длинных скамьях из неструганых досок, сколоченных на скорую руку индейцами Дитера. Индейцы такие небрежные работники, что ножки двух скамеек подкосились, и сидящие на них упали на траву – вот

смеху было! Жалко только, что не было выпивки, – иногда бывает обидно, что выпивка запрещена уставом колонии. Впрочем, некоторые неподатливые приехали на праздник уже в изрядном подпитии. Где только они эту выпивку достают? То ли сами гонят, то ли у индейцев меняют на побрякушки.

После еды наш стройный хор поздравил Элизабет с новосельем и назвал её “матерью Новой Германии”, в ответ она прослезилась и пообещала, что у нас у всех будут такие замечательные дома, если их будет строить Дитер Чагга. Пока она произносила свою речь, мне вдруг бросилось в глаза, какая Элизабет стала красивая. Несмотря на все трудности она так расцвела, прямо светится, даже косой глаз её не портит – что-то раньше я этого не замечал.

После речей хор ностальгически исполнил нашу любимую песню о Лорелее. Он так трогательно выводил в верхнем регистре заветное: “и сказку из дальнего детства с утра я твержу наизусть”, что многие всплакнули. Всем было сладко, и печально, но в разгар праздника сквозь сладкие слёзы в наши души начала просачиваться горечь. Глядя на роскошный дом Фюрстеров, каждый из нас прикидывал, сколько времени ему самому ещё предстоит ютиться в убогой глинобитной хижине. Расчёт получался плохой, и становилось обидно. И колом вставал вопрос: откуда у Бернарда деньги на дом, когда здешняя земля не родит и не приносит дохода?

Однако наш Бернард фрукт не простой – он настоящий лидер и знает свою паству наизусть, как сказку из дальнего детства. Он заранее предвидел, что вслед за слезами начнётся ропот, и приготовил нам сюрприз. Как только сидящие на задних скамейках начали выкрикивать обидные вопросы, он встал во весь свой гигантский рост и поднял руку. Все стихли. На секунду голос Бернарда зазвучал зычно и торжественно, как в былое невозвратное время всеобщего вдохновения:

“Братья и сёстры, в честь своего новоселья я решил преподнести нашей колонии щедрый подарок! Прислушайтесь!”

Мы затаили дыхание. В начале ничего не было слышно, кроме поглощающего все звуки молчания джунглей, но

вскоре откуда-то издалека донёлся равномерный цокот многих копыт по булыжной мостовой. Мы начали переглядываться – откуда в джунглях булыжная мостовая? Постепенно приближаясь, цокот копыт становился слишком громким даже для кавалерийского полка и всё больше напоминал стук многих молотков по многим наковальням. Наконец он зазвучал совсем рядом, и из-за серповидного мыса в излучину реки выплыло чудо из чудес – маленький белый пароходик, на борту которого синими готическими буквами было выведено родное немецкое слово “Герман”.

Все были в шоке – ведь наша быстрая, но узкая речка Агуарья-Уми совершенно непригодна для судоходства, потому что в каждой своей извилине она намывает большие кучи песка и ила. Любой пароход, который пытался по ней пробраться в нашу колонию, безнадежно садился на мель в самом начале пути. Но отважный быстроходный “Герман” прорвался сквозь все преграды и на наших глазах стал швартоваться у крошечного дощатого причала, которого до этой минуты никто не замечал. Но это ещё не весь сюрприз: по сходням на берег начали спускаться какие-то незнакомые люди, и не один, а много...

Дорогая мама, прости, я вынужден кончить – через час наш “Герман” отправляется с первой почтой в Асунсьон, и я боюсь пропустить возможность доставить тебе письмо на пару недель раньше обычного. Обещаю в следующем письме рассказать тебе всё, что вчера произошло.

Любящий и скучающий по тебе сын”.

Моника сложила письмо и выжидательно уставилась на Франциску:

“А что написала Элизабет о своём новоселье?”

“Но я же сказала, что не успела дочитать письмо!”

“Так давай прочтём его вместе”.

Увидев, что Франциска нерешительно замаялась, Моника добавила снисходительно:

“Если ты не хочешь, чтобы я прочла какую-то часть письма, ты можешь её отрезать”.

Франциска не пришла в восторг от этого предложения. Она была уверена, что не стоит представлять чужим глазам

нечитанное ею самой послание дочери – а вдруг там написано такое, что лучше бы скрыть? Но не стоило и рисковать случайно возникшим, но прочным союзом двух отчаявшихся матерей. И она решилась. Достала письмо из книги и отрезала первые две страницы, с досадой отметив, что в начале третьей остался обрывок фразы о равнодушии Бернарда к болезни Фрицци. Хорошо бы отрезать и этот абзац, но нельзя, а то будет потерян текст на обратной стороне страницы. Франциска не сомневалась, что вострый глаз подруги умудрится выхватить из этого абзаца несколько не предназначенных ей слов, но делать было нечего, приходилось смириться.

“Но вообще-то я счастлива – пару дней назад мы с Бернардом переехали из нашей жуткой хижины в свой собственный новый дом. У меня ведь до сих пор никогда не было своего дома – я всю жизнь была чьей-нибудь приживалкой, то твоей, то Мальвиды, то Вагнеров. А этот дом – красивый и прохладный – абсолютно мой. Он прохладный потому, что его сконструировал и построил наш замечательный архитектор Дитер Чагга, и он же уговорил меня устроить новоселье. Бернарду было всё равно, а я согласилась против воли и не пожалела.

Всё получилось очень празднично и красиво. Огромный стол, сконструированный на лужайке тем же замечательным архитектором, ломился от щедрого угощения, выставленного Бернардом. Особенным успехом пользовались сыры из нашей сыроварни, потому что изготавливать здесь сыры ужасно дорого, и не все могут себе позволить их покупать...”

“Вот, вот, – прервала её Моника, – Генрих так и пишет: Наши оголодавшие колонисты быстро всё расхватили в надежде, что хозяева выставят ещё, но надежда оказалась напрасной – ничего больше не выставили”.

“Если ты будешь меня перебивать, – огрызнулась Франциска, – я никогда не дочитаю до конца”.

“Ладно, продолжай, – вздохнула Моника. – Я больше не буду перебивать”.

“После еды все подобрели и стали нас поздравлять, особенно меня. Кто-то даже назвал меня матерью Новой Гер-

мании – в этом месте я чуть не заплакала. И тут Бернард как будто проснулся – он вышел из ужасного ступора, в котором живет последние три месяца, и громовым голосом объявил, что приготовил для колонистов необыкновенный сюрприз. За этот голос я полюбила его когда-то, но я давно его не слышала. Сюрприз и вправду оказался необыкновенным – Бернард умудрился купить маленький быстроходный пароход “Герман”, способный пройти по непроходимой речке Агуарья-Уми. Это просто чудо, теперь до Асунсьона можно будет добраться всего за один день, а не за неделю.

Но это ещё не всё – быстроходный “Герман” привёз изрядную группу новых колонистов, чего у нас давно не случилось. Мы, затаив дыхание, следили, как, слегка покачиваясь от усталости, маленькие фигурки неровной цепочкой спускаются по трапу на берег, – я насчитала девять, восемь мужских и одну женскую. Бернард уже шёл им навстречу широким шагом, приветственно простирая руки, словно хотел обнять их всех разом.

“Ты знал, что они приедут?” – спросила я Дитера.

Он кивнул и быстро ответил на мой незаданный вопрос: “Бернард взял с меня клятву о полном молчании”.

“Но хоть сейчас скажи, кто они”.

“Это – друзья и последователи портного из Антверпена Юлиуса Клингбейла, которого увлекла картина роскошной природы Парагвая, представленная в одной из брошюр Бернарда. Надеюсь, действительность их не разочарует”.

Великий Боже, молю тебя, пусть им здесь понравится, пусть их не разочарует наша нелёгкая жизнь!

## МАРТИНА

Элизабет было чему радоваться – девять новоприбывших разом! Ведь за первые два года существования колонии туда приехало всего сорок семей из Европы. Это было ничтожно мало, если учесть, что некоторые из первых колонистов уже уехали обратно, – они пришли в ужас от тех трудностей, которыми встретили их парагвайские джунгли. Это была настоящая катастрофа – по контракту с прави-



тельством Парагвая земля переходила во владение колонии только при условии вербовки ста десяти семей в год. Не говоря уже о том, что Бернард был вынужден возвращать каждому убывающему из колонии деньги, уплаченные им за участки. А деньги кончились. Пришлось искать ссуды, проценты были смертельные, и тучи над головой Бернарда сгущались.

Ницше, предвидя всё это, сказал: “Некоторые воображают, что не опасно заглянуть в глаза пропасти, но забывают, что пропасть иногда может заглянуть в глаза им самим”.

## ЭЛИЗАБЕТ

Элизабет слегка прикрутила фитиль керосиновой лампы, и спальня погрузилась в уютный розоватый полумрак. Её спальня, а не общая с Бернардом. Пока новый дом строился, Бернард мало интересовался предстоящим расположением комнат, и она долго скрывала от него, что спланировала две отдельных спальни – для себя и для него. Она приготовила стройную серию аргументов в защиту своей идеи, но ими так и не пришлось воспользоваться – Бернард отнесся к новому порядку вещей совершенно равнодушно.

Её это даже слегка задело, – удивительно, ведь она сама решила отделиться от мужа, так с какой стати ей обижаться? Тем более, что последнее время их супружеские отношения были не Бог весть какие жаркие. Собственно, слишком жаркими они не были никогда: она полюбила его как пророка, а он так любил себя как пророка, что больше ни на кого его энергии уже не хватало. Разве только на то, чтобы что-нибудь запретить – запретить секс, запретить алкоголь, запретить людям жить по соседству друг с другом.

“Хватит!” – остановила себя Элизабет. Она слишком увлеклась разоблачением мужа – всё-таки своим благополучием она обязана ему, а не Дитеру. Дитер дал ей совсем другое, он, он, он... Стоило ей подумать о Дитере, как всё тело её вспыхивало и мысли в голове путались. Кто бы поверил, что такое могло случиться с нею, которая всю жизнь осуждала женщин, отдающихся плотским утехам?

А сегодня она ради плотских утех решила воспользоваться отбытием Бернарда в Асунсьон – он отправился на борту “Германа” в столицу в надежде за пару дней уладить финансовые проблемы колонии. Элизабет не сомневалась, что ему ничего не удастся уладить, но сегодня ей это было всё равно – она задумала пригласить Дитера провести ночь в её доме. Чтобы была настоящая ночь любви, а не поспешные объятия при встречах урывками, в страхе, что кто-нибудь постучится в дверь и войдёт.

Ночь любви! Ещё недавно она не могла произнести эти слова без отвращения. А сегодня она велела слугам уйти в полдень, сама состряпала ужин и против всех правил поставила на стол бутылку вина и два бокала. А потом сбросила платье и надела прозрачный кружевной пеньюар, который тайком выписала по почте из Парижа. И приготовилась в нетерпении ждать минуты, когда копыта дитеровского коня зацокают...Глупость какая – никакие копыта не зацокают на влажной тропинке джунглей! Можно только услышать, как тихонько хлопнет дверь конюшни, когда Дитер закроет её за собой, поставив в стойло своего гнедого скакуна. Скорей бы он уже приехал – ночная дорога в джунглях опасна и не каждый решится отправиться по ней в путь даже ради ночи любви.

Наконец дверь конюшни хлопнула, и через пару секунд Элизабет услышала, как ключ поворачивается в замке входной двери. Она быстрым движением приоткрыла дверь спальни, так, чтобы луч света призывно упал в тёмный коридор, и застыла у зашторенного окна в многократно отрепетированной перед зеркалом позе. Дитер вошёл, ладонью прикрывая глаза от яркого света после абсолютной ночной темноты, но, увидев Элизабет в её прозрачном пеньюаре, остановился, как вкопанный.

“Прекрасный наряд! Такой прекрасный, что пора его снять!” Он одним прыжком оказался рядом с ней и без усилия распахнул пеньюар, поскольку она не очень постаралась его завязать. Пеньюар упал на пол между ними и Дитер небрежно отбросил его грязным сапогом для верховой езды.

Но она уже этого не заметила, она припала губами к шее Дитера, жадно вдыхая любимый запах смешанного пота, человеческого и лошадиного.

Время остановилось, и напрасно остывал на столе собственноручно изготовленный ею изысканный ужин. Они вспомнили о нём только на рассвете, когда их разбудили первые лучи тропического солнца, пробившиеся сквозь щели в ставнях.

“Неужто ты сама сотворила это чудо? – недоверчиво спросил Дитер, накалывая на вилку кусок фантастической рыбы в фантастическом соусе. – Ты не перестаёшь меня изумлять”.

А уходя, уже на пороге, он вдруг стал серьёзным: “Послушай, ты бы позаботилась что-то сделать по поводу этого маленького портного из Антверпена”.

“А что с ним?”

“Не с ним, а с тобой. Он мотается от дома к дому и выясняет подробности ваших сделок с каждым колонистом. И после каждого выяснения что-то записывает в толстом грессбухе”.

“Так что, я могу ему это запретить?”

“Почему запретить? Зачем так грубо? Придумай, как его задобрить. На ужин пригласи, что ли. И изготовь такую рыбу, как эта”.

После его отъезда Элизабет тщательно уничтожила все следы ночного пира, не переставая обдумывать последние слова Дитера, наполненные смутной угрозой. Наверно он прав – нужно пригласить маленького портного на ужин и постараться ему понравиться. Она так и этак перекатывала эту идею в голове до самого возвращения Бернарда из Асунсьона, она даже составила меню званого ужина. Но Бернард приехал ещё более мрачный и подавленный, чем уезжал, и ни за что не желал понять, зачем приглашать на ужин какого-то Юлиуса Клингбейла из Антверпена, когда у самого Бернарда голова идёт кругом от собственных проблем. Но в конце концов Элизабет убедила его, и он нехотя отправился через джунгли верхом на своём белом скакуне, чтобы лично доставить приглашение Клингбейлу.

## МАЛЬВИДА

Убедившись, что горничная безупречно накрыла стол к чаю, Мальвида подошла к пианино и задумчиво взяла несколько аккордов из увертюры Рихарда к “Тангейзеру”. Эти аккорды, даже в скромном собственном исполнении, как всегда, наполнили её душу трепетом. Непонятно, почему её дорогому Ромену так неприятен, можно даже сказать – отвратителен – её любимый Вагнер. Ведь они с Роменом за последнее время достигли почти полного согласия во всём, кроме их отношения к её великому покойному другу.

Мальвида любовно пробежала пальцами по клавишам. Это маленькое пианино она взяла напрокат, чтобы избавить Ромена от обидных ограничений, сопровождающих послеклассные занятия в залах консерватории, где он учился. Она посмотрела на часы – Ромен запаздывал. В расписном флорентийском блюде медленно оседали пышные пончики, которые следовало есть горячими. Она уже было начала беспокоиться, когда услышала, как Ромен торопливо бежит вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки.

Раз так спешит, значит, готовит ей что-то интересное. И точно: он ворвался в квартиру, потряхивая какой-то тоненькой книжечкой в пёстрой обложке.

“Какую книжку я для вас нашёл, Мали! – выкрикнул он, на секунду остановившись у стола, чтобы схватить с блюда и сунуть в рот пару пончиков. – Вы ахнете, когда прочтёте!” И уже с полным ртом подлетел к Мальвиде, тыча пальцем в заглавие книжечки, которое сходу показалось ей слишком громоздким: “Истинная правда о колонии Бернарда Фюрстера Германия Нова”. Имя автора – Юлиус Клигбейл, – было ей не знакомо. Предисловие утверждало, что он бывший портной из Антверпена и бывший член колонии Германия Нова.

“В чём же состоит истинная правда Юлиуса Клигбейла?” – спросила она.

“В чём-то ужасном и отвратительном. Я толком не мог справиться с вашими немецкими глаголами и поэтому купил эту книжонку, чтобы вы сами с ними разобрались”.

Она наспех пролистала книжечку, пока Ромен разливал чай и раскладывал пончики по тарелкам, щедро навалив себе крутую горку, обильно политую вареньем. К моменту, когда он выпил первую чашку чая и располовинил горку пончиков, к нему вернулась его обычная любознательность: “Ну что, вы уже узнали истинную правду?”

“В общих чертах, да. Юлиус Клингбейл утверждает, что Бернад Фюрстер вовсе не пророк, а наглый шарлатан, и его Германия Нова просто крупное надувательство”.

“Интересно! Как он это доказывает?”

“Чтобы это понять, нужно прочесть всю книгу. А пока я тебе прочту забавное описание визита Клингбейла в дом Фюрстеров, куда они с женой были приглашены на ужин”.

Ромен поудобнее устроился в кресле и приготовился слушать.

“Я был поражен, когда сам господин Бернад Фюрстер пришел ко мне верхом на роскошном белом коне, чтобы вручить мне приглашение на ужин. Хоть получить такое приглашение было лестно, оно привело меня в растерянность – я не представлял себе, как мы с женой сможем добраться до дома Фюрстеров и вернуться обратно после ужина. Из-за нелепой причуды Бернарда, требующей строить дома на расстоянии не менее, чем на милю друг от друга, наш участок оказался в изрядном отдалении от Фюрстеррота, а я пока сумел приобрести только одну довольно хилую лошадку какой-то местной породы. Нас выручило любезное предложение архитектора Дитера Чагга воспользоваться его замечательными дрожками, специально сконструированными им для здешних дорог, – если можно назвать дорогами эти болотистые тропки.

За те два месяца, что я провёл в Новой Германии, я объехал многих колонистов, чтобы уяснить себе подробности их жизни. Эта задача оказалась вовсе не простой из-за плохих дорог и отдалённости участков друг от друга. Но на фоне того, что я успел узнать о печальной жизни своих собратьев в убогих душных хижинах, роскошный дом Фюрстера поразила меня даже больше, чем его белый скакун. По сути это даже не дом, а маленький дворец с двойной крышей, задуманной так, что верхняя для защиты от зноя покрывает всё здание почти до земли, оставляя только просветы для окон.

Внутри дом оказался ещё роскошнее, чем снаружи. Слуга индеец отворил дверь в большой салон, обставленный старинной немецкой мебелью. Заметив удивлённо поднятые брови моей жены, фрау Фюрстер поспешно пояснила: “Я привезла с собой античную дедушкину мебель”.

“Ничего себе, – отметил я про себя, – приехать в джунгли ради высокой идеи и притащить с собой на волах дедушкину мебель!”

Но это было бы простительно, если бы не другие странные подробности, открывшиеся нам в тот вечер. Хоть по уставу колонистам запрещён алкоголь, хозяева выставили на приставной столик целую батарею отличных вин и ликёров. “Выпьем в честь вашего приезда!” – подняла бокал фрау Фюрстер и больше ни на секунду не замолкала: она неустанно расхваливала условия жизни в колонии и сказочные успехи колонистов в строительстве и сельском хозяйстве. Её слова так расходились со всем увиденным мной за это время, что я то и дело поглядывал на самого Фюрстера, ожидая услышать его реакцию на рассказы жены.

Но удивительно – никакой реакции не было! Великий пророк, героический образ которого увлёк меня покинуть родной Антверпен и отправиться в дикий тропический край, всё время уныло молчал и только изредка выкрикивал невнятные обрывки фраз. Его глаза, так проникновенно сверкавшие с обложки брошюры, увлекшей меня в Парагвай, теперь были тускло направлены на роскошную античную мебель, но никогда в глаза собеседника. Он ни минуты не сидел на месте, а то и дело выскакивал из-за праздничного стола, делал бессмысленный круг по полированному каменному полу обширного салона и нехотя возвращался на своё место. По правде говоря, делать за столом ему было нечего – за весь вечер он не притронулся к обильной еде, щедро наваленной на его тарелку заботливой супругой. А она, не обращая на это внимания, всё говорила, говорила, говорила. Она говорила всем телом – губами, глазами, руками. Она хваталась головокружительной скоростью, с которой распродавались их земельные участки, словно не знала, что наивные последователи её мужа прибывают в колонию всё

реже и реже. Она расхваливала замечательный здешний климат, хотя мы уже выяснили, что этот климат ужасен для белого человека. Я ни разу не смог ей возразить, потому что она своим непрерывным стрёкотом не оставляла места для паузы. К концу вечера мне стало жалко бедного Бернарда Фюрстера, бывшего раньше моим идеалом, а теперь полностью поработанного этой страшной женщиной”.

Мальвида положила книгу на стол и отхлебнула глоток остывшего чая: “Удивительный, удивительный рассказ! Интересно, насколько он правдив?”

“Да, да, ведь вы хорошо знакомы с Элизабет Ницше! Похожа ли она на женщину, описанную бывшим портным из Антверпена?”

“Вообще-то я озадачена. Но в моей памяти начинают проступать кое-какие её черты, наводящие на мысль, что такое преобразование возможно. Особенно эти черты проступили в драматический период романа Фридриха с Лу Саломе”.

“И у Фридриха был роман с Лу Саломе? Со знаменитой писательницей, покорившей всю Европу?”

“Именно у Фридриха и был роман с Лу Саломе – к сожалению, с моей подачи. А ты её читал?”

“Пробовал, но бросил – какая-то белиберда не в моём вкусе”.

“Это потому, что ты её не видел. Увидел бы – и белиберда превратилась бы в гениальное творение в твоём вкусе”.

«Почему вы так считаете?»

“Потому что это случилось со всеми особями мужского пола, которые называли её мазню гениальной».

“Я даже не подозревал, что и вы можете злословить, до-рогая Мали!”

“Напрасно не подозревал! А теперь – хватит болтать! У тебя ведь завтра концерт? Иди готовиться, а я пока почитаю книгу бывшего портного”.

## ЭЛИЗАБЕТ

“Полюбуйся! Вот результат твоей разумной предусмотрительности!”

Элизабет размахнулась и швырнула в лицо вошедшего Дитера маленькую пёструю книжонку. Книжонка, хоть и маленькая, но твёрдая, больно стукнула Дитера в подбородок. Однако он не рассердился, а в два прыжка пересёк комнату и ловко скрутил руки Элизабет за спиной.

“Что случилось? Чего ты так разбушевалась, тигрица?”

В ответ Элизабет уткнулась носом в его плечо и зарыдала.

“Иди, подними эту гадость и сам поймёшь!”

Дитер отпустил её руки и наклонился поднять книжонку: “А-а, твой друг Юлиус написал книгу! Оказывается, он умеет писать? Вот уж не думал!”

Элизабет вырвала у него книгу и раскрыла на заложенной птичьим пером странице: “Почитай, как мы с Бернардом угощали это ничтожество ужином! Это была твоя идея пригласить его на ужин! И даже подвезти его на твоих дрожках!”

Дитер бегло прочёл несколько фраз и захохотал: “Ну и ну! А ты уверяла меня, что сумела его очаровать!”

“Я была уверена, что я его очаровала. Я так старалась!”

“И весь вечер говорила без умолку?”

“А что было делать, если Берnard весь вечер молчал, как жопа? Они, конечно, заметили, что он не в себе, он вёл себя так странно. То и дело вскакивал и выкрикивал что-то нечленораздельное. А я старалась отвлечь от него их внимание”.

“Интересно, Бернаруду тоже прислали эту книжечку в Асунсьон? Он написал тебе что-нибудь с этой почтой?”

Она швырнула на пол скомканный листок: “Написал, написал! Но лучше бы не писал ничего, чем писать такую чушь – вот посмотри!”

Дитер подобрал и расправил листок: “Я достиг такого влияния в Асунсьоне, что не удивлюсь, если на следующих выборах меня сделают президентом Парагвая”.

«Умоляет их о милостыне и собирается стать президентом! Он совершенно сбрендил и пишет совсем как Фрицци. – Элизабет протянула ему другое письмо. – Вот полюбуйся, что написал мне мой братец!»

Дитер полюбовался: “Я захватил власть и посадил в тюрьму папу римского, а Бисмарка, кайзера Вильгельма и всех антисемитов приказал расстрелять”.



“Ты только глянь на подпись! И можешь посмеяться”.

Дитер глянул на подпись – “Распятый”. Но не засмеялся, а прикусил губу и обнял Элизабет.

“Да, нелегко тебе между двух безумцев! А что ты ответила Бернару?” – спросил он, заметив на её столе недописанную страничку.

“Я расписала, как я страдаю в разлуке, и попросила его вернуться домой к годовщине нашей свадьбы”.

“Ты и впрямь хочешь, чтобы он вернулся?”

“Конечно, нет. Но нужно соблюдать приличия, на случай, если поползут слухи о нас с тобой”.

“Слухи, небось, уже и так ползут. И всё-таки несмотря на сплетни я хочу сегодня приехать к тебе ужинать. Не возражаешь?”

Элизабет прильнула к его плечу – он был такой спокойный и надёжный!

“А как ты думаешь?”

“Я надеюсь, что не возражаешь”.

“Раз ты надеешься, не хочу тебя разочаровывать. Придётся закрыть контору и ехать домой готовить ужин”.

## МАРТИНА

Элизабет говорила правду – уже почти год как Бернارد сбежал из Фюрстеррота в немецкий пригород Асунсьона Сан Бернардино. Именно сбежал, удрал подальше от недобрых косых взглядов и открыто враждебных упрёков, которыми всё чаще встречали его колонисты. Он окопался там в отеле дель Лаго, каждый день напиваясь до беспамятства. И непрерывно писал отчаянные письма в Германию, умоляя прислать ему деньги, но денег никто не присылал. Время от времени он отправлялся в Асунсьон, где обивал пороги парагвайских министерств в надежде отсрочить возврат взятых при начале проекта ссуд. Но парагвайские министры были неумолимы и, угрожая тюрьмой и позором, требовали вернуть деньги, которых у Бернарда не было.

Элизабет не очень скучала по мужу. Видя, как по его вине рушится их грандиозный замысел, она всё больше проника-

лась презрением к его слабости и неумению владеть собой. Лишившись его поддержки, она нашла в себе силы подчинить колонистов своей воле и стала твёрдой рукой управлять всеми делами Фюрстеррота. В своё оправдание она постепенно укрепилась в подозрении, что Бернард связался с ней не из любви, а с тайной целью проникнуть в интимный круг Вагнера, которого обожествлял. А она связалась с ним из любви? Или в надежде стать спутницей великого мужа, раз не удалось стать сестрой великого брата? И вот эта надежда рухнула и рассыпалась в пыль. Но не стоит унывать, ещё не вечер – она, Элизабет Ницше, ещё не потеряла веру в себя, она полна энергии и великих замыслов!

## ЭЛИЗАБЕТ

Элизабет изогнулась как кошка и промурлыкала: «Почеши спинку».

Дитер безропотно подчинился – спинка была белая и шелковистая. Но его безропотность насторожила Элизабет – обычно он терпеть не мог царапать ногтями её кожу между лопаток.

«У тебя что-то на уме?» – осторожно спросила она, зная, что он не любит щекотливых вопросов.

Пальцы Дитера заскользили по её спине с непривычной нежностью: «Ты ведь не получила сегодня письма от мамы?»

«Нет. Это первый раз, что она пропустила очередную почту.»

«Я так и думал!»

«С мамой что-то случилось?» – задыхнулась она.

«Нет, с мамой всё в порядке.»

«Значит, с Фрицци! Что он опять натворил?»

«Не знаю, можно ли назвать это натворил.»

«Господи, да не тяни ты! Что произошло?»

«Я целый день думал, говорить тебе или нет, Лиззи.»

Он назвал её Лиззи! Он называл её так крайне редко, в минуты крайней нежности, но почему сейчас? Она вся съезжилась от предчувствия какого-то ужасного удара: «Ну?»

«И всё же решил рассказать то, о чём написал мне мой друг из Турина. Это не секрет, об этой истории говорит весь город».

Он опять замолчал и ей стало дурно: «О какой истории?»

«Вот послушай : Ты же знаешь, что профессор философии Фридрих Ницше несколько месяцев снимал у нас в Турине мансарду в доме торговца газетами Дэвида Фино. В один холодный зимний день он отправился в город на прогулку».

Она совсем потеряла голову от страха: «Почему снимал? А сейчас не снимает? Он жив?»

Дитер протянул ей мелко исписанные листки:

«Знаешь, лучше прочти это письмо сама!»

Она взяла было листки, но не сумела удержать их в дрожащих пальцах, и они веером рассыпались по полу.

«Нет, не могу, у меня в глазах всё мелькает. Прочти мне ты».

Он нехотя собрал листки с пола:

«Я бы не хотел читать тебе это вслух».

«Читай уже, не терзай меня! Иначе зачем ты принёс сюда это письмо?»

Он начал читать, медленно, сбиваясь на каждом слове, словно плохо разбирает почерк своего друга.

«Когда он вышел на Пьяцца Карло Альберто, он увидел, как под памятником короля Сардинии Карло Альберто какой-то извозчик избивает кнутом свою лошадь. Бедная лошадь терпеливо сносила побои, она только мелко вздрагивала от каждого удара и из глаз её текли настоящие слёзы, совсем как у человека. Профессор Ницше подбежал к пролётке, обхватил шею лошади двумя руками, чтобы заслонить её от кнута, и заплакал вместе с ней. Очевидцы позже рассказывали, что при виде плачущего профессора глаза бронзового коня Сардинского короля тоже наполнились слезами.

«Убирайся отсюда, псих!» – заорал извозчик и замахнулся на профессора кнутом. Но тот ещё крепче обнял лошадь, крикнул – «Не смей мучить животное, негодяй!» и громко зарыдал. Кнут засвистел, опускаясь на плечи профессора, но тот перехватил его на полпути и сломал пополам. Любопыт-

ные зеваки, которые уже начали собираться вокруг происшествия, так и ахнули – кто бы мог подумать, что в руках философа таится такая сила?

Профессор поднял обломок кнута над головой и угрожающе двинулся на извозчика, тот испуганно попятился и скрылся за спинами зевак. А профессор вскочил на пролётку и объявил, что явился в этот жалкий мир, чтобы спасти жалкое человечество от последствий его собственной глупости. Произнося эти странные слова, он сбросил с плеч пальто и принялся срывать с себя остальную одежду, выкрикивая: «Нагим ты пришёл на эту землю и нагим уйдёшь с неё!»

Был зимний день, с неба порошил колючий снежок, но холод не остановил профессора Фридриха Ницше – совершенно нагой он продолжал выкрикивать с пролётки свои страшные пророчества. Наверно, кто-то из толпы вызвал полицию, потому что из Виа Маргарита поспешно вынырнули два полицейских и решительно двинулись в сторону пролётки. Не знаю, чем бы эта странная сцена закончилась, если бы киоск хозяина дома, в котором Ницше снимал мансарду, не располагался в дальнем уголке площади. Увидев скопление зевак вокруг памятника Сардинского короля, Фино протиснулся сквозь толпу и с ужасом узнал в обнажённом проповеднике собственного жильца. Он быстро сориентировался, сорвал с себя пальто и, подбежав к бедняге, набросил своё пальто тому на плечи до того, как к пролётке добрались полицейские.

«Это мой жилец! – крикнул он полицейским, застёгивая пальто на Ницше. – Он нездоров, и я сейчас уведу его домой!»

Как ни странно, профессор вдруг сник, безропотно спустился с пролётки и послушно последовал за своим спасителем. Естественно, что в городе только и говорили об этом странном происшествии. Из этих слухов и сплетен я узнал, что через пару дней за профессором Ницше приехал его друг, тоже профессор, и увёз его в Базель. Для того, чтобы его увезти, профессору из Базеля пришлось нанять специальную карету, в которую бедного Фридриха Ницше вынесли связанного по рукам и ногам. При этом он пытался вырваться

и, громко рыдая, причитал, что ему не дают высказать всю правду о будущем человечества. Больше я ничего о нём не слышал.

Пишу об этом тебе, потому что по слухам супруга основателя вашей колонии приходится родной сестрой несчастного безумца».

Элизабет неожиданно вскочила, вцепилась острыми коготками в плечи Дитера и стала его трясти:

«Скажи, что это неправда! Скажи, что неправда! Просто какой-то враг нашей колонии нарочно написал это тебе, чтобы разбить моё сердце! Ведь недаром он упомянул меня в своей гнусной писульке!»

Дитер был готов к взрыву её эмоций – он осторожно отстранился от когтей Элизабет и нежно прижал её к себе, как ребёнка:

«К сожалению, это правда, – он вынул из конверта аккуратно сложенную газетную вырезку. – Вот статья о происшествии из туринской газеты».

Элизабет вырвала у него вырезку и стала яростно рвать её в клочья: «Будто ты не знаешь, что газеты тоже могут рвать!»

Он и к этому был готов: «Всё может быть. Но сегодня все наши получили почту. И завтра ты услышишь двадцать версий этой истории, одна страшней другой».

Тут она, наконец, зарыдала: «И только мама ничего мне не написала! И это страшней всего!»

## МАЛЬВИДА

Мальвида сразу заметила на тумбочке у двери письмо из Наумбурга и нерешительно задержалась прежде, чем его открыть. Письмо могло быть только от Франциски, матери Фридриха, а значит чего-нибудь хорошего ждать от него не приходилось. Оттягивая неприятный момент, она нарочито медленно сняла шляпку, аккуратно повесила пальто на плечики и ещё аккуратней повесила плечики на вешалку. Потом вошла в гостиную, села на вращающийся стул у пианино и осторожно положила письмо на чёрную лакированную

крышку, словно само прикосновение к конверту обжигало ей пальцы.

Ей было страшно подумать, что может содержать это письмо, – ведь уже больше года она не получала никаких известий о Фридрихе. Э то казалось невысшимым после шестнадцати лет их интенсивной переписки. В течение шестнадцати лет она была посвящена в мельчайшее движение его души, в тончайший извив его мысли. И вдруг – полное молчание, глухая пустота. А теперь это неожиданное письмо, не от Фридриха, а от его матери, с которой её связывали долгие годы взаимной неприязни и даже вражды.

Она боязливо подпорола сгиб конверта костяным ножиком для разрезания бумаги и неохотно вытащила сложенный вдвое лист, густо исписанный с двух сторон мелким почерком. В результате появился новый повод оттянуть чтение письма – такой почерк невозможно было прочесть без очков. За очками нужно было сходить в спальню, но вставать не хотелось, – Мальвида очень устала за этот хлопотливый день. А главное, у Ромена сегодня был поздний концерт, и она не ожидала его к ужину, так что если в письме написано что-то ужасное – а она в этом не сомневалась! – ей не к кому будет обратиться за утешением.

Всё же в конце концов пришлось встать, пойти в спальню за очками и взяться за письмо.

«Уважаемая фрау фон Мейзенбург!

Не сомневаюсь, что вас встревожит появление моего письма в вашем почтовом ящике, ведь я никогда вам раньше не писала. Но сейчас я обращаюсь к вам, потому что в течение многих лет вы были самым верным и близким другом моего бедного сына. Возможно, вы не знаете, что несколько месяцев назад мой несчастный сын потерял рассудок. Не в силах пересказать, когда и как это произошло, я прилагаю к письму газетную вырезку с описанием подробностей этого страшного события»

Мальвида заглянула в конверт – там и впрямь затаилась небольшая газетная вырезка, которую она решила изучить после того, как дочитает письмо.

«Я хочу рассказать вам, что произошло после того, как друг моего Фрицци, профессор Овербек, увёз его из Турина к себе в Базель. Однако из-за частых вспышек буйной ярости, которым подвержен Фрицци, у Овербека не было никакой возможности содержать того у себя дома, хотя он любит его как брата и всегда о нём заботился: помог ему стать профессором в двадцать четыре года, а когда он заболел, добыл ему пожизненную пенсию. Поэтому к его великому сожалению, ему пришлось поместить Фрицци в психиатрическую клинику – так деликатно, чтобы не огорчать меня, он называет базельский сумасшедший дом Фридматт.

Сначала я ничего о состоянии Фрицци не знала, так как Овербек не хотел меня тревожить, надеясь, что его помешательство временное. Однако, когда швейцарские власти потребовали перевести Фрицци в германскую клинику, Овербек написал мне правду и сообщил, что мой сын скоро прибудет в сумасшедший дом в Иене, которая, к счастью, находится всего в нескольких часах езды от нашего Наумбурга.

В назначенный день я приехала в Иену на пару часов раньше и устроилась в вестибюле клиники, заняв кресло у входной двери. Я так страшно нервничала, что пальцы моих рук и ног непрерывно сводило мелкими судорогами. Время тянулось нестерпимо медленно. Когда амбуланс, наконец, подъехал ко входу в клинику, и санитары с трудом вынесли из него носилки с Фрицци, я хотела выбежать ему навстречу, но у меня от волнения подкосились ноги.

Санитары помогли Фрицци подняться с носилок и хотели было под руки ввести его в здание. Но он отстранил их величавым жестом, медленно поднялся по ступенькам – их было три – и не вошёл, а важно, как вельможа, вступил в вестибюль. Я бросилась к нему, но он меня не узнал. Он положил руку мне на плечо и сказал: «Я благодарен, Ариадна, что ты привезла меня в этот прекрасный дворец».

А потом подвёл меня к швейцару и, любуясь его блестящей ливреей, склонился в галантном поклоне:

«Благодарю вас, ваше превосходительство, за любезный приём. Позвольте представить вам мою супругу Козиму Вагнер, которую я называю Ариадной. Это она привезла меня сюда и устроила нашу встречу».

Тут подоспели санитары, подхватили Фрицци под руки и, невзирая на его возмущённые вопли, увели по длинному коридору куда-то вглубь клиники».

Мальвида уронила письмо на пол и не стала поднимать. В нём оставалось ещё несколько абзацев, но с неё было довольно – она не могла читать дальше. До неё постепенно доходил ужас того, что написала ей Франциска: её начало трясти, руки онемели, глаза заволоклись слёзами. Больше нет её Фридриха, который шестнадцать лет тому назад вытеснил из её сердца Ольгу! Больше нет её гения, которому она посвятила шестнадцать лет материнской любви, больше нет и не будет! Хотя он и отверг её, она всегда надеялась, что он ещё передумает, пожалеет об их бессмысленной ссоре и опять будет еженедельно выплескивать на неё свои жалобы и восторги, перемежая их гроздьями гениальных афоризмов.

Она вскочила, схватила с вешалки пальто и, забыв о шляпе, выскочила на улицу – стены её любимой квартиры давили её. Уже было совершенно темно, но она знала, куда ей следует бежать. Через несколько минут она остановила извозчика и коротко приказала: «К парадному входу консерватории!»

Когда Мальвида подъехала к консерватории, концерт только-только закончился, и публика начала расходиться. Она поспешно протиснулась сквозь обтекающую её встречную толпу и сразу увидела Ромена – он спускался со сцены в зал в сопровождении скрипача и виолончелиста. Она застыла в проходе, не решаясь прервать их оживлённую беседу, но Ромен тут же заметил её и, оставив своих друзей, встревоженно бросился к ней:

«Что случилось, Мали? На тебе лица нет!»

Она растерялась, попыталась ответить, но замялась, затрудняясь объяснить этому юноше, что привело её сюда в столь поздний час. Ведь он даже не был знаком с Фридрихом, никогда его не видел. И она не очень-то склонна была откровенничать и посвящать его в подробности их многолетней мучительной дружбы. Частично, чтобы не надоедать ему воспоминаниями о прошлом, а частично, чтобы он не проводил параллелей между Фридрихом и собой.



Но Ромен сам догадался: «Что-то неладно с Фридрихом?»

Вот за эту удивительную чуткость она его любила! Он был ничем не похож на Фридриха, тот не понимал никого, кроме себя, а этот мгновенно ловил мельчайшие оттенки её настроений. И уже надеясь на понимание и сочувствие, она на одном дыхании произнесла страшное, сама впервые поверив в сказанное:

«Фридрих окончательно лишился рассудка и попал в сумасшедший дом».

## ЭЛИЗАБЕТ

Рокот мотора «Германа» разбудил Элизабет ни свет ни заря. Вернее, ей показалось, будто её разбудил рокот мотора «Германа», хотя она отлично понимала, что ей это просто примерещилось. Во-первых, «Герман» ушёл в Асунсьон только три дня назад и должен был появиться в Фюрстерроте не раньше, чем через неделю, а во-вторых, он физически не мог оказаться здесь в такую рань, поскольку невозможно было протиснуться через излучины Агуарья-Уми в непроглядной темноте джунглей.

Она нехотя открыла глаза – сквозь щели в ставнях пробились бледные лучи рассвета. Элизабет протянула руку к соседней подушке, она была пуста, Дитер уже ускакал к себе под покровом тьмы. И хоть она уже не спала, рокот мотора не умолкал, значит, он ей не приснился. Не веря своим ушам, она выглянула в окно и не поверила своим глазам: в рассветном полумраке «Герман» швартовался у причала. Тёмная фигура большим прыжком приземлилась на берегу, не дожидаясь, пока опустят сходни, и помчалась прямо к дому Элизабет. Она ужаснулась – «Что это может быть?» И распахнула окно, почти догадываясь. Фигура выкрикивала на бегу как заклинание одно–единственное слово: «Бернард! Бернард! Бернард!»

«Так я и знала! Так и должно было быть!» – промелькнуло в её голове, но не в мозгу, а где-то за ушами. И уже в мозгу замелькало: сейчас не важно, что она знает, что угадывает и что чувствует, сейчас главное – прореагировать так, как от

неё ожидают. Фигура, приближаясь, перешла на более развёрнутую речь, так что Элизабет уже начала разбирать отдельные слова: «...в своей постели ...бездыханного...уже холодный, как лёд.»

«Надо упасть в обморок», – сообразила Элизабет. Но не падать же в обморок наедине с собой в закрытой комнате? Значит, нужно быстро выбежать на крыльцо, но разумеется не нагишом. Под рукой не нашлось ничего подходящего, кроме кружевного пеньюара, выписанного из Парижа для свиданий с Дитером. Вопящая фигура стремительно приближалась.

Была не была! – Элизабет не задумываясь набросила на плечи пеньюар и выскочила на крыльцо как раз вовремя, чтобы лицом к лицу столкнуться с вопящим, бегущим ей навстречу. На секунду задумавшись, куда лучше упасть, на мягкую траву или на твердые доски крыльца, она выбрала доски – в траве водилось слишком много опасных тварей. И бесстрашно рухнула навзничь, больно ударившись затылком и плечом о порог. Последнее, что она увидела уже на лету, был встрёпанный Дитер, вылетевший на поляну из джунглей на своём лихом скакуне.

## **МАРТИНА**

История парагвайского поселения Германия Нова по сути закончилась с внезапной смертью её основателя. Хотя ещё несколько лет на болотистом берегу малопроезжей речонки Агуарья-Уми продолжала по инерции теплиться жизнь, она постепенно угасала, лишённая денежных инъекций и идеологической мотивации. Надо признать, что Элизабет вложила много сил и энергии в безнадежное дело оживления своего гибнущего детища, но сотворить это чудо ей не удалось. Начала она свою подвижническую борьбу мгновенно, как только осознала все возможные осложнения, которые свалятся на её голову, когда распространится известие о смерти Бернарда. Она ни секунды не сомневалась, что он наложил на себя руки. Как-то в начале пути он признался ей в минуту откровенности, что носит на шее це-

почку с флакончиком смертоносной смеси стрихнина с мышьяком, – на случай, как он выразился, полного провала его великого замысла. А уж кому-кому, как не ей, было известно, что великий замысел провалился, подорванный водопадом неудач и опороченный перед миром маленьким портным!

Необходимо было предотвратить всякий намёк на то, что основатель колонии, посвященной очищению Германии от еврейской мерзости, покончил жизнь самоубийством. Нужно было спешить, чтобы несносная парагвайская жара не вынудила администрацию гостиницы в Сан Бернардино нарушить обычай и избавиться от трупа неудобного постояльца до приезда его вдовы. И обнаружить при этом на его шее цепочку с пустым флакончиком из-под яда. Поэтому, не дав и часа передышки утомлённой команде «Германа», Элизабет стремительно собралась и умчалась в Асунсьон.

## ЭЛИЗАБЕТ

Элизабет, съёжившись, лежала на жесткой койке, прикрученной к стене крошечной каюты «Германа», и тщетно пыталась заснуть. Но уснуть было невозможно – маленький пароходик совершал полный оборот вокруг собственной оси в каждой излучине Агуарья-Уми. А излучин у Агуарья-Уми было без числа. Да и спутанные мысли Элизабет совершали полный оборот – каждая вокруг собственной оси, а осей этих у неё в голове было без числа, как излучин у Агуарья-Уми .

Главная мысль, которая постепенно прорастала сквозь вязкую глину нежелания её принять, сводилась к простому предложению «Бернард умер». Охватить разумом эту чудовищную мысль ей было не под силу, получалось нечто необразимое, вроде «Бернарда нет и больше никогда не будет». А что же теперь будет без него? Кто вернёт их ссуды и разрешит их споры? Ведь могучий дух Бернарда всё ещё витал над колонией, несмотря на то, что авторитет его за последний год изрядно пошатнулся, и что жил он весь этот год не в Германия Нова, а в жалком немецком отеле под Асунсьоном,

Даже трудно себе представить, какое отчаяние охватит колонистов при известии, что их вдохновенный лидер добровольно наложил на себя руки! В какой ужас оно их повергнет! Этого нельзя допустить[AV1]! Нужно сделать всё возможное, чтобы хоть малейший намёк на правду не затеплился ни в одной душе, даже в самой недоброжелательной. Конечно, хорошо было бы в трудную минуту опереться на сильное плечо Дитера, но всё же она мудро отказалась от его предложения сопровождать её в Асунсьон. Это помешало бы созданию образа вдохновенной пары Бернард-Элизабет, неразлучной даже перед лицом смерти. А значит, хватит убиваться, пора взяться за ум и составить немедленный план действий.

Элизабет прильнула к крошечному иллюминатору. Никакой надежды на скорое достижение цели их траурного путешествия – над ревушим от напряжения «Германом» всё ещё нависали дикие джунгли обрывистых берегов Агуарья-Уми. Это было невыносимо.

Однако страдания Элизабет скоро кончились – ещё несколько сотен оборотов «Германа» вокруг собственной оси и вот он уже мягко закачался на мутной глади могучей реки Парагвай. И в такт плавному полёту маленького пароходика мысли Элизабет перестали метаться из стороны в сторону, а потекли плавно и направленно. Так что ко времени прибытия Элизабет в столицу Парагвая план действий был полностью готов. Не позволив себе и секунды передышки, Элизабет наняла быстроходный катер и отправилась в Сан-Бернардино.

Хозяин отеля дель Лаго встретил её не слишком приветливо. На её вопрос, заходил ли кто-нибудь в номер её покойного мужа, он ответил хмурым пожатием плеч – «А как же? Полиция заходила».

«Но, надеюсь, никто ничего не тронул?»

«Врач щупал его пульс, чтобы установить факт смерти. А теперь вам надо поскорей его отсюда забрать – из его номера дух идёт по всему отелю».

Элизабет нетерпеливо отстранила хозяина, загораживающего толстым брюхом вход на лестницу: «Так пропустите меня к нему наконец!»

И вихрем взлетела на второй этаж. Номер Бернарда можно было легко узнать по трупной вони, сочащейся в коридор из-под двери. А в комнате концентрация вони была такая высокая, что Элизабет чуть не потеряла сознание. Однако она страшным усилием воли удержалась на ногах и рванулась к зашторенному окну – распахнуть поскорей несмотря на жару. За окном на багряно-розовом дереве затаилась стая больших зелёных птиц с хищными клювами – они дружно уставились на Элизабет большими выпуклыми глазами, словно спрашивали, не настал ли уже их час. Подавив первый всплеск страха, она, оставив окно открытым, плотно задёгнула штору в надежде, что хищные птицы не посмеют влететь в дом, и заставила себя повернуться к кровати.

Странно плоское длинное тело Бернарда застыло в нелепой позе под желтоватой застиранной простынёй. Чтобы не задохнуться от вони, Элизабет зарылась было лицом в надушенный заранее носовой платок и сдёгнула простыню с трупа. Но тут же отпрянула, услышав, как скрипнула дверь. В комнату ворвались громкие крики, и вкрадчивый голос хозяин произнёс у неё за спиной.

«Гости отеля требуют немедленно убрать отсюда труп. Запах – сами понимаете...»

«Оставьте меня наедине с моим покойным мужем! Я хочу с ним попрощаться!» – зарыдала Элизабет и, круто развернувшись, грозным шагом двинулась на хозяина. Он испуганно отшатнулся и выскочил в коридор. Она плотно закрыла за ним дверь, повернула ключ в замке и первым делом рванула ворот рубахи, прикрывающий тощую шею Бернарда. Цепочки на шее не было.

Шум за дверью делался всё громче – нужно было спешить. Элизабет начала бесцеремонно шарить под подушкой, но ничего там не нашла. Тогда она попыталась запустить обе руки под холодную несмотря на жару спину мужа, но тело его оказалось слишком тяжёлым и малоподвижным. По его голой груди и впалому животу расплзались зловещие багряно-лиловые пятна – уж не следы ли стрихнина? Слава Богу, Элизабет была с Бернардом в номере одна, и никто за ней не следил – ей пришлось упереться коленом в его го-

лову, чтобы хоть чуть-чуть оторвать её от подушки. К счастью, прямо в выемке между затылком и спиной она обнаружила цепочку с флаконом из-под яда. С горлышка на тонкой ленточке свисала крошечная пробка.

Нетерпеливая рука дробно забарабанила в дверь, истерический женский голос взвизгнул надсадно:

«Немедленно уберите эту зловонную заразу, а не то я вызову полицию!»

Только полиции здесь не доставало! Элизабет поспешно накрыла тело простынёй и, зажав цепочку в кулаке, рванулась к двери. Но по дороге опомнилась, на миг остановилась и ловко надела цепочку себе на шею. Распахивая дверь она успела сообразить, чем выгоден ей этот нарастающий скандал – чем скорей будут завершены похороны, тем меньше опасность, что парагвайские власти пожелают выяснить от чего умер знаменитый основатель колонии Германия Нова.

Хоронить Бернарда пришлось в Сан-Бернардино – в такую жару невозможно было везти в Фюрстеррод его быстро разлагающийся труп. Провожать его в последний путь пришли немногие, – хозяин отеля с супругой, несколько бородатых пьяниц и три рыдающие проститутки. Они рыдали так искренне, что окаменевшее сердце Элизабет на секунду кольнула ревность, но она привычно взяла себя в руки – не всё ли теперь равно? Тем более, что сердцу было не до ревности – процессию сопровождала всё та же хищная стая больших зелёных птиц. Они летели так низко, что взмахами крыл ворошили волосы людей, несущих неплотно заколоченный гроб.

После похорон Элизабет хотелось только одного – упасть ничком на твёрдую койку каюты «Германа» и отправиться в обратный путь. Но она не могла себе это позволить, не завершив важнейшего дела. Ни у кого не должно было зародиться и тени подозрения, что Бернард покончил жизнь самоубийством.

## МАРТИНА

А на самом деле, покончил ли Бернард жизнь самоубийством? Увы, трудно разглядеть правду сквозь толстый слой

лет и ещё более толстый слой наплетённой Элизабет лжи. Она была великая мастерица плетения лжи. Она прожила ещё сорок пять лет после смерти Бернарда и сплела за эти годы обширную сеть лжи, по которой сумела добраться до самых горних вершин своего времени.

## ЭЛИЗАБЕТ

На обратном пути Элизабет так глубоко провалилась в сон, что даже не заметила головокружительного вращения «Германа» вокруг собственной оси в такт головокружительному вращению русла Агуарья-Уми. Разбудила её только тишина, снизошедшая на неё после того, как замолк неутомимый мотор маленького парохода. Она поспешно пригладила волосы и, пошатываясь, вышла на палубу, косо освещённую багряными лучами заходящего солнца. У подножия сходен её поджидала печальная толпа шляп и шляпок, повязанных черными траурными лентами. В полном молчании она нетвёрдо двинулась вниз, но, увидев среди встречающих Дитера, покачнулась и чуть не сорвалась в реку. Дитер протянул к ней руки, и она сочла возможным в сложившихся обстоятельствах, отчаянно разрыдавшись, упасть ему на грудь.

Рыдала она от всей души – только, ступив на землю Германия Нова, она окончательно осознала, что дальше ей одной, без Бернарда, придётся бороться за жизнь колонии. Шляпы и шляпки окружили её плотным кольцом и начали перебрасывать её друг другу, как баскетбольный мяч. Невыносимо долго они её обнимали, целовали, мяли, тискали, облизывали и обмазывали слезами и слюной, пока мир не закачался у неё перед глазами и стало совершенно темно.

Она бы рухнула в колючую тропическую траву, полную всякой ядовитой живности, если бы полдюжины рук не подхватили её налету. Уже проваливаясь в чёрную бездну, она краем гаснущего сознания зарегистрировала умоляющий голос Дитера:

«Дорогие друзья! Давайте дадим бедной фрау Фюрстер маленькую передышку!»

Очнулась она в полной тьме, мало отличимой от тошнотворной тьмы, в которую окунулась, падая в колючую траву. Давно ли это было? Час, два, три назад или больше? И где она? Она ощупала одеяло и матрас – похоже, она в своей родной спальне. Какое счастье, если это так! И кто здесь с ней, в её спальне? С пола доносилось ровное похрапывание – неужели Дитер? Но вряд ли – это было бы слишком большой удачей. Она осторожно опустила руку на источник храпа, наткнулась на копну спутанных кудрей и заскользила пальцами вниз, ото лба к носу. И взвизгнула от испуга, когда сильные челюсти сомкнулись вокруг указательного пальца и втянули его в горячий рот. «Значит, всё-таки Дитер!» – успело промелькнуть на окраине мозга, а он уже был рядом с ней и срывал с неё простыню.

«Наконец-то! – прошептал он. – А я уже начал бояться, что ты никогда не вернёшься!»

«Что ты там делала так долго?» – спросил он потом, когда она отдышалась. Для неё это был не просто акт любви, а возвращение к жизни: Дитер был Орфей, а она Эвридика, спасённая им из Аида.

«Мне пришлось улаживать много проблем. Это было не просто. Бернард за этот год наделал кучу долгов, натворил много бед и нажил армию врагов», – ответила она уклончиво, не зная, насколько откровенна она должна быть с Дитером. Да, да, даже с Дитером, самым близким ей человеком.

«Но ты, конечно, всех победила, воительница?» – рука его ласково заскользила по её груди и застыла, натолкнувшись на цепочку с флакончиком из-под яда. Его пальцы ощупали крошечную серебряную бутылочку: «А это что такое?»

Она могла бы притвориться и соврать, что это всего-навсего талисман Бернарда, который она оставила себе на память. Но ей вдруг так захотелось разделить с возлюбленным бремя своей тайны и открыть ему правду!

«Это флакон из-под яда!»

«Из-под яда? Ты хочешь сказать, что Бернард...»

«... да, да, отравился!»

«Чем? Где он взял яд?»

«Смесь стрихнина с мышьяком. Он всегда носил его на цепочке на шее».



«Откуда ты знаешь?»

«Было время, когда он старался меня соблазнить. Вот и похвастался как-то, что в случае провала покончит с собой».

«Я подозревал, подозревал! Но боялся даже упомянуть».

«И никогда никому не упоминай!»

«Да ведь всё равно станет известно»

«Не станет! Все эти ужасные дни я заметала следы!»

«А что, хорошо замела?»

«Надеюсь, что хорошо. Ты будешь потрясён, когда я расскажу тебе: какие сказки я насочиняла. И записала, и подписи завершила!».

«Ну давай, потрясай – рассказывай»

«Мне сильно повезло, что по парагвайскому закону к покойнику можно прикасаться только в присутствии его родственников. А я так долго добиралась, что труп завонял весь отель, и хозяин хотел только одного – поскорей от трупа избавиться. Мне удалось запереться в номере на несколько минут, чтобы обшарить постель – к счастью я знала, что искать. Я даже не успела спрятать флакон, как туда ворвалась толпа и потащила тело Бернарда на кладбище, даже не сделав ни малейшей попытки выяснить причину его смерти.

Я решила поселиться в том же отеле дель Лаго, чтобы поговорить с гостями и понять, не знал ли кто-нибудь из них о намерениях Бернарда. Хозяин дель Лаго сильно недолюбливал Бернарда, и недаром – он предъявил мне его неоплаченный счёт за напитки в баре отеля. Счёт оказался такой огромный, что оплатить его мне было не под силу. Мне с трудом удалось уговорить хозяина отеля принять в уплату один из участков в Германия Нова – если бы он не был немец, он бы ни за что не согласился».

«Ты никогда не говорила мне, что Бернард был пьяница».

«Я и сама этого не знала. Да он им раньше и не был. Он, наверно, пристрастился к спиртному с горя, когда наши дела пошли совсем скверно. Хозяин дель Лаго готов был мне помочь – не прямо, но намёками он дал понять, что не меньше, чем я, заинтересован представить причиной смерти Бернарда невинный инсульт».

«Чем же он помог?»

«Он назвал двоих – пастора и врача, с которыми Бернард был более ли менее дружен».

«С кем, интересно, Бернард мог быть дружен?»

«Ну хорошо! Сказать точнее, они ему были не друзья, а собутыльники. А раз никто не следил за его жизнью накануне смерти, я подлизалась и к пастору, и к врачу... ».

«Хотел бы я знать, каким образом ты подлизалась?»

«Не таким, как ты думаешь! Я просто оплатила их счета за выпивку в тех случаях, когда они выпивали с Бернардом».

«И что за это получила?»

Элизабет не поленилась вылезти из постели, чтобы вынуть из своего ридиклюля несколько аккуратно сложенных листов:

«Вот, полюбуйся!».

Он расправил один и прочёл:

«В тот день я перед заходом солнца отправился в отель дель Лаго по приглашению одного из гостей, у которого развилась сильная лихорадка. Прописав ему жаропонижающее, я зашёл в бар отеля пропустить рюмочку шнапса и встретил там своего друга доктора Бернарда Фюрстера. Он печально сидел у стойки бара, перед ним стояла нетронутая кружка пива. Увидев меня, он обрадовался и позвал присесть рядом с ним.

«Дела мои плохи, – пожаловался он, голос его дрожал, – эти проклятые бюрократы ни за что не соглашаются отложить уплату ссуды на пару месяцев. А я уверен, что за это время получу обещанные деньги из Германии. Но самое ужасное не это, а то, что я окончательно потерял веру в людей».

Я залпом проглотил мой шнапс, но Бернард даже не притронулся к своей кружке. Это удивило меня, потому что к вечеру жара усилилась и жажда тоже. Я тут же заказал себе кружку пива и спросил Бернарда, почему он не пьёт.

«Я боюсь, – вздохнул он. – У меня кровь стучит в висках и в груди стеснение. Что мне делать?»

«Тогда отдай пиво мне, а сам лучше выпей пару стаканов сладкого фруктового чая. – посоветовал я, отметив про себя,

как он бледен. – А потом поднимись в свой номер, ложись в постель и постарайся уснуть».

Он согласно кивнул и заказал чайник чая. А я поспешил на следующий вызов к молодой роженице фрау Бёмер. Роды оказались тяжёлые, так что я почти всю ночь провёл в доме Бёмеров. На рассвете я отправился домой и тут же заснул, даже не раздеваясь, надеясь отдохнуть. Но отдохнуть не удалось – в девять часов утра меня разбудил полицейский и потребовал, чтобы я пошёл с ним в отель дель Лаго подтвердить факт смерти одного из гостей.

У меня и в мыслях не было, что нужно подтвердить факт смерти моего друга Бернарда Фюрстера. Я подумал, что умер пациент с высокой температурой, у которого я был накануне вечером. Я просто глазам своим не поверил, когда меня привели в номер моего друга Фюрстера.

Он был мёртв уже несколько часов, но в этой жаре тело его не охладилось достаточно для настоящего *ригор мортис*, и мне без особого труда удалось установить, что он умер от приступа нервной лихорадки, вызванной тяжёлым разочарованием и глубоким сердечным надрывом.

Доктор медицины Енш»

«Неплохо, правда? А вот другое письмо, от священника. Читай!»

«Я по вечерам обычно обхожу номера постояльцев отеля, спрашиваю, как настроение, не надо ли за кого помолиться. Ведь в нашем отеле немало обездоленных и разочарованных неудачников. Когда я постучал в номер доктора Фюрстера, он крикнул «Войдите!» таким слабым голосом, что я сразу понял – здесь беда. Я постарался его утешить, но посреди беседы он вскочил с дивана, подбежал к окну и рванул раму на себя. Окно распахнулось, и напрасно – воздух за окном был ещё жарче и задушливей, чем в комнате. Фюрстер прижал руку к груди: «Мне кажется, у меня начинается нервная лихорадка. Трудно дышать, голова кружится и сердце колотится, как безумное».

Меня обеспокоило его состояние, и я почти насильно уложил его в постель. Он закрыл глаза и начал дышать ровнее.

Мне показалось, что ему стало лучше, и я ушёл, потихоньку прикрыв за собой дверь.

Когда мне наутро сообщили о его преждевременной кончине, мне стало очень грустно – ведь этому замечательному человеку едва исполнилось сорок шесть лет! Как много он ещё мог бы сделать для человечества! Но я верю, что сделанное им за его короткую жизнь не будет забыто».

Дитер похвалил Элизабет: «Молодец! Отличные документы! Но как мы донесём их до наших дорогих колонистов?»

«Я всё продумала! Мы завтра организуем красивую панихиду по Бернарду, и я зачитаю их вслух вместе с некрологом председателя немецкой общины Сан-Бернардино герра Шаерера. Скажу по секрету только тебе, что он тоже был постоянным собутыльником моего покойного супруга. Но его долгов я не платила, он свой некролог сочинил от чистого сердца и напечатал в местной газетке».

## МАРТИНА

Некролог герра Шаерера, был воистину написан от всего сердца.

«Несмотря на то, что наш дорогой покойный доктор Фюрстер всю жизнь руководствовался своими христианскими убеждениями, его преследовали только человеческая жестокость, непонимание и подозрительность. Эта несправедливая трагическая враждебность разрушила надежды на осуществление его светлого идеала и разбила его сердце, что прервало его жизнь, исключительно ценную для всего человечества».

Некролог был встречен на панихиде мрачным молчанием. Только небольшая группа колонистов, сохранивших верность своему обанкротившемуся лидеру, поднесла Элизабет сочувственное письмо. В нём были прочувствованные слова:

«Щедрость души твоего покойного мужа и величие его идеала будут при жизни многих поколений освещать созданное им детище. Мы желаем тебе обрести такую силу духа,

которая позволит тебе с достоинством перенести эту страшную потерю».

Письмо подписали только немногие члены колонии Германия Нова.

## ЛУ

Лу оглядела себя в тройном зеркале и осталась довольна. Всё было как надо: черное, просто, но элегантно скроенное платье выгодно подчёркивало достоинства её фигуры – осиную талию, высокую грудь и сильные длинные ноги. Пепельные локоны, перехваченные на затылке чёрной бархаткой, выгодно оттеняли нежную кожу её стройной шеи. Всё было как надо, только непонятно, зачем это всё было надо. Она не любила никого из тех, кого любила обольщать. Она была с ними мила и изысканно умна, но в душе она их всех слегка презирала, хоть и нуждалась в их преклонении.

Её оскорбляло их откровенное вожделение, их липкие взгляды, обволакивающие её тело, их пренебрежение её исключительным филигранным интеллектом. Они все, как один, притворялись, что их интересуют её меткие философские наблюдения и восхищают её остроумные афоризмы, но она не сомневалась, любой из них пропускает это всё мимо ушей, а думает только о том, как бы уложить её в постель. И хоть были они особи оригинальные, друг от друга резко отличные, в какой-то миг они становились поразительно похожи. Она легко узнавала этот миг по их внезапно застывающему взгляду, совсем как у рыбы, попавшейся на крючок. В этот миг их тонкие интеллигентные лица превращались в тупые грубые маски, и Лу вспоминалась где-то подслушанная похабная шутка: “У мужчины мало крови – когда у него эрекция, на мозги уже не хватает”.

Впрочем, у мужчины, на свидание с которым Лу направлялась сегодня, с кровью всё было в порядке, – даже когда взгляд его застывал как у рыбы, попавшейся на крючок, лицо его оставалось интеллигентным и тонким. Блестящий журналист Георг Ледебур, одновременно безжалостный насмешник и щедрый благотворитель, /популярный оратор и

коварный политикан, в сердечных делах оказался таким же, как все другие – он с первого взгляда влюбился в неотразимую Лу Саломе.

Но повёл он себя не так, как все другие – не вслушиваясь в её лепет о праве каждой женщины распоряжаться своим телом, он грубо прижал её к себе и объявил: “Я понял, почему ты несёшь эту детскую чушь! Ты всё ещё девственница! Но мы сейчас эту ошибку исправим!” С этими словами он поцеловал её в губы, а потом, рванув пуговицы её традиционно высокого ворота, уткнулся лицом в её обнажённую грудь.

Самое удивительное, что ей это понравилось. Она его не только не оттолкнула, а напротив, как подкошенная, рухнула на диван и позволила ему лишиться её девственности. С тех пор она уже больше года пару раз в неделю ездит к нему на его холостую квартиру, где он снова и снова делает вид, что лишает её девственности, только не на диване, а на роскошной двуспальной кровати, украшающей его спальню.

Карл, конечно, в конце концов об этом узнал и взбесился, со всей своей пламенной полу-турецкой страстью. Он потребовал, чтобы жена немедленно отказалась от Ледебура, в ответ на что она рассмеялась и заметила, что согласно их брачному контракту это не его дело: что бы она ни делала с другими мужчинами, трахаться с ним она всё равно не будет. Карл взвыл. А поскольку этот разговор протекал у них за обедом, он схватил с подноса острый нож для разделки ростбифа и всадил его себе под левое ребро.

Красное пятно начало быстро расплываться по белоснежному полю его крахмальной манишки – в доме Андреасов было принято обедать в формальных вечерних нарядах. Лу, изловчившись, выдернула нож, благо, он только чуть-чуть вошел под кожу, перевязала рану супруга своим шифоновым шарфом и объявила, что после другой такой сцены подаст на развод.

Её угроза образумила Карла и кровопролитных сцен он больше не устраивал. Однако в сценах без кровопролития он время от времени себе не отказывал. Вот и сейчас, пока Лу стояла в коридоре, выбирая шубку для сегодняшнего сви-

дания, он подглядывал за ней в щель полуприкрытой двери своего кабинета.

Выбор шубки был для Лу одной из радостей жизни. Шубок у неё было много, она обожала меха, часто носила их до самой летней жары, – они напоминали ей Санкт-Петербургское детство. Дождавшись, когда она сдёрнула с плечиков норковое полупальто, Карл выскочил из кабинета и завизжал: “Опять собралась к своему жеребцу?”

Лу невозмутимо протянула мужу шубку и, не повышая голоса, попросила: “Поддай, пожалуйста”.

Карл сразу стих, втянул голову в плечи и покорно подал ей шубку. Выйдя из подъезда Лу печально вздохнула, – она правильно поступила, предпочтя кроткого Карла своему неумолимому другу Полю Рэ, и всё же жаль! И ещё как жаль! Выйдя замуж за Карла, она потеряла Поля, которого ей так и не удалось смирить. И до сих пор она переживает боль этой потери. На миг рядом с Полем промелькнул незванный образ Фридриха Ницше, безумного, гениального и тоже потерянного, но эта потеря никакой боли ей не причинила.

Лу, как всегда, опаздывала, и, подойдя к дому Ледебура, заметила, что штора на окне его кабинета полузадёрнута. Прекрасно, значит, он нетерпеливо топчется у окна, высматривая её из-за полузадёрнутой шторы. Она опаздывала намеренно, наслаждаясь своей властью над влюблёнными властителями дум. А не властителей она к себе не подпускала.

Через пару минут Лу уже звонила в бронзовый колокольчик, украшающий дверь Ледебура, звонила долго и настойчиво, но дверь не спешила открываться. Не сомневаясь, что Георг наказывает её за опоздание, она и не думала обижаться – пусть наказывает, если это его утешает! Наконец, щелкнул замок, дверь приоткрылась, и, не дожидаясь, пока она распахнётся в полную ширину, Лу гибко проскользнула сквозь образовавшуюся щель в сумрак прихожей. Проскользнула и с разбегу наткнулась на широкую волосатую грудь возлюбленного, затаившегося на пороге в чём мать родила.

“Сейчас я проучу тебя за опоздание!” – прорычал он и поволок Лу в спальню, не снимая с неё ни норковой шубки, ни

пушистого берета, ни меховых сапожек, ни чулок на подвязках. Он только сильным рывком разодрал её прелестные, отделанные кружевом панталоны, и этим ограничился. Наказание было чувствительным и обидным – Георг прекрасно знал, как страстно она любит предкоитальные ласки.

“Ладно, дорогой, я тебе сейчас покажу?” – прошептала Лу, выбираясь из смятой постели. Она стряхнула на пол разодранные панталоны и как была, в норковой шубке, в пушистом берете, в меховых сапожках, в чулках на подвязках, но без панталон, решительно двинулась к выходу: “Ну, я пошла!”

И, конечно, победила – как всегда. Ледебур скатился с кровати и помчался за ней. Он был быстрый и сильный, но у неё было маленькое преимущество – он гнался за ней по скользкому паркету босиком, а она ускользала от него в меховых сапожках, пригодных для ходьбы по льду и снегу. Но до выхода ей всё же добраться не удалось – он поймал её у самой двери и опять поволок в постель проучать. Но на этот раз смилостивился и собственноручно стянул с нее пальто, платье и нижнее бельё, оставив только чулки и сапожки. Честно говоря, наказание это было упоительным, и она его простила. Он её тоже.

«А теперь пошли ужинать» – сказал он и нежно набросил ей на плечи пушистый голубой халат – его подарок на годовщину их романа. «Ты же знаешь, я ношу только чёрное», – упрекнула она его, когда он поднёс ей этот подарок, обернутый в тончайшую папиросную бумагу и перевязанный голубой шёлковой лентой.

«Но я всегда вижу тебя только в голубом», – ответил он. Отвечать он умел хорошо, как и многое другое.

Ужин был сервирован красиво, элегантно и вкусно. Когда они выпили по бокалу искристого вюртембергского Мюллер-Тюргау, (Георг пил только немецкие вина) он спросил:

«Что, Карл опять закатил тебе сцену?»

«Ты же его знаешь. Опять грозился проткнуть себе грудь ножом, на этот раз хлебным».

Он положил ладонь на низкий вырез ее халата:

«Послушай, пора с этим кончать. Сколько ещё я должен сходить с ума, часами ожидая тебя у окна, а потом проучать и проучать?»



«Разве это было так уж плохо?»

«Это было замечательно, но начинает приедаться. Хватит! Пора наконец развестись с ним, и выйти за меня.»

«А что это мне даст?»

«Любящего мужа...»

«Это у меня уже есть!»

«Любящего и любимого! – Он больно стиснул её грудь. – Разве это не так?»

«Так, так, тысячу раз так! Но как только появятся дети и пойдёт обыденная жизнь, это станет тысячу раз не так!»

«Разве ты не хочешь нормального банального счастья? Уюта: детей?»

«Как было у мамы с папой? Не хочу! Папа всегда мечтал похитить меня и сбежать подальше от мамы. И в конце концов сбежал на тот свет, оставив меня наедине с мамой.»

Георг досадливо поморщился и повысил голос:

«При чём тут твои родители? Я говорю о нас с тобой.»

Лу сердито оттолкнула бокал с недопитым вином и стала развязывать пояс халата:

«Лучше я уйду, пока ты не вздумал схватить фруктовый нож и воткнуть его себе под рёбра.»

Георг умиротворяюще притянул её к себе:

«Ладно, на сегодня хватит. А халат можешь распахнуть, если хочешь.»

Когда ей опять удалось затянуть пояс халата, Георг подлил в бокалы ещё вина и задал неожиданный вопрос:

«Скажи, ведь некая Элизабет Ницше была когда-то твоей подругой?»

«С чего вдруг ты о ней вспомнил?»

«Если она была твоей подругой, я посвящу тебя в её тайны. Так была или нет?»

«Была, была! И ещё какой подругой! Она иначе как русской обезьяной меня не называла и даже грозилась потребовать у германской полиции моей высылки из Германии за развратное поведение!»

«Ах, вот как! А почему она так на тебя взъелась?»

«Да всё из-за Фридриха, её гениального брата, который был безумно в меня влюблён. А она была безумно влюблена

в него. Ходили слухи, что в ранней юности она с ним подживала. И считала его своей собственностью на всю жизнь».

«Всё-таки наверно не на всю жизнь. Иначе она бы не вышла замуж за другого»

«Неужто вышла замуж? Давно?»

«Довольно давно, Несколько лет назад;

«За кого, интересно?»

“За одного взбесившегося антисемита по имени Бернард Фюрстер”.

“Удачно! Взбесившийся антисемит ей как раз подходит. Ведь у неё есть два объекта истинной ненависти – евреи и я. Как же ей живётся в замужестве?”“.

“Об этом я и хочу тебе рассказать. Три года назад она уехала с мужем и с ещё сотней придурков в Парагвай – строить новую, чистую Германию без евреев».

«Остроумно! Уехать в Парагвай чтобы избавиться от евреев! И что, им это удалось?»

«Вряд ли. Я сегодня прочёл во «Франкфуртер Альгемайне», что парагвайская колония Германия Нова полностью обанкротилась, а её лидер умер от горя».

«То есть, покончил с собой?»

«Это в газете не написано, но подразумевается между строк. Зато написано, что вдова покойного Бернарда Фюрстера, фрау Элизабет Фюрстер, урождённая Ницше, продолжает умело и деловито управлять делами колонии и надеется вытащить её из ямы. Как ты думаешь, это похоже на правду?»

Лу на минуту задумалась. И решительно объявила:

«Очень даже похоже. У этой женщины есть удивительная воля к власти!»

«Совсем как у тебя?»

Лу вспыхнула: «Нет, в тысячу раз больше!»

“Ладно, ладно, не горячись. Идём лучше спать, мы сегодня заслужили хороший здоровый сон”.

Наутро Лу выскользнула из постели, когда Георг ещё спал – она спешила домой к завтраку и не хотела опаздывать, чтобы не огорчать Карла. На свидания с Карлом она никогда не опаздывала, ей ни к чему было раздуть его

страсть. Она вышла за него замуж сознательно и продумано: замужество защищало её от слишком назойливых поклонников, жаждущих на ней жениться. Кроме того, ей тогда исполнилось двадцать шесть лет, и Россия перестала платить ей небольшую пенсию, положенную ей после смерти папы. Ей оставалось только пойти работать гувернанткой, что ничуть её не привлекало, так что она предпочла выйти замуж за покорного Карла и не намеревалась с ним разводиться даже ради любви к Георгу. Она не сомневалась, что Георг не допустит в их совместной жизни никаких отклонений и увлечений, а Карл никогда и ни в чём не станет создавать ей препятствий.

Она застегнула шубку и осторожно прикрыла за собой входную дверь, чтобы не разбудить Георга, который, проснувшись, способен был затащить её обратно в постель. Она с наслаждением втянула в ноздри свежий морозный воздух и весело зашагала по улице, посверкивающей выпавшим за ночь мелким снежком.

Она откинулась на подушки удачно подхваченной пролётки и мерно закачалась в такт мерному бегу хорошо откормленной лошадки. По странной прихоти высших сил, в которые она не верила, мысли её, оторвавшись от Георга и Карла, устремились к удивительному перерождению Элизабет Ницше, превратившейся из отвратительной серой мыши в не менее отвратительную властную управительницу немецкой колонии, гибнущей где-то среди болот экзотического Парагвая. Живо вспомнив яростный косой глаз Элизабет и её неугасимую враждебность, Лу неожиданно для себя страстно пожелала, чтобы Элизабет никогда не встретилась на её пути, а ещё лучше, чтобы она сгнила в болотах Парагвая.

Комфортабельно покачиваясь на подушках извозчичьей пролётки Лу содрогнулась, представив себе возможность пересечения жизненных путей её и Элизабет. Но даже её богатое воображение не могло в конце девятнадцатого века предположить, какова будет эта встреча в середине двадцатого.

## МАЛЬВИДА

Мальвида нерешительно перебирала платья и белье, прежде чем запаковать их в дорожный саквояж. На сколько дней она едет, когда вернётся? Ничего не ясно, ничего, ничего... Она погладила нежную кожу своего верного саквояжа – сколько поездок она совершила в его сопровождении! Не говоря уже о регулярных визитах к Ольге в Версаль, и о привычных наездах в Байройт к Вагнерам, он метался с нею по всей Европе в ответ на просьбы Фридриха спасти его от очередной беды.

Вот и сейчас она должна ехать в Иену, чтобы опять спасти Фридриха от новой беды. На этот раз она должна ехать неотменяемо, хоть Фридрих ни о чём её не просил и, возможно откажется её признать, даже если узнает. Её попросила приехать его несчастная мать Франциска, которую он не узнаёт и не признаёт. Она умоляет Мальвиду приехать, чтобы помочь ей забрать безумного сына домой из клиники для душевнобольных. Она пишет, что его немного подлечили, и он уже не такой буйный, как был в начале болезни – не бьёт ни окна, ни санитаров и редко срывает с себя одежду. Директор клиники официально уведомил Франциску, что больше не волен содержать у себя Фрицци за государственный счёт.

Франциска, боится, что не сможет справиться одна с потерявшим рассудок сыном, и нет никого, кто мог бы её сопровождать. Ведь Мальвида наверняка знает, что единственная дочь Франциски Элизабет недавно овдовела и продолжает дело своего мужа в далёком Парагвае. Клиника любезно обеспечивает Франциску каретой с санитаром для перевозки Фрицци до железнодорожного вокзала, и на этом обязательства её кончаются. А дальше Франциске предстоит в одиночестве везти безумного сына в поезде и в одиночестве пересаживать его в заранее заказанную карету. Она надеется, что общество такого старого верного друга как фрау фон Мейзенбург успокаивающе подействует на расстроенный рассудок её дорогого сына.

Мальвиду немного удивила просьба Франциски – вряд ли она в её возрасте сумеет справиться с Фридрихом, если ему

вздумается буйнить как в Турине. Но вскоре её осенило, что стеснённая в средствах Франциска втайне надеется не столько на её физическую помощь, сколько на финансовую, но стесняется прямо попросить об этом. Что ж, она готова немного помочь матери своего навеки потерянного друга.

Утешенная своей догадкой, она стала наспех укладывать в саквояж небольшой набор необходимых вещей и не услышала, как ключ повернулся в замке и входная дверь отворилась. Она очнулась от своих невесёлых размышлений только когда голос Ромена произнёс у неё за спиной:

«Я вижу, Мали, что вы решили тайком покинуть меня ради своего ненаглядного Фрицци?»

«Ты сбежал с занятий, Ромен? И всё из ревности?»

«Что тут плохого? Ревность великое чувство, я собираюсь написать роман, посвящённый ревности».

««Я не сомневаюсь, что это будет великий роман! А пока ты его ещё не написал, можешь проводить меня на вокзал».

## **МАРТИНА**

Через несколько лет Ромен Роллан действительно написал великий роман «Очарованная душа», - не столько о ревности, сколько о Мальвиде.

А тогда он просто наспех набросал в портфель несколько рубашек, носков и трусиков и поехал с Мальвидой в Иену, чтобы помочь ей забрать Фридриха из сумасшедшего дома.

## **МАЛЬВИДА**

Здание психиатрической клиники в Иене было похоже скорее на готический дворец, чем на сумасшедший дом. Тем более странными выглядели печальные фигуры в больничной одежде, неприкаянно бродящие по просторному вестибюлю.

Впечатлительный Ромен был потрясён этим потусторонним зрелищем. Пока Франциска с помощью Мальвиды оформляла необходимые бумаги, он осторожно поднялся с кресла и пошёл бродить по вестибюлю, глядясь в отре-

шённые лица пациентов клиники. Завернув за колонну в дальнем конце зала, он неожиданно обнаружил затаившийся за колонной роскошный рояль. По блестящему чёрному лаку летела золотая надпись в готическом стиле «Бехштейн». Приоткрыв крышку, Ромен пробежал пальцами по клавиатуре и убедился, что рояль в отличном состоянии.

«Откуда в сумасшедшем доме «Бехштейн?» - спросил он проходящую мимо медсестру в крахмальном чепце.

«Пожертвование», - походя бросила она.

«Кто мог пожертвовать такое сокровище?»

«Была у нас одна пациентка, утверждала, что она великая пианистка, а наследников у неё не было. Вот и оставила заведению».

«Ничего себе жертвование!» - изумлённо присвистнул Ромен.

Уловив его изумление медсестра впервые глянула на него и притормозила свой бег:

...«А вы знаете толк в роялях?»

...«Немного разбираюсь, учусь в римской консерватории».

На этот раз изумилась медсестра:

«В самой что ни на есть римской консерватории? На пианиста? Может, сыграете нам что-нибудь весёлое? А то у нас тут такая тоска – порой повеситься хочется».

«А можно?»

«Конечно, можно! Все только рады будут!»

Ромен сел на вертящийся стул и задумался, - что бы такое сыграть? И решил - своё любимое, попури из оперы Бизе «Кармен».

Не успел он доиграть увертюру, как ему на плечо опустилась тяжёлая рука и глухой, но музыкальный голос спросил:

«Тебе двадцать семь?»

Не прерывая игры и не оборачиваясь, он ответил:

...«Было двадцать семь, а теперь уже двадцать восемь».

«Но когда она тебя подобрала, тебе было двадцать семь?»

«Двадцать семь!»

Заскрипел по полу придвинутый к роялю стул - «Подвисься!» - и на клавиши рядом с кистями Ромена легли две крупных костлявых кисти пианиста.

«Сыграем в четыре руки?»

Ромен обернулся. Лицо пианиста украшали не в меру огромные хорошо ухоженные усы. Значит, вот он какой, ненаглядный Фрицци!

«Сыграем!»

«Я обожаю Бизе!» - воскликнул Фрицци. Играл он безупречно.

«Я тоже».

«Странно! Когда мне было двадцать семь, я обожал Вагнера. Не понимаю, что я в нём находил».

...«Я тоже не понимаю».

«Стой, стой! Это я теперь не понимаю, а ты в двадцать семь обожал. Чего же ты не понимаешь, если тебе двадцать семь?»

«Двадцать восемь».

«Двадцать семь, двадцать восемь – какая разница? Главное: что ты обожал этого фигляра!»

Тут Фридрих, не прерывая игры, впервые посмотрел на Ромена.

«Скажи, а зачем ты усы сбрил?»

Ромен невольно потрогал голое место между носом и верхней губой:

«Они мне пиво пить мешали».

Он терпеть не мог пиво: оно оскорбляло его тонкий французский вкус.

...«Мне тоже мешают, но я ведь не сбрываю».

...«Ты другое дело! Ты с возрастом воспитал в себе могучую силу воли. А мне ведь всего двадцать семь!»

«Ты говорил- двадцать восемь»

Ромен уже полностью включился в игру:

«Двадцать семь, двадцать восемь - – какая разница? Давай играй!»

Они музицировали так слаженно, так славно, словно всю жизнь играли на рояле в четыре руки. Но это счастье длилось недолго. Из-за колонны вывернулась Мальвида и промурлыкала:

«Мальчики, пора в дорогу. Карета подана».

«Какая к чертям карета? Какая дорога? – взвился Фридрих. – Я никуда от своего рояля не уеду!»

И грянул во всю мощь «Полёт валькирий».

«Вот оно! Началось!» - ужаснулся Ромен, но Мальвида и глазом не моргнула.

«Пора ехать. Дорога предстоит долгая, с пересадками, а карету нам дают только до вокзала», - промурлыкала она ещё нежней.

Ничего не помогло, ни мурлыканье, ни нежность. Фридрих прервал полёт валькирий и всем телом навалился на клавиатуру. Рояль взвыл, а вслед за ним взвыл пианист.

"Езжайте без меня! Убирайтесь ко всем чертям!"

Подбежала встревоженная Франциска: "Разве ты не хочешь вернуться домой, сынок?"

"Куда домой? В Байройт к Рихарду? Ну уж нет, Ариадна! Я хочу остаться здесь, наедине с тобой и с моим драгоценным роялем!"

...И оторвавшись от рояля, он принялся срывать с себя одежду. По скорости, с которой он расстегивал или отрывал пуговицы, можно было судить о его изрядной сноровке в быстром разоблачении. Однако санитарам клиники в сноровке тоже нельзя было отказать – видно было, что к таким сценам им не привыкать. Два здоровенных парня мигом скрутили вопящего пациента, а третий ловко надел на него смирительную рубаху. Тут же подоспела медсестра с каучуковым цилиндром, и прежде, чем санитары завязали бедняге рукава за спиной, закатила один рукав и всадила в его предплечье толстую иглу. Фридрих завизжал и попытался вырваться, но тщетно – пока медсестра давила на поршень, санитары держали его крепко. Не успела она вынуть иглу, как Фридрих сник и безвольно повис на руках санитаров.

Франциска и Мальвида дружно зарыдали, а Ромен весь дрожал. Он с трудом сдержался, чтобы не броситься на помощь другу, хотя понимал безумие такого поступка.

"Что ж, можете ехать, - напутствовал их подошедший главный врач. – заверните его в одеяло и в путь. Карета стоит у входа".

"А как я повезу его в поезде?" – непослушным губами пролепетала Франциска.



"Не волнуйтесь! Пока вы доедете до вокзала, он придёт в себя и будет тише воды, ниже травы".

Санитары уложили спелёнутого Фридриха на носилки, Ромену вручили его пальто и рубашку, и печальная процессия двинулась к выходу.

(Конец первого тома)